НЁМАН

9/2010
СЕНТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Время. Жизнь. Литература</u>

<u>С точки зрения рецензента</u>

<u>В гостях у редакции</u>

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 14.09.2010 г. Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,66. Тираж 3426. Заказ 2344.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

ИВАН ЗОРИН

Могильные камни одиноки

Золото, ладан и смирна

«Мой отец был разбойником. Он был толст и, когда римский легионер проткнул ему живот копьем, схватился за древко, чтобы всадить глубже, — и достал убийцу клинком!

Я, Страдий, проворнее. Рублюсь так, что враги не замечают, как превращаются в крошево, а дротик мечу на стадию дальше его тени. Моя слава пересекла границы трех царств, преодолев барьер семи языков, а в бездонном прошлом моей родины уже не осталось героев, с которыми бы меня не сравнивали. «Будь храбрым, как Страдий», — благословляют сыновей суровые матроны. «В бою держитесь Страдия!» — ободряет гоплитов стратег. Но историю воина пишут шрамы, и на теле у меня ран больше, чем звезд на небе. Ночью у костра они поют на тысячу голосов. Обожженный бессонницей, я слушаю их крики, зная наперечет — эту нанес этруск, пустив пращой камень, эту — косматый германец, вызывавший наших на поединок, прежде чем я заткнул его хвастливую глотку. Но больше других меня донимают головные боли. Точно тысячи стрел вонзаются в мозг, сотни жал впиваются в макушку, когда я ворошу угли слабеющей рукой или бегу в чащу, чтобы найти минуту забытья в густых зарослях цикуты. Словно все удары, нанесенные мною, вдруг вернулись ко мне, как возвращается к нам во снах прошлое, от которого нет щита.

У болезней свой звук: раньше в моих одеждах звенело серебро, теперь — склянки с лекарствами.

А вчера мне передали приглашение. Тысячелетия ойкумена полнится слухами об искусстве египетских лекарей, известнейший из которых Та-Месхет. Хвала Зевсу, он послал мне звезду, блуждающую в Рыбах, берясь исцелить недуги. И вот я бреду сквозь равнодушное пространство, спотыкаясь о боль, наперегонки с немощью…»

«Мое имя написано на облатках тысяч проглоченных пилюль, я — Та-Месхет, знахарь, который не может исцелить себя.

Мой отец варил зелья и сушил травы, и отец отца. В моей голове сотни рецептов, которые они не доверили папирусу, а в одеждах вместе с чашками лекарств звенит золото. Но оно мне противно. Лечить людей, что бальзамировать мумии, — думаю я, когда ставлю пиявок или выпускаю черную кровь. — От болезней я вылечил множество, от смерти — ни одного…» Я не смог спасти дочь, когда буйствовала желтая лихорадка, мои снадобья оказались бессильны против обрушившейся чумы. О, сколько раз я видел гниющие тела, сколько раз слышал предсмертные хрипы! Больные, высохшие скелеты толпились у моих дверей — я и сейчас вижу их вереницы, — приговоренные, они жаждали чуда. Но мне не сократить очередь, бесконечную, как Нил! А раз так — я палач, продлевающий тление. Зачем поддерживать муку, если

смерть — избавление? — колет меня очевидная бессмысленность. Жизнь — горькая настойка, лучше пить ее залпом, — шепчет мне ночь.

Перекручивая позвонки, я ворочаюсь на грубой циновке и не нахожу ответа.

А вчера я получил приглашение. Лерния, самый известный среди иудейских мудрецов, обещает вынуть занозу. Хвала Амону, в скоплении Плеяд он указал мне звезду, и я бреду за ней торными дорогами, путая рождение со смертью…»

«Я — Лерния, уставший от болтовни. Мой отец перебирал четками священные книги — трухлявые свитки, — и мой дед тоже. На свете много слов, и они торопились произнести их все.

Я тоже победил во множестве диспутов — в каждом из которых проиграл. Ибо убедился: это — суета! Пока меня умащивали благовониями и курили вокруг фимиам, неизбывная печаль тяготила мне сердце. «Сумма дней моих — тень», — говорит проповедник. Но где то солнце, которое ее отбрасывает? Я достаточно искушен в словах, чтобы не поддаться их искушению. Воистину, перебирая, как бусы, метафоры, приумножаешь скорбь…

Ко мне приходят страждущие, я и сейчас вижу их — разуверившиеся, отверженные, они ждут чуда. Но я не верю в богов, ни в милостивых, ни в жестоких: судьба семенит поодаль, предоставляя подметать за ней следы…

Я легко убеждаю других, но мне не убедить себя. Золото — суета, а мудрость — томление духа, им обоим не спастись от отчаяния.

К гробу сундук не приделаешь, — учу я в синагогах, — богатство — это приманка для невежественных. А святость — ловушка для простаков… — добавляю про себя.

В одеждах у меня давно гремит склянка с ядом, но меня удерживает страх. О, если бы в небытие можно было перейти незаметно и безболезненно, словно толкнуть дверь на женскую половину дома!

Но — хвала Всевышнему, в которого я не верю, — по увечьям наших воинов, вернувшихся из похода к слезам жен, я прочитал об искусстве греческого рубаки. А вчера по астрологическим картам халдеев вычислил его звезду. Она сияет в созвездии Пса, и я иду на нее.

Страдий излечит меня. Коротким ударом меча…»

Этими исповедями открывается ранний византийский апокриф, с поразительным усердием выбитый на скале. Время оставило в нем проплешины, заставляя скакать по строкам, как птица по кустам.

Его следующий фрагмент повествует о скитаниях.

«…множество лун шел я на юг, стаптывая сандалии и устраивая ложе из веток кипариса. Со стороны было видно, как молчаливо я карабкаюсь на безжалостные кручи, не замечая колючек и ссадин, как, шатаясь и кровоточа, преодолеваю пустыни, в которых песчинок больше, чем мгновений во времени. Я миновал деревни с высохшими колодцами, где мой греческий был в диковинку, и города, полные проказы. Мир — это лабиринт, каждый коридор которого кончается тупиком, — думал я, продираясь сквозь бурьян, в котором легко потерять имя. Иногда мне казалось, я сбился с пути. Но ведь истина не в конце накатанной дороги, успокаивал я себя, а в отсеке боковой.

Меня пытались остановить. Свирепые, с бешено сверкавшими глазами, выскакивали из засад, как злые духи. Их вопли заглушали страх, их лица краснели, точно иссеченные крапивой, — теперь их клюют стервятники, для которых глаза — лакомство…

И в холод, и в жару я шел, стирая подошвы, перепрыгивая через собственную тень, однако меня опережали сомнения. Белый свет устроен так, что глухие в нем хвалятся перед слепцами, немые — перед нищими, но я научился говорить, подражая рыбе, видеть глазами крота и слышать, как тетерев на току. Что, если Та-Месхет вернет мне былую силу? Пускай я превзойду подвигами Геракла и зубами разорву на окраинах Империи множество варваров, — мне еще раз повесят на шею лавровый венок. Но кто не вчера возлег к трапезе, знает им цену…

Глубокой ночью меня будит безутешный крик птицы. Помочившись на затухающий костер, я гоню себя вперед, уже не зная толком — зачем…»

«…оставляя за спиной цепочку мелких шагов, я продвигался на север. Скрылись из виду пирамиды, вокруг уже с трудом понимали речь с берегов Нила, а скорпионы от жары кусали себя. Мне попадались народы, у которых язык во рту просыпался по утрам раньше рук, и племена, у которых труд сросся с телом, как мозоль с ладонью. Но они значили для меня не больше, чем верблюжья блоха.

Меня пытались задержать. Голодные, страшнее собственных скелетов, протягивали ко мне руки, хватая за края одежды, молили о куске хлеба. Я заговаривал язвы, высекая огонь кресалом, прижигал лишаи и унимал жар наложением рук. Я кормил черной похлебкой с отваром валерианового корня, и меня пропускали…

Ущербный месяц качался в сумерках, как серп, занесенный над полбой. Сколько еще колосьев пожнет сегодняшняя ночь? — стучало мне в сердце. Гость среди странников, пилигрим среди пилигримов, я иду за утешением, но что может поведать мне смертный? Путая бессмысленность закатов с бессмысленностью рассветов, я держу путь к себе, но меня не покидает чувство, что я, как дятел, лечу хвостом вперед…»

«..всю первую четверть месяца нисана колесил я по Обетованной, убеждаясь, что на западе плохо, на востоке — безнадежно. Я видел, как бедуины в суеверном ужасе хоронили волосы в желтый песок и поклонялись палке, воткнутой в конский помет. Их язык настолько дик, что не выделяет «Бога» в отдельное слово, растворяя среди других. Их оседлые соседи, наоборот, чрезвычайно набожны. «Бог» в их языке вытеснил все остальные слова. Эти племена одинаково ничтожны…

Мой путь лежал также мимо земель, где едят змей и еще не умеют пользоваться словом. Здесь я встречал множество пророков. Коверкая Писание, один гордился тем, что его губы не оскверняла правда. «Наша судьба горька не из-за желания богов, — вопил другой, — а из-за нашего нежелания стать богами!» Он ждал возражений. Но я молча кивнул. К чему оспаривать ложь, когда не владеешь истиной?..

Меня пытались остановить. Верещали сороками, выкрикивая ругательства, наскакивали с мечами. Но словом я владею лучше, чем они клинком. Я наговорил им с три короба, и они еще долго провожали меня взглядом, разинув рты, пережевывая мою болтовню…

Я бреду, словно Моисей по пустыне, и мысли мои — как разбитый кувшин…»

«Словно слепцы — поводыря, слушали они Голос, — сообщает следующий отрывок. — А звезда над головой каждого губкой вбирала тьму и дрожала так, будто небо поправляло монокль».

«…по земле я прошел расстояние, на котором могла затеряться птица, а в мыслях — и того больше. Куда приведет звезда? Сматывая с клубка мое будущее, льет она свет, и я покорно иду за нитью Ариадны.

“О, Страдий, — раздается иногда, — ты всю жизнь торопился, наступая себе на пятки, оставаясь на перепутье…”

Подняв голову, чуждый себе, я тогда думаю: отчего моя звезда одиноко мерцает, хотя звезд на небе — как саранчи? И представляю императора, который, задрав тунику, чесал бы в смущении живот, спроси я его об этом. А потом вижу распятых мятежников, улыбку палача, гладиаторов, которых не успевали обучать — так скоро они видели опущенный палец, бурые пятна на опилках арены, окрики центуриона, лживые объятия гетер и децимацию после проигранной битвы, я слышу бич на спинах рабов и как, качая ногой зыбку, поет мне кормилица: “Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков…” Воспоминания давят тяжестью каменоломен, и мои кости ноют с новой силой.

По искусно залеченным ранам под лохмотьями путников я догадываюсь — мой спаситель где-то рядом…»

«…ветер, заметая следы, догоняет меня и, пронизывая насквозь, гуляет в складках хламиды. Время ли, пускающее волну за волной, придумало смерть, — размышляю я, — или ее изобрело пространство, выталкивающее нас из себя, как вода? Я воображаю растерянность на невозмутимом, как маска, лице фараона, обратись я так к нему.

Дорога насытила мой взор, но не ухо. Я разговариваю с самим собой, и мои вопросы как путевые столбы.

“Ты убегаешь от безумия, Та-Месхет, но себя за волосы не поднять…”

Точно око между рогами Аписа, на меня смотрела звезда. Измученный, с пересохшей гортанью, я был мотыльком на острие иглы. Но Лерния, мой избавитель, близок, я повсюду натыкаюсь на осколки его слов.

Хромая, точно не в силах вправить вывих, преодолеваю я реку быстротечного времени, а впереди судьба, — как крокодил на песке…»

«…я шел навстречу короткому мечу Страдия и с языческим упрямством размышлял, почему одни гордятся тем, что родились в субботу, другие — тем, что родились, третьи — своей гордостью? Я представил молчание синедриона и усмешку наместника, поведай я им свои мысли. И тут услышал голос: “Лерния, Лерния, ты отгородился от себя частоколом слов, однако носишь под сердцем страх, как пустой желудок…”

Слова превращают горчицу в мед, а правое в левое, — пробормотал я, втянув голову в плечи. И вздрогнул: на меня, не мигая, глядело всевидящее око. Безмолвное, оно превращало в соляной столб, и я, Лерния, сын фарисея, потеряв на мгновенье “я”, почувствовал себя героем чужого сна. Может, это спят звезды? Я сосредотачиваюсь на тишине, пытаясь нащупать бреши в их молчании…

А по трупам, коченеющим в оврагах под стаями падальщиков, я ощущаю дыхание Страдия, который положит этому конец…»

Затем источник сообщает, что в семье путников родился ребенок.

«Был день сатурналий, когда звезда, наконец, остановилась. Она дрожала над хижиной, рядом с которой несли ночную стражу пастухи. Что это? — спросил я вышедшего вместе со мной человека. “Я знаю столько, что мне не

стыдно признаться в незнании", — ответил он, осветив лицо узкой улыбкой. Я обнажил меч. "Слово острее булата", — тронул он мои ножны. Я застыл в нерешительности. "Там альфа и омега", — указав на завешенный овчиной вход, подсказали нам пастухи. Шагнув к нему, мы чуть не наступили на спящего, безрассудно подставившего лицо луне. "Кто там?" — спросили мы у него. На веко ему села муха и, путая с ресницами, стала потирать друг о друга лапки. Спящий не шелохнулся. "Исцеляющий и воскрешающий!" — ответил вместо него дюжий забойщик скота. На его окровавленный нож налипла овечья шерсть. Тускло блеснуло лезвие, пустив "зайчика". Спавший встрепенулся. Муха взлетела. Да это Та-Месхет! — догадался я. Но до чего же он жалок! Клянусь Зевсом, я шел напрасно: он не может вылечить даже себя… Кто же тогда прислал звезду? «Тот, кто принес не мир, но меч», — простодушно заметил пастушок, отложив свирель.

Три созвездия слились над нами, когда мы застыли перед входом в клеть…»

«Был праздник урожая, когда, измотанный мыслями, я вышел к месту, над которым повисла звезда. Правы философы: длить жизнь — длить агонию, заставляя умирать множество раз. Вот пятнеет овчина, за которой я, возможно, вновь обрету спокойствие, получив ответ, но у меня уже нет сил и желания выслушать его. Я рухнул у порога, не позаботившись даже уткнуть лицо в ладони — пусть луна вселит в меня желтую лихорадку, положив конец усталости. Но мое беспамятство внезапно оборвалось. "Исцеляющий и воскрешающий!" — ворвался в него огромный детина, разделывая овцу. Надо мной склонялись двое. Я смотрел на них ровно столько, чтобы глаза привыкли к темноте, а губы — к безмолвию. По умному, проницательному взору я узнал в одном Лернию. Но его вид казался растерянным, он был удивлен и напуган. И этот несчастный должен был утешить меня? — безразлично подумалось мне. Дорога привела в пустоту. Но кто же тогда направлял звезду?

"Тот, кто принес не мир, но меч", — произнес златокудрый мальчик.

И в его глазах засветилась неземная радость…»

«Была ханука, когда, вслед за Страдием — такую гордую осанку больше не встретить в этих местах — я вышел к ослиным яслям. "Что это?" — спросил он. Я знаю столько, что мне не стыдно признаться в незнании, — нацепил я змеиную ухмылку. Расчет оказался точным — он вынул меч. Песчинка, унесенная ветром… — уже творил я короткую молитву. Но странно: я перенес столько напастей, терпел голод и утолял жажду собственными слезами, а теперь ко мне вдруг вернулось желание жить! Во мне пробудилось любопытство, и я больше не искал смерти. "Слово острее булата", — достал я свое оружие. Он застыл в смущении. "Там альфа и омега", — оборвали наш поединок пастухи, указав на ясли, над которыми сияла звезда. И я понял, что перед нами — бездна, на дне которой тайна тайн. Или это калитка в Ничто? Но кто тогда зажег наши звезды? "Исцеляющий и воскрешающий!" — провозгласил детина с ушами, как крылья летучей мыши. Он зарезал овцу и теперь вытирал нож о хитон. При его словах спящий у порога встрепенулся, сидевшая на его веке муха слетела, и я увидел, как Страдий узнал в нем того, кого искал. На мгновенье у него промелькнули удивление и гнев, которые сменили столь знакомые мне разочарование и презрение. Он сразу осунулся, а я с ужасом подумал, что еще вчера мечтал погибнуть от руки этого изможденного человека. Но кто дарит жизнь? И кто рвет ее нить? «Тот, кто принес не мир, но меч», — выдохнул игравший на дуде мальчик с глазами ангела…»

На этом история обрывается. Ее окончание, иное, чем у Оригена и Климента Александрийского, представляется мне таким. Волхвы еще долго стояли перед дверью, из-за которой пахло молоком и сеном. Но войти так и не решились. Они чувствовали себя втайне избранными, послами всех отчаявшихся и безмерно уставших. Они пришли, стерев о репейник имя, потеряв лицо в пыли дорог, и вдруг поняли, что все люди — один человек, как три звезды — одна. Кроты, алчущие света, они приблизились вплотную: от истины их отгораживала только овчина с черными клочьями. Но они не увидели, как за ней улыбался Младенец.

«Будущее всегда в яслях, — изрек один из них. — В него остается верить…»

«И надеяться…» — тихо вымолвил другой.

«И любить…» — прошептал третий.

Потоптавшись, они с поклоном сложили у входа самое дорогое, что было при них, — меч, лекарство и слово…

Могильные камни одиноки

Зиновий Мирский родился в русской глубинке, где жизнь, как «лежащий полицейский», — сама не движется и другим не дает. Он вырос с матерью в чистой, опрятной комнате с окнами во двор и желтым кенаром, который, прыгая по клетке, верещал ни свет ни заря: «Сор-к первый, сор-к второй…» Зиновий жил под флюгером в виде золотого петушка, за железной оградой, наблюдая, как гуси на закате топорщат крылья, и загадывая, вспорхнет ли с ветки синица, пока он скороговоркой расскажет стихотворение. Если, просыпаясь, он жмурился от солнца, то вставал к окну и, сгребая паутину, освобождал мух, а в дождь, раскинувшись на огромной кровати, продолжал смотреть сны: в них шел дождь, сквозь который проступали новые сны. Раз в неделю его навещал отец, торопливо высыпал на стол сладости, гладил по макушке и, не умея подобрать слова, долго смотрел поверх головы, отчего делалось не по себе. На прощанье отец просовывал Зиновию ладони под мышки, неуклюже подбрасывал к потолку и, уколов щетиной, поспешно прикрывал за собой дверь носком сапога. Замерев посреди комнаты, Зиновий тогда слышал, как за стенкой он тихо переругивается с матерью, будто жизнь, как больные зубы, можно заговорить. А потом гас свет, отец в три шага пересекал двор, скрипел калиткой с целующимися резными голубями, и на него каждый раз лаяла собака.

В саду росли яблони, на ветру ветки скребли крышу, а в августе яблоки, как попрошайки, стучали в окна. Случалось, стекло разбивалось, и отец тогда вставлял новое, будто собирался этим что-то поправить, точно до сих пор был мужем.

А потом он исчез, как свет в щели, которую законопатили.

Стрелки на циферблате с глухим боем догоняли друг друга, посреди воскресенья проступал понедельник, и под кроватью у Зиновия появились книги. Днем он читал их, держа у живота, или на полу, свешиваясь с кровати на локтях, пока не затекала голова, а ночью — с фонариком под одеялом. Мать замечала на косогоре постельного белья светлые пятна, но, вздохнув, поправляла подушку и молча удалялась. «Одни строят жизнь, другие — сопровождают», — мелко крестилась она на икону в углу и, задув свечу, не знала, какую судьбу пожелать сыну. От лета к лету ей становилось все труднее следить за

его мыслями, которые подчинялись особому календарю. «Зачем думать о том же, что и другие, — повторял он, облизывая пересохшие губы, — каждый должен думать о своем».

Когда пришла пора, мать, ломая гребень об упрямые колтуны, расчесала ему кудри, нацепила на плечи ранец и, посидев на дорожку, проводила до школы, из которой он больше не вышел. По ее окончании Зиновий стал сгибаться под дверной перекладиной, но привычек не изменил. Он по-прежнему сгребал паутину, освобождая мух, в трамвае уступал место, а на закате смотрел, как, удлиняясь, во двор ползут тени. Пробовал он и сочинять. На уроках, тайком, записывал пришедшую строку, складывал дома с другими в стихотворение и, глядя в окно, опять загадывал, успеет ли его прочитать, прежде чем с ветки вспорхнет синица. Писал Зиновий и прозу, в которой отражал провинциальные будни, унылую русскую природу — серенькое небо и сонно текущую, как дни, реку. Постепенно это стало его страстью, радость связывалась теперь с удачно подобранной метафорой, а если предложение не вытанцовывалось, он целый день ходил хмурый. Видя, что пишет не хуже тех, кого читает, он стал мечтать об известности. А потом съездил в столицу, чтобы вернуться оттуда учителем, привез жену с сыном, однако про жизнь в Москве рассказывать не любил. После женитьбы его жизнь перекосилась, как рубашка, застегнутая не на ту пуговицу. «Семья — это вам не блины у тещи!» — бросал он на ходу, оплачивая беготней по урокам съемную квартиру. Однако неудачный брак наследуется, как цвет глаз, и скоро он стал жить на два дома. Когда от семейных сцен обострялись болезни, он возвращался в комнату с окном во двор. «У жены можно жить, — ставил он в прихожей туго набитый саквояж, — умирать нужно у матери». Но проходила неделя-другая, болезни отступали, и он, кидая в сумку книжки, кричал: «У тебя можно умирать, жить нужно с женой!»

К тридцати он потерял обеих. От матери остался ключ от дома, где яблоки били стекла, а от жены записка, сообщавшая, что она ушла к аптекарю. «Наверно, я плохо пишу», — скомкал он ее, окончательно переехав в детство. Жизнь кидала его из стороны в сторону, но он шел в свою, сравнивая себя с карманными часами, которые меняют хозяев, продолжая упрямо ходить. Переселившись, он намертво прибил флюгер, опасаясь яблокопада, выкорчевал деревья и спилил с калитки целующихся голубей.

Боясь разочарований, читал он теперь мало, убежденный, что хорошая книга та, которую вовремя поставил на полку. Зато ночами много писал. Он был уверен, что ребенком, как ложку в кулаке, держал тайну мира, которую, повзрослев, забыл и теперь, слушая, как под полом скребутся мыши, пытался снова нащупать ее в словах. Несколько раз он отсылал толстые, залитые сургучом конверты с рукописями, которые возвращались нераспечатанными. «Где вас публикуют?» — поддевали его после сплетен почтальона. «Не до меня — я не моден…» — густо краснел он и думал, что его таланта не замечают так же, как в его фразе — палиндрома. Но в душе завидовал. Читая похвальные рецензии, в недоумении чесал затылок, пока не понял, что у критиков нос из воска, который можно крутить в любую сторону.

Пророческого дара Мирский был лишен совершенно. Наденет калоши — шпарит солнце, сушит белье — идет дождь, зато на бумаге был вершителем судеб. Ловко подгоняя обстоятельства, укладывал их в мозаику, которая придавала смысл их бесцельному хороводу.

По утрам Зиновий впихивал себя в трамвай, который громыхал через весь город, а возвращался в сумерках, когда вдоль тротуаров, мерцая, плыли фонари. За остановку до школы в трамвае появлялись ученики, задевая

ранцами, смущенно здоровались, он кивал, чтобы через несколько минут встретить их в классе. В бороду уже лезла седина, приподнимая шляпу, он показывал проплешины, ученики вырастали, их улыбки не помещались в зеркало, они пересаживались за руль, а он ездил и ездил, по привычке уступая место. Вызывая к доске, Зиновий Модестович был скор на «двойки», но стоило заговорить о словесности, таял. Размахивая белыми от мела руками, он на множестве примеров обучал правилам грамматики, а на своем — как не нужно жить.

Раз в неделю он навещал сына. Покупал по дороге сладости, торопливо высыпал на стол, гладил ребенка по макушке и на прощанье, просунув ладони под мышки, подбрасывал к потолку. И каждый раз, когда носком сапога прикрывал калитку, на него лаяла собака.

А дома утыкался в бревенчатую стену, высверливая взглядом дыру, точно надеялся разглядеть будущее.

Сутулый, в длинном, старомодном плаще, Зиновий Модестович стал походить на привидение. Надевая варежки, он прятал руки в карманы, на уроках, слюнявя палец, рассеянно листал тетради, машинально расписываясь, сажал красные чернильные пятна, и мысли его были за тысячу верст. Изо рта у него неприятно пахло, а когда ковырял мизинцем в ухе, тот прятался в волосах. Его стали сторониться и раньше срока проводили на пенсию.

На свете одни играют в оркестре — другие дирижируют. Зиновий Модестович выводил соло. Верный себе, он ни на кого не оглядывался и ни к кому не примерялся. Между собой и миром он воздвиг множество преград, словно зашил себя в чехлы, из которых уже не мог выбраться. И, как щенок, которого топят в кадке, с рождения шел ко дну.

Постарев, Мирский осунулся. Судьба больше не стучалась в его дверь, а жизнь напоминала леденец, который исчезал так быстро, что он не успевал его распробовать. Долгими зимними вечерами, пряча в бороду мерзнувшие пальцы, он смотрел, как в лунном свете скользят по обоям тени снежинок. Ночами, ворочаясь от бессонницы, изучал скрипы поясницы, а когда в воздухе пахло весной, думал, что мир, которым правят взрослые, создан для детей. Он уже давно со всем смирился, и только иногда на церковных ступеньках его душили слезы.

«Я так старался, — всхлипывал он, глядя на холодные звезды, — так старался…»

Однажды за столом Зиновий Модестович вытер коркой губы и, положив ее на язык, умер. От него осталась дюжина рваных шляп и ворох испещренных листов, сваленных в кожаный чемодан. Словно в луковице, в них слоились разговоры родителей, которые он стал понимать прежде, чем выучился словам, проступала долгая, как вьюга, тоска, торчали иголками накопленные обиды, в них Зиновий Модестович задним числом давал себе советы, будто исправлял ошибки в бесконечных черновиках, будто тарелки, разбитые на счастье, можно склеить. Жизнь в них выворачивалась наизнанку, несбывшееся сбывалось, а мечты воплощались, точно с самого начала были предназначены для бумаги.

Спустив на нос очки, сын разбирал их с неделю, а потом забросил на чердак. В Родительскую субботу он приходит к отцу, выпивает на кладбище рюмку, выливает вторую на землю и, садясь на скамейку, замечает, что могильные камни, как люди, одиноки, но каждый камень одинок по-своему.

Стихи

Михаил Михолап шагал по набережной канала и не мог понять, что же такое жизнь. Был вечер, его тень крутилась под фонарями, как стрелка часов, а ветер щекотал ноздри.

«Жизнь, — думал Михолап, — жизнь, жизнь…»

Михолап видел прошлое всего на шаг, зато будущее — на два, и боялся прожить свои годы, не разгадав их тайны. А оттого топтался на месте. Его жизнь уже перевалила за середину, и, будто возвращаясь из скучных гостей, он прикидывал выброшенные на ветер слова, из которых не складывалось ни одной фразы, и думал, что прошлое, как отрезанный ломоть, — с кем его съел, неведомо.

Когда-то Михолап закончил факультет ненужных профессий и с тех пор мучился: зачем было столько изучать, чтобы потом старательно забывать. Его начальник — Михолап работал в бюро по продаже лотерейных билетов — гордился книгами, которые не прочитал. «Кто умен — тот дурак!» — приговаривал он, расцветая подсолнухом среди льстивых улыбок, и Михолап, качаясь, как водоросль, согласно кивал.

От воды несло сыростью, Михолап плотнее запахнул пальто и вдруг обнаружил, что стоит посреди двух фонарей, не зная, куда идти. В этой точке его тень раздвоилась, одна потянулась к реке, другая, через улицу, к аптеке, и Михолап громко чихнул. Потом достал сигарету, чиркнул спичкой и, ладонью загораживая огонь от ветра, прикурил.

Борис Барабаш мертвой хваткой вцепился в чернильную ручку, проскакивая в мыслях нужные повороты, и не мог понять, что же такое смерть. Буквы плясали на неровностях, как телега на ухабах, а ветер трепал бумагу, которую он, прижав пальцами к граниту, то и дело разглаживал ладонью.

«Смерть, — думал Барабаш, — смерть, смерть…»

Он боялся умереть, не успев понять, что это такое.

У Михолапа были свои привычки: он держал грелку в постели, а тапочки под кроватью, на завтрак съедал яйцо всмятку и будням предпочитал воскресенье. Когда у человека на мосту выпал клочок бумаги, оттого что он неловко карабкался на парапет, Михолап бросился вперед, успев схватить его за волосы, на которых тот повис над ледяной рябью, как Авессалом, запутавшийся кудрями в ветвях. Руки Михолапа слабели, но прежде чем разжались, волосы треснули, и человек сорвался во тьму, оставив в кулаке Михолапа седую прядь.

Вокруг — ни души. Развернув записку, Михолап прочитал стихи, под ними адрес, показавшийся ему до странности знакомым, и поэтому не удивился, когда ноги привели его к двери, ключ от которой лежал у него в кармане. За ней его встретила женщина, как две капли похожая на его жену, и подросток — вылитый его сын. Он открыл было рот, чтобы рассказать им о случившемся, но не решился. Вместо этого он надел тапочки, положил в постель грелку и с открытым ртом уставился в телевизор.

Так Михаил Михолап стал Борисом Барабашем.

Один человек решил познать мир. Он обложился энциклопедиями, из которых выписывал истины, казавшиеся ему важными, бродил по свету, складывая слова, услышанные во всех его частях, записывал сны, пророчества, молитвы, крики птиц, язык ветра и шепот воды. Он вставлял в свой кроссворд

названия рек, городов и пустынь, отделяя их, как запятыми, речами немых и тишиной глухих, следами птиц в воздухе и змей на камнях.

Шли годы, письмена множились, заполняя клетки, оставляя пустым лишь место для разгадки. Временами на человека находило озарение, и тогда он выбрасывал лишнее, оставляя от вороха слов по букве.

А время между тем заполняло его лицо морщинами. Его руки дрожали, а ноги с трудом держали дряблое тело. Он был один во Вселенной, всюду лишний. Но в кроссворде недоставало лишь буквы. Перед смертью он открыл и ее.

На месте, где должна быть разгадка мировой тайны, человек прочитал всего лишь одно имя — свое.

Жить на два дома никого не хватит, и постепенно Михолап прижился в новом месте. Он смотрел чужие сны, а когда получал письма, отвечал так, чтобы не заподозрили, будто Борис Барабаш умер. О своей прежней семье он вспоминал лишь изредка, когда вдруг замечал, что у жены исчезла с плеча родинка или видел в зеркале поседевшие виски. Были и другие отличия: его жена слышала, только когда говорила, а барабашевская говорила, только когда слушала. Но Михолап, как и раньше, убеждался, что зубы лучше пересчитывать языком, чем на ладони.

За бывших домашних он не волновался — годами не замечая, его не хватятся.

Каждый бездельничает по-своему, все работы похожи друг на друга. Михолап служил теперь в рекламном бюро, где продавал лотерейные билеты. «Ума палата — божье наказание!» — отпускал шутки начальник, про которого шептались, что он без выгоды даже не плюнет, и, качаясь, как водоросль, Михолап согласно кивал.

На затылке у него не хватало клока волос, и он уже не знал, кто из двоих живет, а кто прыгнул с моста.

Но постепенно плешь перебралась на макушку, слившись с залысинами, сделалась незаметной, и Михолап понял, что люди, как змеи, множество раз становятся другими, входя в одну воду и дважды, и трижды — каждый день.

Прежняя жизнь слезала, как ушибленный ноготь, а под ней все больше проступала чужая судьба. И Михолап все чаще видел перед собой бесконечный тупик. «Чтобы думать о смерти, — успокаивал он себя, — надо твердо стоять на ногах, чтобы размышлять о жизни, нужно быть при смерти». Борис Барабаш стирал себе сам, и Михолап, вынимая белье из стиральной машины, пришивал оторванные «с мясом» пуговицы и развешивал на веревке разнопарные носки.

Время металось по клетке, как попугай, бормоча расхожие истины. В новом воплощении действовали старые законы, Бориса Барабаша не замечали так же, как Михаила Михолапа. По утрам он варил себе кашу, а с женой вел себя, как сапер на минном поле. И все равно нарывался. Слушая их тихое переругивание, сын упрекал в безденежье, тесной квартирке, мелких, как сыпь, ссорах. Как было объяснить, что виноват не быт, а бытие, как гренка бульоном, пропитанное злом. Каждый говорит с миром на «ры», пока не наденут смирительную рубашку. Михолапу вспоминались окрики матери, за столом бившей по немытым рукам длинной суповой ложкой, мучительное вычесывание непослушных, с колтунами, волос и бесконечная, до стука в висках, зубрежка стихов, которых не понимал. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет

так, исхода нет…» Школа навязла в зубах, институт засел в печенках. Впрочем, теперь кто-то забирал его воспоминания, как и он сам присваивал память Бориса Барабаша.

Порой ему казалось, что он родился в сорочке, но повитухи ее украли, и счастье, дразня, бежит впереди него с высунутым языком. Оно переставляет местами его будущее, сбивая с пути, и он бредет не по той дороге. У него воровали завтра, подсовывая заплесневевшее вчера, он переживал заново давно изжитое, словно ребенок ел пережеванную кем-то тюрю. Его сегодня было вчера для Бориса Барабаша, за которым он шел след в след. Но он больше не роптал, что стал им, ведь это будущее ничем не отличается от другого. Михолап чувствовал, что все могущее с ним случиться уже произошло и события будут лишь повторяться, как в дурном сне.

И Михолап все больше ощущал себя чужим. «Возлюбить ближнего, как себя, значит и себя возлюбить, как ближнего, — рассуждал он, горбясь на стуле, — а любить в себе постороннего, значит отречься от “я”».

Был вечер, оконная рама билась на ветру, и он смотрел, как в потемневшем небе переворачивались стаи ласточек, будто кто-то выжимал сырую простынь.

Жена старела, у сына ямочка двоила подбородок, ему нужно было точить зубы, и Михолап, глядя на их перебранку, опять вспоминал детство.

«Женщины дают жизнь, — криво усмехался он, — и они же ее губят».

На него обращали внимание не больше, чем на следы мухи на стекле.

Вспоминал Михолап и стихи, заученные когда-то. Они понимались только теперь, их смысл доходил с опозданием, как свет от исчезнувших звезд. Тогда он поворачивал обратно, собираясь пройти назад расстояние длиною в жизнь, и тут чувствовал, что его ноги начинают расти с головокружительной быстротой, что, глядя на них с высоты, он вот-вот коснется неба, не в силах сделать гигантского шага.

Казалось, он вспомнил то, что другие забыли, и не понимал того, что знали все.

Была ночь. Михаил Михолап, сплюнув, загасил окурок о подошву. «Ночь, — подумал он, — ночь, ночь...» Поежившись, он крепче запахнул пальто. От холода мысли стали космически ясными и, потеряв привязанность к его маленькой жизни, стали сами по себе. Он думал: «Окружающий мир — это разница между нами и остальным миром. Мы видим только разницу, только то, что не есть мы. И когда умрем, то не перестанем быть, и мир тоже не исчезнет, просто сотрется разница, и мы станем невидимы друг для друга».

Он уже шел по мосту. «Смерть, — думал он, — смерть, смерть…» Прислонив бумагу к граниту, он попытался записать свои мысли, но буквы скакали на неровностях, как телега на ухабах, а ветер трепал листок. Отшвырнув записку, Михолап сосредоточенно вскарабкался на парапет, застыв над бездной.

Себя за волосы не вытащишь, а спасителя в мире нет. Михаил Михолап умер, не успев понять, что такое смерть. Его несла река, а ветер, развернув записку, гнал по булыжной мостовой криво начертанные стихи: «Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь…»



МИХАИЛ БАРЗДЫКА

Вечность минуты

* * *

Немного бессвязных, бессмысленных слов,
Жужжанья жука и мычанья коровы,
И камня молчанья, пока под ним склон
Не стал вертикальным; лишаясь основы,
И он потеряет дар немоты —
И с грохотом громким падет с высоты.
Немножечко слов и жужжанья с мычаньем,
Ручья разговоров и шелеста листьев,
Своей немоты, чтоб услышать нечаянно,
Как ветер осенний, отчаянный мистик,
Скребет по асфальту останками истин.
И нам раскрывается явь этой сути —
Опавшая вечность вместилась в минуте.

* * *

Войдет ультрамарин
в просторы желтых нив,
И зрелое опять зеленым станет.
Шумит, шумит лазоревый прилив,
И обещанья кроются в тумане.
Я навяжу веселого сверчка
За кончик «р» умолкнувшей трещотки.
Моей надежды в розовых очках
Проступит силуэт и профиль четкий…
И вот тогда на мой ультрамарин
Овец небесных явится к нам стадо,
Чтоб снова ждать явления зари,
И светлый день не будет им преградой.

* * *

Рисунок на стекле,
шагов скрипучий голос.
И санно-струнный скрип
под фырканье коня.
Речной вокзал шумит,
хотя вода у мола
Молчит сквозь зимний сон —
хрустальная броня.

Рисунок на стекле.
Скользят мои три пальца.
Фантазией нельзя
нам превзойти творца.
Среди июльских трав
остался след скитальца,
И от январских трав
не отвратить лица.

* * *

Та сеть, поймавшая меня,
В которой бьюсь я безысходно,
Дана, чтоб я не мог понять,
Кто прав — овца иль волк голодный.
О, полушарие с извилинами рек,
Твой колокол вещает миру,
Как на себя наводит дуло в тире,
Себя не узнавая, человек.

* * *

Тяжелый камень, бархат встреч.
На звон разбитого стакана
Снегов явившаяся речь
Сплетала новый, белый саван.
Ты гребешком щербатым слов
Все чешешь волосы столетий.
И снег ложится в целом свете
На проявившийся излом.
Мечты упавшего зерна
Дням обозначили работу.
И явью стала сущность сна
И сновиденьями — заботы.
Но твой воздушный, легкий шаг
Крестами метил и цветами
Все то, чего ждала душа,
И бархат встреч, и тяжкий камень.

* * *

Зимний сон, таинственный и длинный,
В два крыла,
Словно окрик томный журавлиный,
Ночь несла.

На просторах белых и жемчужных
Вьюжит снег.
Купол неба близкий мне и чуждый,
Как успех.

Равнодушно звезды вниз взирают,
Вязнут сны.
Средь зимы бредут, не умирают,
Ждут весны.

ЕЛЕНА ПОПОВА

Наблюдатель

Монолог

В купе скорого поезда г-н Н. Он и поезд — главные действующие лица этой истории. Поезд врывается в рассказ г-на Н. неумолимо, как голос Судьбы, как бег Времени. Захлебывающийся шум колес, молчание остановок. Привычка не замечать ни того, ни другого, как мы привыкли не замечать, как дни незаметно переходят в недели, а годы в десятилетия. Движение во времени и пространстве.

Н. *(Какое-то время молчит, расслабленно покачивается в такт движению поезда, искоса наблюдает за своим невидимым зрителю спутником. Неожиданно.)* Вам нравятся мои туфли? Тогда я вас убью. Три доллара! Не верите? Клянусь! Они стоят три доллара! Италия... А в этой стране знают толк в коже, как когда-то знали толк в Искусстве... Где я их купил? На базаре в Тель-Авиве... Да, всего за три доллара! Но я вам скажу, это тоже работенка — ходить по базарам в Тель-Авиве. Нет, я не еврей... Похож? Значит, хорошо слился с окружающей средой, да, неплохо мимикрировал... (*Смеется.*) Этого не отнимешь. Как я туда попал? Да уж попал! Занесло... Северо-восточным ветром! Господь Бог дунул — и вот ты уже на другом месте! (*Смеется. Помолчал.*) У меня там маленькая квартирка... Если хорошенько протянуть ноги — как раз попадешь на кухню... (*Подумал.*) Маленькая, но моя. Ячейка в громадном улье... Среди черных, желтых, красных евреев всех стран, которые явились туда, чтобы жить им было лучше. Заметьте, — на земле, по которой ходил Иисус Христос! (*Подумал.*) Да! Опять идет великое переселение народов! Одни двигаются — туда, другие — сюда... Как когда-то толпища варваров. Народы появлялись где-то там, в таинственных недрах, потом исчезали... Все это было, я думаю, в свое время грандиозно и глобально... Брели по азиатским пустыням, по германским болотам, гремя утварью... Вар, Вар, отдай мои легионы! Хотя цель у них у всех, у всех этих первобытных... была простая, как стакан с водой — получше жить. Что тогда, что сейчас. Так что не будем задирать нос! За полтора тысячелетия мы не очень-то развились... (*Помолчал.*) Не хотите на вторую полку? Ну, мне ее уже не одолеть. А в детстве я обожал ездить на поезде... на второй полке... Читать какую-нибудь приключенческую дребедень, что-нибудь грызть, мечтать... О чем я мечтал? О чем может мечтать девятилетний мальчишка? О солдатиках, машинках, дальних странах... О том, как стану, создам, воплощу! Вы никогда не мечтали — стать, молодой человек? (*Подумал.*) Времена меняются, вы моложе. Куда едем? Конечно. Совершенно не обязательно отвечать. Я понимаю — дела. (*Помолчал.*) Диалога не получается, но вы меня слушаете, это уже хорошо. Я — бывалый человек, мне есть чем поделиться. Куда еду я? Об этом в двух словах не расскажешь... Не обязательно рассказывать? Я понимаю, это вопрос риторический… Форма вежливости... Да, нам совершенно не обязательно что-то знать друг о друге, чтобы провести вместе несколько часов... (*Подумал.*) Однако вы заблуждаетесь. Если человеку что-то нужно на этом свете, так это — другой человек.

Если вы этого не понимаете сейчас — поймете позднее. Не спешите... Знание придет к вам тогда, когда вы будете к нему готовы. И ни часом раньше! Все предопределено. (*Подумал.*) Где-то там, на небесах... в божественном свитке записаны и моя, и ваша жизнь... (*Подумал.*) И даже то, что мы вместе будем ехать в одном поезде и в одном купе — из пункта А в пункт В! Вы не верите в эти забубоны? Ну что ж, я только что сказал — ваше время еще не пришло. (*Подумал.*) Наверняка в этом свитке было записано, что я должен буду пережить войну. Я кое-что хлебнул, но, знаете, не очень люблю вспоминать это время. Только представьте — вот так же я ехал в поезде, когда его бомбили. Гнусное ощущение. Особенно для ребенка. Да, ощущение на всю жизнь. Все вокруг орали как сумасшедшие и хватались за свои узлы. На мать напало что-то вроде нервного тика, она задыхалась и не то вскрикивала, не то всхлипывала... «А!.. А!.. А!» Потом в темноте... в совершенном безумии мы бежали по какому-то лесу... Те, кто уцелел... Но это тоже, наверное, неинтересно... Интересно то, что все мы тогда выжили... Я имею в виду семью. В эту бомбежку, потом в этом лесу... «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…» Так писал довольно известный макаронник... Он в жизни кое-что понимал. (*Подумал.*) Мне было двенадцать лет. Младший брат потерял сандалик, я тащил его на руках... Помню, он был страшно тяжелый... Я плакал, что он такой тяжелый... Я его за это почти ненавидел! Я даже пару раз дал ему тумаков... Но он только цеплялся за меня руками... (*После паузы.*) Самый младший был у матери в животе. Потом он родился и через несколько месяцев умер, кажется, от дизентерии... И тот, которого я тащил, тоже умер, довольно глупо погиб... уже потом, когда мы вернулись из эвакуации... Это уж наверняка было записано в Великой небесной книге! Смерть двоих детей — моих братьев. Они заплатили за меня кармические долги... (*Помолчал.*) Мы жили в чистых, светлых, больших комнатах... Мать меня обожала! Все плохое было позади.

Г-н Н. помолчал, прислушиваясь к шуму поезда.

Отец шел по служебной лестнице, как говорится, — вперед и вверх! Его любимым рассуждением было рассуждение о правильности пути. Он был ниже меня на голову, гораздо плотнее. Когда он считал нужным что-то мне высказать, он раскачивался с носка на пятку и обратно. Вот так. Главное, — говорил мой отец, — выбрать правильный Путь. И идти по нему, не сбиваясь. Мой папаша принадлежал к племени резонеров. Не дай бог, — говорил мой папаша (он писал слово Бог с маленькой буквы), не дай бог молодому человеку сбиться с Пути, тогда он погиб, он изгой. Он будет околевать в канаве на обочине жизни, мимо которой бодро шагает все остальное оптимистично настроенное человечество. А этот, сбившийся с Пути молодой человек, будет околевать в канаве, заглатывать нечистоты, и даже приблудный пес будет его счастливей! (*Помолчал.*) При этом он смотрел на меня пристально, внимательно, как будто я что-то прятал от него в карманах. И раскачивался. Вот так! С носка на пятку, с носка на пятку! С носка на пятку! (*Подумал.*) В этом было что-то, если и не религиозное, то какой-то экстаз. (*Подумал. Усмехнулся.*) Однажды я приехал к нему в санаторий с парой чистого белья... Я постучал в его номер и, не дождавшись ответа, толкнул дверь... Папаша зажимался с хорошенькой медсестрой... В довольно нелепом месте, — в этом тоже было какое-то свое лицемерие, какая-то вроде бы случайность — между кроватью и шкафом... Он был в одной майке, из которой выпирало его тело, дышал тяжело, со свистом, и напомнил мне почему-то откормленную, среднего раз-

мера свинью. Была весна, я был влюблен, мне было не до того! Я отдал ему сверток с бельем, распаренная медсестра шмыгнула на свой пост, я тут же забыл обо всем этом.

Прислушался. Всепобеждающий, оптимистичный стук колес.

Была весна! Она была похожа на мальчика, ходила быстрой, упругой походкой... С ней я забывал про Путь, Цель, Смысл... С ней я просто мог слушать шум дождя... Вот так ходить с ней под дождем было здорово! У нее были короткие волосы, да, она не боялась растрепаться... Однажды мы вышли из библиотеки и шли через парк... Уже неделю лили эти дожди, там никого не было. Она сняла туфли и побежала босиком. Она бежала по траве и смеялась, а я бежал за ней... Она забежала в пустой сарай из-под аттракциона и позвала меня. Я зашел... Ее глаза блестели в темноте, как у кошки... В щели дул ветер, хлестал дождь... Она притянула меня к себе... Ее лицо, руки, одежда были мокрыми... Губы пахли листвой... Ее босые ноги совсем заледенели... Я грел их в своих руках...

Шум поезда.

Весь день у меня голова шла кругом... А вечером меня позвал отец... Цель... Смысл... Говорил отец... — Мальчик, ты можешь оказаться на обочине жизни... Ты связываешься с людьми, которые толкнут тебя на обочину жизни! Ее отец сидит в тюрьме! (*Подумал.*) Я похолодел — ее отец сидит в тюрьме! В тюрьме! Ее отец... (*Подумал.*) Не знаю, почему я так легко от нее отказался... Но помню, что сделал одно открытие. Я увидел, что за словами о правильном Пути, о верности Цели отец прячет что-то совсем другое... Что это только слова... А смысл... в его глазах, в раскачивающейся фигуре... И смысл этот — страх. Я увидел страх в глазах отца и как существо, генетически с ним связанное, тоже испытал нечто подобное страху... (*Подумал.*) С фанатиками все ясно, я не люблю фанатиков, но с ними все ясно. Они сродни сумасшедшим, тем, кто зацикливается на одной идее, такая бытовая шизофрения... Я бы даже испытывал к ним уважение, если бы сумасшедших можно было уважать. Ну а такие люди, как мой отец... Это что-то совсем другое... Это пострашнее... Потому что для них не существует истина. Да они в ней и не нуждаются! Они над ней смеются! Все их убеждения — одни слова. Главное для них — это быть жи-вы-ми! Хорошо есть, хорошо спать... зажиматься — всегда случайно и безвинно! — с молоденькими медсестрами, секретаршами, секретаршами-референтами... Да Боже мой, таких большинство! Таких... И вы! И я! Все! Главное, чего мы так страстно хотим — это быть живыми! Живыми! И получше жить! А за такое... любая цена — пустяк! Честь, совесть? Да бросьте! И это пойдет в обмен. Что, вы другой? Ну что ж, поваритесь, поваритесь... Все, что в вас сейчас молодого, мягкого, неопределенного, затвердеет. Станет конкретным, как яйцо вкрутую... Это — белок, а это — желток!..

Оглушительный шум поезда.

(*Стараясь голосом перекрыть этот шум.*) Когда-то еще были люди, способные отдать жизнь за идею! И еще не так давно! Согласитесь, как дико это звучит сейчас! Если не считать фанатиков и сумасшедших, я не встречал человека, способного погибнуть за идею! Выжить — вот наша общая идея! Жить! Пусть даже бесстыдно и бессовестно! Получше жить! Родина, отече-

ские гроба? Да бросьте! Вперед! По азиатским пустыням, по германским болотам, по американским прериям, громыхая утварью!

Тишина.

Что, принесли чай? Спасибо. Нет, вы пейте, а у меня найдется что-то другое... Да, что-то покрепче. Не хотите? Не настаиваю. Это опасное дело. К допингам привыкаешь. Особенно в молодости. Но я знаю свою норму. Я знаю свою норму. И хоть и лежу в канаве на обочине жизни, как грозился мой отец, канава у меня достаточно чистая и не лишенная пристойности.

Поезд тронулся и... пошел, набирая ход.

Так о чем же шла речь? О девушках... Я был, как говорится, молодой человек с приятной наружностью... Да, я пользовался успехом... Был довольно неплохо сложен... И на голове у меня было нечто совсем другое... И еще... Некоторая живость ума... Некоторая игривость... То, что можно назвать шармом. У меня был шарм! (*Подумал.*) Я не делал из своих отношений с девушками культа. Небольшая предварительная игра, а потом я прямо шел к своей цели! Прямо к цели! Вы понимаете? К цели! В каком-то смысле я был сыном своего отца. Ну, вы понимаете, что я имею в виду? Конечно, сейчас к этому относятся проще... Но и тогда, поверьте, э-то-го хватало. Мне э-то-го хватало! Даже больше, чем потом. Не потому, что я стал слишком старым, просто, когда вокруг много еды, у меня всегда пропадает аппетит. Да, человек довольно противоречивая сволочь. (*Подумал.*) Итого, мне этого хватало, молодой человек! И до вашей сексуальной революции, и после. Вполне! Но Ее, свою первую девушку, свою первую любовь, я не забыл... (*Подумал.*) Где-то через полгода умер Сталин. В гигантских лагерях Севера и Сибири летели в воздух миллионы шапок, и все орали: «Людоед умер!» Ну а вся остальная уцелевшая страна заливалась слезами. Плакал даже я. Глупость заразительна. (*Подумал.*) Прошел двадцатый съезд... Я слышал, что ее отец вернулся домой из какого-то ГУЛАГа... Жить стало свободней, жить стало веселей... (*Подумал.*) У нас была компания... в сущности довольно гнусная, дочек и сынков... Все мы были циниками. Все мы, кто когда, видели страх в глазах наших отцов, и за это мы их в душе презирали. Не потому, что мы были лучше, чище или умнее. Просто мы были молоды! Просто мы были молодые, здоровые, мускулистые, осмелевшие псы! И презирали всех, кто был не молод, не здоров, не мускулист и не смел! (*Подумал.*) Мы собирались по квартирам, крутили модные пластинки, танцевали, пили вино и... предавались разврату... Сладкому, запретному разврату... (*Подумал.*) Танцевать нас учил сын одного дипломата... Если хотите, я покажу...

Танцует.

А еще он учил нас смешивать вино и водку так, чтобы получалась адская смесь! Однажды я до того ошалел, что перебил там всю посуду!

Танцует. Шум поезда.

(*Остановился.*) Он был маленький, коротконогий... С отталкивающей, носатой физиономией... Но он научил нас многому хорошему, и чтобы отблагодарить его, мы делали так! (*Подумал.*) Один из наших, писаный красавец,

гораздо красивее меня, «снимал» на улице девушку, а если везло, даже двух. Ему просто не могли отказать! На этом его миссия заканчивалась. Во всем остальном он был безнадежен — во всем остальном это было тупое, холодное, непробиваемое бревно. Когда клиент был доставлен, на «вахту» заступал я. И тут уж пускал в ход все свое красноречие, весь свой шарм! Когда клиент был уже до офигения раскален... разут и раздет... когда сорван был последней покров стыдливости... я, под благовидным предлогом, тихонько исчезал... и появлялся наш маленький, коротконогий, носатый шалун! (*Подумал.*) Но у него были свои достоинства и в конечном итоге клиент оставался доволен.

Танцует. Шум поезда.

(*Остановился.*) Потом эта компания плохо кончила. Двоих посадили за изнасилование и угон машины. Один из отцов, герой войны, почтенный генерал-майор, пустил себе пулю в лоб. Но меня среди них уже не было. Компания молодых псов стала мне надоедать. (*Подумал.*) В моей жизни опять появилась Она. Мой идеал! Я навидался нижнего белья, меня опять потянуло к Идеалу. (*Подумал.*) Она была, как и раньше, похожа на мальчика... С короткой стрижкой, подчеркивающей ее очаровательную головку, ее затылок Нефертити... Это сходство с мальчиком только усиливало ее женственность... Она безумно меня волновала... Все это было глупость, абсолютное безумие... Она была замужем... Ее муж был когда-то, еще в институте, моим другом... (*Подумал.*) Я стал у них бывать. Раз или два в неделю... Иногда на какое-то время отходил, потом опять возвращался. Не видеть ее я не мог! (*Подумал.*) Ее муж был довольно неказистый парень... Близорукий до такой степени, что носил очки с толстыми стеклами. Он был похож на рака. На такого щупленького, удивленного рака. Но на деле он ничему не удивлялся. Это был тот еще фанатик. Вот кто был настоящий фанатик, так это он.

Энергичный, напористый шум поезда.

Это было время дерзких проектов. В космос полетел Гагарин, и это всех очень воодушевило. Над головами кружил ветер эн-ту-зи-аз-ма! Сибирские реки задумывали поворачивать вспять. Атомные электростанции росли как грибы. Физики и химики с ума сходили от сознания собственного величия. (*Подумал.*) Что касается меня, то я был верен самому себе, я не был главным участником всей этой истории... К тому времени я почти успешно закончил наш политехнический институт, под бытовым названием «питомник советских идиотов», и работал в довольно унылой конторке, добросовестно зарабатывая на свой социалистический бутерброд. Но речь-то не обо мне... Итак... ветер энтузиазма захлестнул самые горячие головы... (*Подумал.*) И вот тогда мой бывший друг, а теперь ее муж, муж моей светлой первой возлюбленной, моего Идеала... Этот рак! Лупоглазый рак!.. А вообще-то, молодой ученый, имевший до того дело исключительно с обезьянами, крысами и белыми мышами, принес домой львенка. Да, вы не ошиблись. Львенка! Детеныша льва. (*Подумал.*) Это было умилительное существо... Можете себе представить! Очаровательная, плюшевая живая игрушка. Он все время спал или сосал — лапу, соску или ваш палец. Первое время он вообще спал с ней в одной постели... Очаровательный котенок из страны великанов. Этот трогательный взгляд, подернутый наивной младенческой дымкой, эта косолапая подпрыгивающая походка на еще нетвердых лапах... Короче, восторг и умиление перед детенышами всех существ всего мира! (*Подумал.*) Какое-то

время я был в отъезде и пришел к ним только через несколько месяцев. Мне открыла она, моя любовь. И тут... я похолодел... Рядом с ней стоял — лев! «Спокойно, — сказала она. — Спокойно, Ричард. Это свой». Лев, напряженный, чуть бил хвостом и смотрел на меня холодным, бесстрастным, многозначительным взглядом хищного зверя. Молодой человек, — это был хищный зверь! Я видел это так же ясно, как вижу сейчас вас! (*Подумал.*) Но никто, кроме меня, тогда этого не понимал... Мы с ней сидели на кухне, он сидел между нами... Как хорошо воспитанный, примерный подросток... Она кормила его сырниками и морковкой. Протягивала руку и трепала по загривку... Ричард, мальчик! Ричард! Мой Ричард, львиное сердце! (*Подумал.*) Скоро он вырос еще больше... Ему отдали целую комнату... Ему уже принадлежала целая комната, по которой он бродил туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда! — эта волнующаяся гора мышц! Когтей! Зубов! (*Подумал.*) По вечерам его выводили гулять на набережную. Его знали все, и их сопровождал восторженный шепот. Ричард! Ричард! Это Ричард! Львиное сердце... О них снимали кино и писали в газетах. Одна статья так и называлась — «Ему покоряется природа». Он, мой бывший друг, работал над диссертацией и составлял новый учебник по педагогике. У него все падало зрение. Стекла его очков становились все толще, а он сам все тщедушнее. И напоминал уже высохшего, заморенного рака... Наверное, только рядом с ручным львом он чувствовал свое величие. (*Подумал.*) А моя любовь? Ведь он, этот рак, не мог ее даже оплодотворить. У нее не было детей. Конечно, она его не любила. Она вышла за него — растерянное дитя политзаключенного, которого сторонились все! В том числе и я! Но она его никогда не любила. Это я знаю точно.

Помолчал, прислушался к шуму поезда.

Что? Входим в туннель? Нет? (*Подумал.*) Как она ко мне относилась? Вам, конечно, интересно, как она ко мне относилась? (*Подумал.*) Она не могла простить мне моего предательства и держалась отчужденно. Но когда мы были неподалеку друг от друга... В пространстве между нами, как искры, начинали летать флюиды... Нечувствительные ни для кого, кроме нас... Острые, колкие, раскаленные флюиды! (*Подумал.*) Впрочем, было существо, которое тоже это чувствовало... И это был лев. (*Подумал.*) Не знаю, поэтому или нет, но он меня не любил. Он следил за мной искоса, не поворачивая своей здоровой гривастой башки. Я чувствовал, как от него ко мне идет волна напряжения... Однажды я заглянул к ним, мужа еще не было. Он сражался на своей работе. Созидал, утверждал, побеждал!.. Мы опять сидели на кухне... Шел дождь. И это что-то напомнило и ей, и мне... Мы говорили о пустяках, но разговор не клеился, и мы замолчали. Она спросила:

— Почему ты не женишься?

Я сказал:

— Я слишком хорошо помню одну девушку.

— Ты ее любил? — спросила она.

— Наверное...

— Наверное?

— Да... Что мы знаем... — сказал я. — Не стоит беспокоиться. Она замужем и счастлива.

Она подняла на меня полные слез глаза и сказала:

— Она не счастлива.

Я обнял ее... Мы стояли, обнявшись, и тут я почувствовал под рукой... горячее дыхание льва.

— Он ревнует... — сказала она и засмеялась. — Ты что, боишься? (*Подумал.*) Да, я его боялся! Молодой человек, вы когда-нибудь находились рядом со львом? Рядом, совсем близко, с этой гигантской, зловонной кошкой? Дело даже не в этих лапах, не в пасти, не в зубах... хотя и в них тоже... Дело во взгляде... В этом взгляде зверя! Хищника! Хладнокровного убийцы! Кто может сказать, что он думает? Чего он хочет? Что вдруг взбредет в его львиную башку? Никто. И что в этом смыслит мой лупоглазый друг с его идиотской лженаукой? (*Подумал.*) На другой день она мне позвонила, мы стали встречаться. Я любил ее, молодой человек. Я ее любил... С ней было совсем иначе, чем со многими другими в моей разгульной молодости... И никогда больше уже ни с кем т а к не было... Меня волновал ее профиль, линия лба, затылка... Изгиб руки... Я мог подолгу лежать и смотреть, как она встает, одевается, ходит по комнате... Она чувствовала мой взгляд, поворачивалась, говорила, улыбаясь:

— Ну что ты все смотришь?

— Нельзя?

Она опять занималась чем-то в комнате, причесывалась или подкрашивала ресницы, и снова поворачивалась ко мне:

— Перестань на меня смотреть...

Но ей это было скорее приятно, у нее была счастливая улыбка. Она тоже была со мной счастлива. (*Подумал.*) Прошло какое-то время, и она сказала:

— Ты знаешь, Ричард ведет себя очень странно. Как будто он действительно ревнует...

Когда она возвращалась, лев обнюхивал ее, а потом метался по квартире и долго не мог успокоиться. Однажды, когда она была у меня, он разорвал ее платье и разгрыз стул. В следующий раз, перед отходом, она заперла его в комнате, но он вышиб дверь, напакостил в кухне и в спальне. Возможно, что все это и не было связано с нашими встречами, а просто он мужал и стремился к независимости... Кто знает... Иногда, в шутку, я говорил, что с удовольствием бы его пристрелил... Тогда она дулась и говорила что-то про своего мальчика, про свою крошку, своего сыночка... И еще долго на меня обижалась... (*Подумал.*) Наши встречи все продолжались. И лев, кажется, успокоился. Он больше ничего не ломал, не грыз, чинно гулял с нами по набережной и помахивал хвостом, как какая-нибудь затрапезная дворняжка… Только у меня, когда я вспоминал о нем, холодело под сердцем. (*Подумал.*) Она жалела своего фанатика мужа, поэтому наши неопределенные отношения тянулись еще долго. Ведь он не сделал ей ничего плохого, он женился на ней тогда, когда никто не хотел на ней жениться, и за это одно она была ему благодарна. Но вот пришло время, когда мы решили, что — пришла пора. Пора нам быть навсегда вместе, а им навсегда врозь. (*Подумал.*) Вот тогда все и произошло... Что произошло, молодой человек? Сейчас... Сейчас вы узнаете и это... (*Подумал.*) Однажды утром она все рассказала своему мужу. Воспринял он все это отнюдь не как фанатик, молодой ученый, интеллигент... А как самый обыкновенный, заурядный мужлан любого общественного класса всех времен и народов. Он пришел в ярость. И между ними началось то, что принято называть «сценой». Начались крики и взаимные обвинения. Потом муж ушел в ванную бриться, но был так взвинчен, что несколько раз порезался. Потом он вернулся, и сцена между ними продолжилась. Он ее даже ударил... Она громко закричала. По его лицу из пореза текла кровь. Это оказалось роковым. Лев очутился рядом в один прыжок. Она пыталась защитить мужа... (*Подумал.*) Я всегда знал, что она, несмотря на свою хрупкость, очень смелая женщина... Она была очень смелой женщиной... Лев ударил ее лапой... И, как потом выяснилось, убил сразу, перебив шейные позвонки... Потом он утащил ее к себе... Весь день

лежал рядом и, наверное, ждал, когда она проснется... Лежал до тех пор, пока муж не пришел в себя, не подполз к телефону и не вызвал милицию. Когда милиционеры вошли в комнату, лев все еще был возле нее. Он не шевелился. Его пристрелили.

Пауза.

Что? Мы стоим? А, знакомая станция! Я же езжу здесь каждый год. Пару лет назад именно на этой станции у моего соседа по купе украли чемодан. А еще несколько лет до того нечто похожее случилось в соседнем купе с командой борцов. Можете себе представить — борцы! Косая сажень в плечах. Им в чай подсыпали клофелин, и вот эти богатыри, мимо которых я боялся проскользнуть в туалет, вырубились в одну минуту! И десять часов валялись по своим полкам, как мешки с дерьмом, совершенно невменяемые... Вот их обокрали так обокрали! Вытащили все! Все, что те заработали, можно сказать, в открытом бою! Всю валюту! Подарки для жен и детей... Даже спортивные трусы! Помню, несчастные борцы рыдали. Полуголые, в старых трусах! Эта силища, эти узлы мышц. Слаб и беспомощен человек! (*Помолчал.*) Видите, сколько воспоминаний ввиду какой-то совсем незначительной станции... Что, мы уже тронулись?

Поезд набирает ход.

Не правда ли, стук колес успокаивает? Скоро должен быть тоннель... На вас произвела впечатление история со львом? Вот чем кончается насилие над природой. Тем же, чем и построение социализма в отдельно взятой стране. (*Подумал.*) Итак, любовь моя ушла, куда все уходит... Над ней сомкнулись воды времени и унесли... в океан, в океан... которому имя — прошлое... Помню, на меня напала какая-то жуткая тоска... Как будто внутри что-то умерло. Я, как автомат, исправно ходил на работу, зарабатывая честным трудом свой скромный кусок советского хлеба с сомнительного качества советской колбасой. Вы знаете, что эту колбасу не ели даже коты? Мой не ел.

Темнота. Светит только небольшая лампочка.

Не пугайтесь, это тоннель... (*Подумал.*) Вот и у меня в жизни был похожий период... С отцом я виделся все реже... Он давно вышел на пенсию, с весны до осени жил на даче, копался на грядках, солил огурцы, со страстью отдаваясь этой привилегии старости — слеп и глох, чтобы не видеть и не слышать. Последние годы своей жизни мой отец был преуморительный старикашка! «Что? — кричал он. — Вам кого?» — «Тебя, папаша!» — «Следующая дверь по коридору!» Хитрая бестия. (*Смеется.*) Следующая дверь по коридору! (*Подумал.*) Отец моей возлюбленной, бывший политзаключенный, тоже успел насолить на даче пару кадушек, но умер, конечно, гораздо раньше, по причине более надорванного здоровья. И они умерли, те, кто творил нашу жизнь... Они умерли, а мы остались... (*Подумал.*) Я зарабатывал свой кусок и заедал им довольно паршивую водку. С одной работы меня попросили по собственному желанию, со второй я ушел сам. Сбывались угрозы отца о цели, пути и обочине жизни. Я скатывался к этой обочине все дальше, но ничего другого мне и не хотелось.

Опять свет.

Ну вот, тоннель кончился. Все когда-нибудь кончается. И хорошее, и плохое. (*Подумал.*) Итак, мне по-прежнему не хотелось созидать, претворять, осуществлять, насиловать свою и чужую природу. Я знал, чем это кончается. Я разваливался сам и не без удовольствия наблюдал, как разваливается вокруг все. (*Подумал.*) Наконец я очень неплохо устроился в одном заводском клубе ночным сторожем. По ночам по клубу бегали крысы, а директриса приводила в свой кабинет любовников — простых парней с дебильными лицами. На стене там все еще висел портрет Ленина, а над ним всякие лозунги... но то, что творилось под ними, то, что доносилось до меня... Все эти «охи», «ахи», нецензурная брань... Это был апофеоз! Это меня очень развлекало... (*Подумал.*) Свои потребности я сократил до минимума, донашивал отцовские костюмы и находил, что еда не главное для человека. Водка? Водка — да. Я был пьяницей не по безволию, как большинство, я был пьяницей по убеждению. Я не хотел участвовать во всех этих перестройках, как не хотел участвовать в строительстве. Молодой человек, я был обременен слишком большим опытом, я опять предпочитал наблюдать. Да... Наблюдать! Наблюдать, будучи под хмельком, то есть, испытывая при этом еще и определенный кайф. Существует версия, что весь наш мир — это забавы Бога. Если Бог играет с нами, почему и мне с ним немного не поиграть? Вот так, хотя бы в качестве наблюдателя? (*Подумал.*) Можете себе представить, оказывается, тогда, в клубе, я еще не окончательно развалился, поэтому сердобольные друзья меня женили. Моей женой стала приятная полуевреечка, пухленькая, стосковавшаяся по мужскому теплу. Несколько лет я добросовестно обрабатывал это осеннее поле, и в награду она увезла меня в Израиль. Там она поняла, что не все свое надо брать с собой. Она бросила меня, безнадежного для борьбы человека, и сошлась с импозантным иракским евреем. Они общаются с помощью нескольких слов на иврите, но это не мешает им совместно бороться за свое прекрасное будущее. Виват! (*Подумал.*) Так я опять остался одни. Вы боитесь одиночества? Не надо его бояться. Оно — естественнейшее состояние... В конечной своей точке каждый из нас останется один...

Помолчал. Прислушался к равномерному,
бесстрастному стуку колес.

И не надо меня жалеть. Ведь я совсем неплохо живу. Я же сказал — у меня маленькая квартирка в Тель-Авиве. Да, маленькая, но моя... Я просыпаюсь в три или четыре утра... в своей крохотной ячейке, в громадном еврейском улье... С полчасика лежу так, ни о чем не думая, потом медленно одеваюсь... Мне некуда спешить, молодой человек... Меня никто нигде не ждет... Я иду на автобусную остановку и еду на автобусе ровно тридцать минут... Потом я делаю пересадку и еду на другом автобусе еще минут пятнадцать. И все для того, чтобы попасть на завтрак в бесплатную столовую. Вот это и есть для меня теперь Цель, Смысл и Путь вместе взятые. Не потому, что я так хочу бесплатно сожрать яйцо вкрутую, два ломтика хлеба и выпить литр кофе... Просто почему бы и не сожрать бесплатно яйцо вкрутую, два ломтика хлеба и выпить литр кофе, если все равно надо как-то убить время?.. После завтрака я гуляю по городу или иду на рынок, копаюсь в поношенном тряпье. Так называемом секонд-хенд. Это довольно увлекательное занятие. Попадаются совершенно прекрасные вещи! Вы же сами видите... Разве скажешь, что эти туфли стоили мне три доллара? (*Подумал.*) Потом я сажусь на автобус, еду минут пятнадцать, делаю пересадку и еду еще... Да, тоже в бесплатную столовую. В одной и той же я не ем два раза в день. Надо же соблюдать приличия!

После этого я еще немного гуляю... И забираюсь в свою берлогу. Лежу, слушаю пустоту... Посматриваю телевизор... Хотя это удовольствие ниже среднего — села трубка, и все изображение свелось к двум цветам с преобладанием зеленого... Конечно, пью! Но немного, вполне умеренно — три или четыре рюмки... Режим строжайшей экономии... Вон, в прошлые праздники принесли два килограмма мацы. А весной я пошел десятым в молельный дом... Не бесплатно! За это мне тоже дают несколько шекелей... (*Подумал.*) Три-четыре рюмки... Не больше! Строжайшая экономия! Зато я каждый год приезжаю сюда. Так сказать, на родину... Зачем? Кто бы мне это сказал... (*После паузы.*) Да, ради нескольких шекелей я пошел десятым в молельный дом, молиться чужому Богу! Я не гнушаюсь и этим! Вы меня презираете? Нет? Каждый выживает как может? (*Подумал.*) Перед вами славянский вор, молодой человек! Натуральный славянский вор! (*Смеется.*) Когда-то я не хотел строить коммунизм в отдельно взятой стране, поворачивать вспять сибирские реки и побеждать природу. А теперь не хочу строить Великий Израиль и воевать с арабами. Я люблю арабов! Хотя, если подумать, все эти теракты палестинских фанатиков — удовольствие ниже среднего... И у меня нет никакого желания, чтобы мои кишки развевались на деревьях, изображая целый анатомический театр. Я же сказал — я наблюдатель! (*Подумал.*) Вы думаете, вы лучше? Нет... Приходит время наблюдателей. Мы все предпочитаем сидеть в своих по возможности благоустроенных канавках и наблюдать по телевизору, как одно африканское племя вырезает другое... А глаза у тех, кто вырезает, похожи на глаза моего незабвенного льва Ричарда — холодные и бесстрастные, глаза ЗВЕРЯ. (*Подумал.*) Мы наблюдаем за землетрясениями, ураганами, войнами... Или за тем, как дымится Чернобыльский саркофаг, а где-то от него неподалеку рождаются жеребята с восемью ногами и недоразвитые человеческие младенцы. Это же все очень развлекает! Почище, чем все художественные выдумки всех этих Тарантино! Особенно когда сам ты сидишь в безопасности, в тепле, в своей норке... Недавно я наблюдал по телевизору расстрел! Я видел лицо человека за секунду до смерти... и секундой позже... (*Подумал.*) Мы все племя воинственных наблюдателей, мещанское воинство! Мы сменили революционеров, созидателей, пионеров-первопроходцев! Да, позвольте обобщить! Просветителей очаровательного восемнадцатого века и фанатиков-милитаристов двадцатого... Мы знаем свое место! Мы не цари природы, мы ее... часть... Как мыши, павлины, пауки и тараканы... И один из самых сильных наших инстинктов, доставшихся нам от нее, — это инстинкт самосохранения! Это так понятно, так естественно... Нам бы только продлить эту жизнь и эти свои наблюдения хоть на день, хоть на час! Так что... что ж гнушаться? Мы не гнушаемся... ни двумя килограммами мацы, ни несколькими шекелями в молельном доме чужого Бога!

После паузы.

Молодой человек! Молодой человек! Молодой че-ло-век! Конечно, я так и знал. Товарищ проводник, молодой человек сошел на последней станции? Я так и думал! Конечно! Он прихватил одну из моих сумок! Ту, что лежала к нему поближе. Я увлекся, и как раз в этот момент он прихватил одну из сумок. (*Подумал.*) Впрочем, на здоровье! На здоровье, несчастный молодой человек! А ведь у него были такие внимательные, сочувствующие глаза… Нет, я совсем не расстроен. Это входило в программу. На этой станции тоже всегда что-то крадут. Там было несколько почти новых маек и джинсы,

которые вполне ему подойдут. Надо делиться! Не зря же я хожу по базару в Тель-Авиве... Но мы не познакомились… Я рад новым спутникам. Вы хотите спать? Конечно, я не буду мешать... Нет, что вы, я не так дурно воспитан, я не буду мешать... Спите на здоровье... А я еще посижу, понаблюдаю... Как наш поезд несется в ночном пространстве... Солнце на той стороне земли... Бесконечно далеко. Наш несчастный, одинокий поезд несется себе в холоде и мраке... В космическом холоде и мраке... Но что падать духом, еще немного, солнце вернется и нас согреет... Мы — его дети! Я вам мешаю? Молчу. Я молчу.

Какое-то время сидит молча, прислушиваясь к стуку колес. Вдруг, спохватившись, вскакивает.

Эй! Черт возьми! Молодой человек! Молодой человек! Ведь я же не сказал вам самого главного! Я вам не сказал, зачем я ограничиваю себя в самом необходимом, унижаюсь, экономлю каждый шекель, но каждый год приезжаю сюда! Зачем? А ведь это ясно как день! Чтобы поговорить!!! Если человеку что-то нужно на этом свете, так это — другой человек! Все мы несемся в холоде и мраке, нам тепло только друг с другом! Только нам природа дала речь! Чтобы мы могли думать, общаться, чтобы мы могли высказать, что у нас на сердце! (*Подумал.*) Я мешаю вам спать? Я молчу... Я молчу... Я молчу...

Сжался на лавке, маленький, одинокий... И всепобеждающий шум, грохот, вой несущегося в пространстве поезда.

Конец



ЗМИТРОК МОРОЗОВ

Увидеть себя

Материнской молитвенной речью

Суета. Пустота. Бессердечность…
Пусть покоем не балует жизнь,
Материнской молитвенной речью
Освещаю потемки души.

Причащусь тишиною надречной,
На вечерние глядя сады…
Материнской молитвенной речью
Ограждаю свой род от беды.

От манкурта, что чванством калечит
Веру предков и душу мою…
Материнской молитвенной речью
Я крещен…
И на этом стою!

Бабушкин камешек

Науке молчанья учила бабуля:
«Как беды вокруг
Засвистят, будто пули,
Ты камешек малый
Держи за зубами…»
И я научился
Молчанью с годами.
Презренье и зависть,
Лукавое слово
Молчаньем сметаю,
Как ветер полову.
До скрежета зубы
Сжимаю, бывает…
На бабушкин камешек
Лишь уповаю.

* * *

Не ношу часов,
чтобы убежать от времени.
Да только время, как безжалостный,
когтистый зверь,
Днем и ночью догоняет меня
пронзительными

Телефонными звонками
С голосами бесчисленных родственников,
Бывших друзей, сослуживцев,
Знакомых и незнакомых мне людей,
С просьбами: защитить, утешить,
Устроить, добыть, приютить…
И только моя весенняя любовь,
Которая еще не осталась в прошлом,
Не напоминает о себе даже одним,
Таким долгожданным, телефонным звонком.

* * *

Монотонные будни в тупом постоянстве
Жалят сердце, подобно огню…
Стихотворец-бродяга, уставший от странствий,
Я Пегаса уже не гоню.
Все друзья и враги безнадежно отстали,
Как не сбиться с пути своего?..
Напряженно гляжу в потемневшие дали,
Да не вижу себя самого.

* * *

Мне люльку сбили из сосны,
Что маму телом заслонила…
Три пули — память той войны —
Она в платочке сохранила
И протянула тихо мне
В день моего двадцатилетья…
Обязан жизнью той сосне
Я остаюсь до самой смерти.

Письмо в 20-е столетие

Только ночь, как в райском сне,
Ты моей была…
Вот и все, что ныне мне
Память сберегла.

День расставил по местам
Все, что спутал рок,
Разлучил нас навсегда
На кресте дорог.

…Новый век и новый час.
Но за той чертой
Все звучит «Я встретил Вас».
Образ твой святой
Пробуждается во мне
Песней неземной…
Только ночь, как в райском сне,
Ты была со мной.

Плач перепелки

«Что за немочь на людей,
Как чума, напала:
Для ума полно затей,
А душа завяла.

Разум судит и дает,
Разум правит светом…
Мне ж тепла недостает,
Словно солнца летом.

И пока еще живу
Я в полеглом жите —
Люди добрые, «ау»,
Душу не сушите!»

* * *

Среди глума и лепета,
Непристойных созвучий —
Соловьиное — Лермонтов,
И глубинное — Тютчев
Воскрешают для чистого.
А святое — Купала,
Как слезинка искристая,
Прямо в сердце запало.

Уединение

Уединение — не кара,
В годину горестей лихих
Оно приходит высшим даром,
Душе прощеньем за грехи.
Так не стони в угоду лени,
Об одиночестве скорбя,
А тихо славь уединенье,
Что не оставило тебя.

* * *

Свободы ждем, как дара свыше,
Хоть есть у жизни дар иной —
Свобода от себя самих же!..
Когда окончен путь земной...

* * *

Пока колдует над пером рука
И чувствами живыми сердце бьется,
Я списываю жизнь с черновика,
Что до конца прочесть не доведется.

Перевод с белорусского Андрея Тявловского.

ЗИНАИДА КРАСНЕВСКАЯ

Кино

Вместо заставки

Никогда не знаешь наверняка, что и из чего получится в итоге. Особенно, когда имеешь дело с занятиями, пусть и опосредствованно, но имеющими отношение к литературе. Так случилось и со мной. Некоторое время тому назад позвонил Олег Алексеевич Ждан, редактировавший мою статью, и попросил уточнить одну цитату из Канта, которая, по его словам, показалась корректору не совсем корректной. Я перепроверила, попутно заметив, что, к сожалению, в наши дни гуляет множество цитат, которые кажутся всем стопроцентно знакомыми, а на самом деле они звучат так, как звучат, а не так, как нам кажется.

Кстати, особенно по части искажений не повезло в свое время В. И. Ленину, быть может, оттого, что в годы оны его цитировали направо и налево, к месту и не к месту, причем, не сильно перетруждая себя проверкой точности. Достаточно вспомнить пресловутых кухарок, которые якобы могут управлять государством. А ведь стоит лишь бегло пролистать работу Ленина «Удержат ли большевики государственную власть», ту самую, что в 34-м томе его Полного собрания сочинений, чтобы на странице 315 прочитать следующее: *«Мы не утописты. Мы знаем, что любой рабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством».*

Вот так мы поговорили и даже пошутили, попутно вспомнили другое высказывание Канта, который не раз повторял, что знакомое, если оно только знакомо, остается непознанным. Но стоило мне повесить трубку, как в моей памяти тут же всплыла еще одна цитата (Ох, уж это пресловутое остроумие на лестнице!), и в ней речь шла уже не об управлении государством, а о кино. Дело в том, что лет тридцать тому назад трудно было себе представить фойе отечественного кинотеатра, в котором на видном месте не красовалось бы следующее изречение, будто бы тоже из ленинского наследия: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Тогдашний агитпроп, судя по всему, не сильно волновало, что они буквально вырвали цитату из контекста, потому что в своем первозданном виде эта фраза начинается так: «В неграмотной стране из всех искусств для нас важнейшим является кино…» Да и заканчивается изречение Ленина не столь пафосно, ибо, по мнению вождя мирового пролетариата, кино являлось важнейшим из искусств всего лишь для обучения производственным процессам.

Однако жизнь внесла свои коррективы, и как ни странно, но в случае с кино партийные идеологи оказались правы на все сто. Пожалуй, они бы даже могли с полным основанием приписать эту изрядно отредактированную истину себе.

Потому что в Советском Союзе кино действительно стало одним из важнейших, если не самым важным, инструментом в деле образования и воспитания населения.

Недаром сам Маяковский в своем стихотворении «Кино и кино» написал об этом так:

Для вас кино — зрелище,
Для меня — почти миросозерцание.
Кино — проводник движения.
Кино — новатор литератур.
Кино — разрушитель эстетики.
Кино — бесстрашность.
Кино — спортсмен.
Кино — рассеиватель идей.

Итак, несомненно, кино было самым любимым и популярным видом искусства в нашей стране, ибо, несмотря на высокий авторитет театра, оно и по сей день остается доступным далеко не всем, даже из числа горожан. Эра телевидения еще только-только начиналась, а потому телевизоры в те годы светились в домах у считанных людей. Музеи тоже были и есть уделом немногих счастливчиков. А что же до книг, то их читали, и читали гораздо больше, чем в наши дни. Но все же читали лишь те, кто любил читать, да плюс еще студенты и школьники, кому это занятие вменено в обязанность.

Собственно, необыкновенная востребованность киноискусства нашла свое отражение даже в языке. У всех на слуху восклицания типа «Вот так кино!» или «Кино, да и только!». Или сравнение «Ну, прямо как в кино!», не говоря уже о сакраментальных «Туши свет!» и «Кина не будет! Кинщик спился».

Словом, мысли мои после разговора с Олегом Алексеевичем завертелись вокруг кино. Я начала вспоминать всякие-разные истории, связанные с личным кинозрительским опытом. А в результате получилось то, что получилось.

«Карнавальная ночь»

Каждый год, 31 декабря, все мы, и бывшие граждане бывшего Советского Союза, и те, кто никогда не жил в той стране, канувшей, словно Атлантида, в бурные воды истории, имеем широкий выбор развлечений (в телевизионном формате, разумеется). Переключаясь с канала на канал, мы можем в сто сорок восьмой раз отправиться вместе с незадачливым Женей Лукашиным в баню или удрать с симпатичной троицей самогонщиков в лес, на природу. Можем веселиться с пылесосом в руке над уморительно смешными диалогами Папанова и Миронова в «Бриллиантовой руке». А можем…

Лично я, колдуя над селедкой под шубой или размешивая обязательный, как сам Новый год, салат оливье, всегда делаю свой выбор в пользу одной и той же новогодней комедии. Я всегда смотрю «Карнавальную ночь».

И дело тут вовсе не в феноменальных достоинствах фильма, хотя достоинства, разумеется, есть. Просто так вышло, что кинокомедия каким-то фантастическим образом наложилась на мои детские воспоминания о праздновании одного очень-очень давнего Нового года, который, по стечению обстоятельств, во многом повторил события самого фильма.

Первый раз я увидела фильм Эльдара Рязанова (впрочем, кто тогда знал этого режиссера по фамилии?) именно в новогодние дни. И случилось это в далеком 1957 году. А если быть совсем точной, то 1 января 1957 года.

Я хорошо, во всех подробностях, помню тот неповторимый по своему праздничному настроению день. Вся наша небольшая семья — папа, мама и я, проснулись поздно, как и положено после новогоднего застолья накануне. В доме вкусно пахнет хвоей, мандаринами, шоколадными конфетами, в изобилии развешанными на пушистых ветках нарядной елки. В воздухе еще витает слабый запах бенгальских огней, которые развеселившиеся гости жгли прямо в комнате, не очень опасаясь всяких там ЧП. Пол в обеих комнатах обильно засыпан разноцветным конфетти — результаты деятельности громогласных хлопушек. У каждой из них имелся свой праздничный «секрет», как у нынешних киндер-сюрпризов. А потому я с превеликой охотой использовала весь запас праздничной артиллерии и в результате стала счастливой обладательницей нескольких пластмассовых брошечек (помню, особенно меня пленила пара коньков на тоненькой серебристой цепочке) и прочей мелкой дребедени.

Мама уже хлопочет на кухне, потом накрывает на стол, естественно, в большой комнате, под елкой. Меня отправляют за соседкой, неизменной участницей всех наших праздничных и воскресных семейных трапез, одинокой блокадницей по имени Анна Ивановна. Мы не спеша рассаживаемся по местам, взрослые наливают себе «по маленькой», мне подставляют стакан с лимонадом. Выпивают, закусывают, лица у всех размягченные, счастливые, как и положено в первый день Нового года, когда все еще только начинается и столько хорошего впереди. Мы оживленно вспоминаем забавные мелочи новогодней ночи, и вот в самый разгар наших веселых разговоров папа стучит вилкой по краю рюмки и громогласно объявляет:

— Минуточку внимания, милые дамы! У меня для вас приготовлен еще один сюрприз. Сегодня в пять часов идем на открытие нового Дома культуры кожзавода. После концерта будут демонстрировать кинокомедию «Карнавальная ночь». Так что попрошу быть в форме и не опаздывать!

И отец ловким движением фокусника извлекает из нагрудного кармана пиджака четыре ярких пригласительных билета, разукрашенных шарами и елками.

Кино! Сегодня! У меня сладостно замирает сердце в предвкушении новой порции удовольствия. Вот уж воистину, счастью нет конца!

В сгущающихся сумерках наша четверка, подгоняемая легким январским морозцем, бодро шагает по скрипучему снегу в сторону трамвайных путей, чтобы подъехать несколько остановок до дома культуры. Он виден уже издалека, расцвеченный гирляндами разноцветных огней, точь-в-точь как в самой «Карнавальной ночи». Да и сам клуб своим архитектурным обликом кажется родным братом-близнецом того культурного учреждения, в котором развернулись основные события кинокомедии. А кто не верит мне, пусть отправляется в город Даугавпилс, что ныне находится в другой стране и даже в другом союзе — Евросоюзе. Не думаю, что благоразумные латыши снесли его, как претенциозный памятник ненавистному для них советскому прошлому. Прошлое — прошлым, а здание, пожалуй, прослужит еще не один десяток лет.

Толпы нарядных людей оживленно фланируют среди кадок с пальмами, в центре просторного фойе возвышается красавица-елка, играет оркестр, несколько пар уже кружат по сверкающему свежим лаком паркету. В буфете не протолкнуться, папа заказывает всем нам, дамам, пирожные, себе рюмку коньяку. Анна Ивановна, мама, красивые, с прическами, в нарядных платьях, у Анны Ивановны — черное, у мамы — кофе с молоком. Оба — с басочками, расшитыми по моде того времени бисером, папа в строгом костюме. Я — с новой брошкой-коньками на воротничке выходного платья и с большим бледно-розовым капроновым бантом (последний писк школьной моды!) в косе. Звенит тре-

тий звонок, публика веселой гурьбой устремляется в зрительный зал. Мы тоже занимаем свои места в партере, почти рядом со сценой. Небольшой концерт, которого я, впрочем, совсем не запомнила: концертные номера из кинофильма затмили его, целиком и полностью вытеснив из детской памяти. Наконец наступает долгожданный момент: в зале гаснет свет, и начинается кинодейство под названием «Карнавальная ночь».

Скупые строки Кинословаря удостоверяют, что фильм был снят на киностудии «Мосфильм» в 1956 году режиссером Эльдаром Рязановым по сценарию Бориса Ласкина. Сегодня, по прошествии полувека, я отлично понимаю, сколько усилий затратило новоиспеченное руководство клуба вкупе с заводским начальством, чтобы главным украшением торжественного мероприятия сделать художественный фильм, который еще даже не вышел в широкий прокат. Во всяком случае, на экраны нашего провинциального города. Но труд их, как говорится, не пропал даром, потому что праздник открытия новой культурной точки в городе Даугавпилсе (или в Двинске, как называли его по старой памяти русскоязычные жители) получился на славу. И в первую очередь — благодаря «Карнавальной ночи», вернее, благодаря ослепительной Людмиле Гурченко.

Итак, «Карнавальная ночь». О чем же этот фильм? Да, по большому счету, ни о чем. Так, сменяющие друг друга веселые новогодние репризы и концертные номера, объединенные весьма незамысловатым сюжетом. Вот уж воистину, прав был Бальмонт, воскликнувший однажды:

Бог создал мир из ничего.
Учись, художник, у него!

Молодой режиссер Рязанов оказался способным учеником и тоже создал свой первый полнометражный фильм из этого самого «ничего». Ленты, банты, шары, серпантин. А в результате получилось настоящее произведение киноискусства, можно даже сказать, что на все времена. Во всяком случае, первые полвека всенародной любви наш шедевр выдержал достойно.

Однако рискну высказать крамольную мысль. Ибо мне кажется, что заслуга в этом принадлежит совсем не режиссеру или автору сценария. И не композитору, хотя песни из кинофильма уже назавтра шагнули с экрана и пошли гулять по всей стране. Достаточно вспомнить неувядаемые «Пять минут» или «Ах, Таня, Таня, Танечка».

Невиданный, ошеломляющий успех, свалившийся на головы создателей «Карнавальной ночи», обусловлен был, в первую очередь, появлением на экране несравненной, ни на кого не похожей юной Людмилы Гурченко. Разумеется, в фильме было полно и других актерских удач: блистательный Игорь Ильинский, вылепивший образ стопроцентного бюрократа Огурцова, замечательная Тамара Носова в роли секретарши Тоси, неподражаемый Сергей Филиппов с его риторическим вопросом «Есть ли жизнь на Марсе?», затмившим по своей популярности в те годы шекспировскую дилемму «Быть или не быть?».

И все же Гурченко в том фильме была первой и главной среди равных: истинная прима талантливого ансамбля, все остальные участники которого сыграли яркую и запоминающуюся свиту молодой королевы.

Уж не знаю, как приветствовала на премьерном показе искушенная московская публика появление новой кинозвезды. В далеком провинциальном городке люди, затаив дыхание, следили за феерическим каскадом концертных номеров, в центре каждого из которых была она! Очаровательная, милая, юная, прелестная Леночка Крылова в исполнении такой же милой, прелестной, юной Люси Гурченко.

Да, доложу я вам, никакие самые современные домашние кинотеатры не заменят атмосферы всеобщего единения, которая царила в кинозалах тех лет. Особенно в провинции, где кино наряду с толстыми литературными журналами и редкими гастролями столичных именитостей было единственным окном в огромный мир, извините за тавтологию, мировой культуры.

Скольких кинозрительниц, понятия не имевших о французском писателе Стендале, приобщил к большой литературе великолепный Жерар Филипп, сыгравший Фабрицио дель Донго в «Пармской обители» и Жюльена Сореля в «Красном и черном»! А сколько радости доставляли комедии с Бурвилем, Фернанделем, Тото, Чарли Чаплином. А как рыдала вся страна над несчастным «Бродягой» Раджа Капура. А дивная Джина Лоллобриджида, загадочная Мишель Морган, элегантный Ив Монтан, немногословный Жан Габен. Впрочем, кумиров тех лет можно перечислять десятками, а потому вернемся в наш новогодний клуб.

Там в тот момент наблюдалось не просто всеобщее единение душ, но восторг и упоение, близкие к экстазу. «Ах, какая талия!» — ахали кинозрительницы, еще не подозревая о том, что скоро эта осиная талия будет измерена с точностью до миллиметра и цифры замелькают почти во всех публикациях о талантливой дебютантке. «Ах, какие стильные концертные платья!» — вздыхала «коренная ленинградка» (да, именно так она себя называла) Анна Ивановна Алексеева, получавшая в свое время почетные грамоты из рук самого «Сергея Мироновича Кирова» (опять ее же слова). И тут же, наклонившись ко мне, пустилась в сентиментальные воспоминания о том, как в юности у нее была точно такая же очаровательная белая муфточка из кролика. «Вот это голос! — констатировал мужской бас сзади. — Да с таким голосом ей только петь и петь!»

Да, с таким голосом петь бы ей и петь, с такими сценическими данными сниматься бы и сниматься, с такой внешностью блистать бы и блистать на всех экранах мира. Только ничего этого не было, вот в чем беда.

Как не было? — возмутятся иные читатели. — Да эта твоя Гурченко с экрана не слазит. Вон уже который год до Петербурга все никак не может доехать, постоянно в Ленинград попадает.

Да, все так, и поет, и снимается, и деньги получает, и в желтой прессе вниманием отмечена. Получила, так сказать, свою порцию паблисити. Только какое это отношение имеет к Леночке Крыловой (прошу прощения, к Люсе Гурченко)? Старая эпатажная дама, бегущая наперегонки с собственным возрастом, никогда не была Люсей. Она, выйдя на всеобщее обозрение после двадцати с лишним лет забвения и хулы, сразу и бесповоротно стала Людмилой Гурченко со всеми вытекающими отсюда последствиями для своей творческой биографии. А куда пропала та милая Леночка, покорившая мое детское сердце и сердца всех присутствовавших в зале зрителей, — сие тайна есть великая, за семью печатями.

Потому что, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно, как справедливо заметил однажды поэт. В разговоре о кино без звезд не обойтись. Ведь кинозвезды нужны, как известно, прежде всего нам, кинозрителям. Впрочем, и кинопроизводству тоже. Не секрет же, что талантливая кинозвезда с легкостью отработает бюджет любой картины. Да еще и прибыль принесет немалую. И вот Голливуд, не раздумывая, вкладывает миллионы в дурнушку Стрейзанд, штампуя фильм за фильмом с ее участием. А ведь у актрисы не только внешние данные, мягко говоря, далеки от совершенства, но и голос отнюдь не лучше, чем у юной Гурченко, еще не успевшей прокурить свои вокальные данные. Но первую снимают и снимают, хоть «Смешная девчонка», хоть «несмешная девчонка». Словом, Барбара Стрейзанд изо всех

сил помогает Голливуду делать деньги, а заодно и радовать кинозрителей своим талантом. Нашу же «девчонку» задвинули-отодвинули на целых два десятилетия (катастрофа для любого артиста!), а попутно облили грязью во всяких сомнительных фельетонах и обличительных статьях. Чтобы, видно, другим скромным провинциалкам было неповадно сразу метить «в дамки».

Потому что у каждой настоящей советской кинозвезды, по мнению маститых киноначальников тех лет, должно было быть соответствующее обрамление. Свой статус, так сказать. Желательно в виде мужа-режиссера. Вот и пропела Любовь Орлова всю свою жизнь в фильмах мужа Александрова, а Тамара Макарова помогала, как могла, нести непосильный груз славы уже своему мужу, Сергею Герасимову. И Марина Ладынина до поры до времени получала Сталинские премии исключительно в союзе с Иваном Пырьевым. И Ирина Скобцева предпочитала появляться, главным образом, в фильмах Сергея Бондарчука. Да что там Скобцева! Даже любимица восьмидесятых Вера Алентова («Москва слезам не верит») тоже так и не оторвалась далече от своей второй половины Владимира Меньшова. Такие вот на удивление долговечные творческие тандемы. И такие вот методики зажигания звезд.

Так их у нас и зажигали, преимущественно! А потом еще горько сокрушались, что красавица Алла Ларионова, к примеру, могущая дать своими внешними данными фору любой звезде мирового уровня, так и ушла из жизни, не вкусив этой самой мировой славы. Международное же признание другой актрисы, Татьяны Самойловой, и вовсе принесло ей одни несчастья: женщине постарались сломать и творческую судьбу, и личную жизнь. А тут какая-то Леночка Крылова (прошу прощения, Люся Гурченко). Милая хохотушка, очаровашка, коих, по мнению все того же начальства, в любом театральном вузе пруд пруди. Да и вообще, незаменимых, как известно, нет. Эту задвинем, ту выдвинем.

А потому можно только восхищаться мужеством и крепостью духа Людмилы Гурченко, сумевшей вынырнуть из небытия после такого долгого «отлучения от экрана». Впрочем, это уже совсем другая история, не имеющая никакого отношения к новогодним хлопотам. Да и Людмила Гурченко, снова повторюсь я, это уже не Люся. Другая актриса, другие мерки, другие критерии оценки ее таланта. А главное, время! Оно ушло. Ушло безвозвратно, и никакие ухищрения пластических хирургов не вернут нам (мне лично!) обаяния юности и радости бытия.

Рискнув нарушить обычную рождественскую тональность, присущую новогодним историям, сделаю свой невеселый вывод. Биография молодого культработника Леночки Крыловой сложилась в общем-то совсем не так радужно, как начиналась. И пусть несогласные бросят в меня камень, обвинив в чрезмерном сгущении красок. А я, чтобы не расстраиваться лишний раз, пожалуй, переключу телевизор на другой канал. Вполне возможно, на одном из них как раз сейчас неувядаемая Барбара Стрейзанд поет свою коронную песню.

Make someone happy,
Make just one someone happy
And you will be happy too…

Сделай кого-нибудь счастливым,
Сделай счастливым, хотя кого-нибудь одного,
И ты будешь счастлива сама.

А ведь это точно про нашу Леночку Крылову. И про юную Люсю Гурченко, в одночасье сделавшую счастливыми стольких людей. Вот только была ли счаст-

лива она сама? Увы, вопрос мой все из того же разряда про жизнь на Марсе, то есть сугубо риторический, а потому его можно оставить без ответа.

«Грузия-фильм»

Так все-таки, что такое космополитизм? Если, не к ночи будет помянуто, завести речь про «безродных космополитов», то, согласно Краткому философскому словарю 1954 года издания, космополитизм — это *«реакционная буржуазная идеология, проповедующая безразличное отношение к интересам своей родины, к национальным традициям, к национальной культуре, отказ от национального суверенитета»* и так далее, в том же духе еще на полутора страницах. После столь тяжких обвинений совсем не хочется оказаться в рядах этих самых космополитов. Но если потянуть за другую ниточку, скажем, лингвистическую, и вспомнить, например, что греческое слово *космос* означает *мир*, а *политик* — всего лишь *гражданин*, то быть этим самым «гражданином мира» совсем не так уж и преступно. Пели же мы в свое время: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». И правильно делали, что пели, потому что это и на самом деле было так. И никакого безразличного отношения, кстати, к национальным культурам народов, населявших то наше государство, не было и в помине. Скорее даже наоборот.

С особым интересом отслеживались лет тридцать — сорок тому назад новинки грузинской культуры. Нет, никакого влияния железной руки Сталина! Ни ради бога! Так, Нодар Думбадзе с его книгами, полными тонкого, неподдельного юмора, стал всеобщим любимцем уже спустя много лет после смерти вождя. А сестры Церетели пели бы свои романсы с не меньшим успехом, думаю, и при Петре I, живи он в одно время вместе с ними. Ведь дело вовсе не в персоналиях лидеров, а в культуре самого народа. Грузинская же культура всегда отличалась особой неповторимостью и своеобразием (недаром она в свое время пленила самого А. С. Пушкина!), и при этом она как-то очень органично вплеталась в многонациональную культуру нашего государства. А главное — она была любима и востребована теми, кто жил в этом самом государстве.

Выставки примитивиста Пиросмани повсеместно собирали толпы народа, на стихи тонкого лирика Николоза Бараташвили писали романсы, по книгам того же Думбадзе ставили спектакли, и на них невозможно было попасть. Вспоминаю, какой ажиотаж царил в Питере, когда Георгий Товстоногов поставил в конце шестидесятых в своем театре пьесу по повести Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» с еще совсем молодым Сергеем Юрским в главной роли. А его пленительная «Ханума», которая до сих пор не сходит по праздникам с телевизионных экранов! А выдающееся хореографическое мастерство Чабукиани, а корифеи грузинской сцены, такие, как Верико Анджапаридзе и Котэ Марджанишвили. А замечательные футбольные комментарии еще одного всеобщего любимца Котэ Махарадзе. А грузинское кино, наконец! Ведь его любили, и еще как, доложу я вам! И мои детские, но сохранившиеся на всю жизнь воспоминания о грузинских фильмах — яркое тому подтверждение.

Потому что первый раз я увидела фильм, снятый на «Грузия-фильм» в 1954 году. Увидела и запомнила навсегда.

В провинциальном городе Даугавпилсе, где прошло мое раннее детство, имелся один жилой район, пользовавшийся особым респектом. И еще повышенным любопытством со стороны остальных горожан. Потому что вход

на территорию Крепости (как именовался этот массив на просторечии) был закрыт для большинства цивильных граждан. В старинной крепости на берегу Даугавы размещался военный гарнизон, и попасть туда можно было только по специальным пропускам.

Так случилось, что именно в Крепости нес свою офицерскую службу один из папиных фронтовых друзей, а потому семейные застолья с завидным постоянством чередовались то у нас, на улице Таутас (Народной, по-русски), то у них, в Крепости. Толстенные насыпные стены, казалось, наглухо отгораживали крепостные постройки от остального мира. Огромные въездные ворота, комендатура на входе с тщательной проверкой предварительно заказанных пропусков. Но вот минуешь полосу контроля и попадаешь в обычный жилой микрорайон, где, как и везде в Прибалтике, много зелени и цветов, весело щебечут птички, резвятся дети. Словом, все как обычно. Разве что на улицах больше военных. Быт офицерских семей в гарнизоне тоже был продуман до мелочей, и обитатели Крепости могли существовать практически в автономном режиме: свои магазины, парикмахерские, школа. Наконец, свой красавец клуб, в котором постоянно крутили новые фильмы, и часто даже раньше, чем в остальных кинотеатрах города.

И вот, пока фронтовики коротали время за воспоминаниями о былых походах, перемежающимися время от времени обязательными тостами в духе «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу», женщины, отдав дань застолью, забирали, нас, детей, и отправлялись на прогулку. Чаще всего в кино. Благо, клуб находился как раз напротив дома, в котором жили родительские друзья.

Именно в гарнизонном клубе летом 1954 года и я увидела грузинский фильм под названием «Стрекоза».

— Али-дили-дили, али-дили-дили, — распевала вся страна вслед за веселой хохотушкой Маринэ, легкой птичкой порхавшей по чайным плантациям на фоне умопомрачительно прекрасных пейзажей. Я и сегодня могу по-старчески скрипучим голосом напеть ту незатейливую мелодию, ставшую музыкальным лейтмотивом кинофильма.

О чем сам фильм? Честное слово, не помню! Помню только, что было очень весело и необыкновенно смешно. А еще помню красавицу Лейлу Абашидзе, сыгравшую главную роль в фильме Владимира Долидзе. Так и хочется воскликнуть: разве можно забыть такую? Оказывается, очень даже можно. В августе 2009 года исполнилось 80 лет со дня рождения этой ослепительной советской кинозвезды (даже не знаю, жива ли она), кумира кинозрителей пятидесятых годов. И ни единого отклика нигде! Ни в газетах, ни на экране телевизора. Как будто никогда и не было проказницы Маринэ с ее задорными песенками.

Между тем пресса на исходе лета озаботилась судьбой другой грузинки, правда, уже московского разлива, и без конца мусолила скандальную новость о том, что мастер «крутого эпатажа» Тина Канделаки, неизвестно за какие такие заслуги, была избрана в Общественную палату при Президенте РФ. Наверное, попала она туда исключительно за свою красоту. Хотя, положа руку на сердце, куда ей тягаться с Лейлой Абашидзе! Ни в какое сравнение не идет!

И это с готовностью подтвердит любой, кто помнит роли Лейлы в кино. Лично я помню еще один фильм с участием Абашидзе, который (надо же, какое забавное совпадение!) я снова смотрела в клубе, но уже не в военном гарнизоне, а в рабочем поселке, за сотни километров от латышского городка. Кинопросмотр проходил в поселке Глуша, что под Бобруйском. Недалеко от Глуши, в деревне Кисловщина, жила мамина многочисленная родня. И там

я проводила почти все свои летние каникулы. В белорусской глубинке летом 1957 года (кстати, в год выхода фильма на экраны) я в набитом битком зале клуба местного стеклозавода с замиранием сердца следила за новыми похождениями озорной героини Абашидзе в кинокомедии «Заноза».

И снова дружный смех зрителей! Зал с радостью веселился, наблюдая за проделками неунывающей героини по имени Лиа. Правда, действие в кинофильме, который был снят режиссером Николаем Санишвили, происходило уже не в горах, а в городе. В столице Грузии — Тбилиси. Героиня работала в таксопарке и по ходу фильма снова много пела. И это, пожалуй, то немногое, что я запомнила из того давнего кино. Зато хорошо помню атмосферу веселья и смеха, царившую на киносеансе. Было действительно весело и смешно. И снова очень, очень красиво!

Ну почему нынешние молодые так боятся снимать красивое кино, спрашиваю я себя порой. Не слащавое, словно патока, как многочисленные сериалы, в которых не веришь ни одной мизансцене и ни одной реплике, ни одного героя, а именно красивое в том понимании красоты, которое сформулировал когда-то Антон Павлович Чехов, считавший, что в человеке должно быть прекрасным все, и одежда, и облик, и сами его мысли. Ведь это же его слова: «Лекарство должно быть сладким, истина — красивой». Почему современные режиссеры так упорно забывают, что в искусстве кино главное — это все же видеоряд, а не сложные ассоциативные конструкции самого режиссера, порой ставящие зрителя в тупик?

Между тем достаточно даже беглого просмотра названий наиболее популярных в свое время фильмов, чтобы понять, что в основе большинства из них лежат вполне простые, незатейливые сюжеты. Но о красивом и красиво снятые. Да взять хотя бы наши «Белые росы»! Тоже мне шекспировские страсти! А ведь все мы уже четверть века находимся под обаянием незамысловатой истории о том, как отец хотел сына женить. И с удовольствием снова и снова смотрим старое кино, и даже готовы принять его продолжение, забывая вместе с создателями «Рос», что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя! Слава — аргонавтам! А вот про эпигонов — молчок.

Однако вернемся к грузинскому кино. Следующая моя памятная встреча с ним состоялась уже в 1960 году на родной Грушевке, в кинотеатре «Авангард», куда мы с подружкой сбежали с последнего урока физкультуры, чтобы попасть на дневной сеанс нового художественного фильма «Повесть об одной девушке».

Мы и понятия не имели, что идем на грузинское кино. Просто новый художественный фильм. Вполне веский повод, чтобы «слинять» с урока. Лента была снята известным грузинским кинорежиссером Михаилом Чиаурели, и в ней дебютировала еще одна несравненная грузинская красавица, молодая Софико Чиаурели, дочь великой Верико Анджапаридзе.

Помню, как запершило у меня в горле, когда, открыв первый номер «Литературной газеты» за 2009 год, я в рубрике «Утраты года» (нынче такие рубрики имеются во множестве газет) прочитала, что 3 марта 2008 года умерла Софико Чиаурели, не дожив всего лишь каких-то пару месяцев до семидесяти одного года. Великая актриса! Недаром она сама называла себя «народной артисткой исчезнувшей цивилизации». А еще была божественно, ослепительно прекрасна, как могут быть прекрасны только грузинки. Особенно в молодости.

Так вот, юная Софико была так дивно хороша в том старом фильме, что я даже запомнила его сюжет. Или почти запомнила. Молоденькая выпускница мединститута, вопреки намерению своих родителей оставить дочку в Тбилиси и выдать замуж за какого-то перспективного молодого человека, уезжает по месту распределения — в дальнее горное село. Там у нее, естественно,

случается любовь. И все это снова на фоне великолепных пейзажей грузинской природы. Фильм, в отличие от двух первых, был цветным: я буквально вижу перед собой отдельные кадры той давней киноповести. Кстати, вполне актуальный сюжет. Особенно если вспомнить, какие страсти царят ныне в наших медицинских вузах накануне распределения. Ведь желающих ехать уже в наши «горные села» с каждым годом все меньше и меньше. А не снять ли белорусским кинематографистам эдакий агитационный ремейк по сценарию грузинского кинофильма, а?

А вот закончить свои воспоминания о грузинском кино мне бы хотелось кинофильмом, снятом уже на «Мосфильме», правда, грузином. Но опять же стопроцентно московского разлива. Я имею в виду кинофильм «Не горюй!» режиссера Георгия Данелия, который вышел на экраны в 1969 году. Кстати, сценарий написан по роману французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен». Действие в фильме перенесено из Франции в дореволюционную Грузию, а в самой ленте снималось немало русских актеров. Та же Анастасия Вертинская, например. Вот такой удачный космополитизм получился в итоге.

Пространные рассуждения о фильме «Не горюй!» в общем-то и не нужны. Ибо, выражаясь языком тинейджеров, «его часто крутят по телеку», а потому этот киношедевр Данелия знают все. И в дифирамбах никто из исполнителей особо не нуждается, даже великий Серго Закариадзе, действительно, самый великий трагик XX века. Просто в этой связи вполне уместно вспомнить название еще одной киноленты: «Иди и смотри». Так что, иди и смотри!

Скажу лишь об одной удивительной особенности таланта Георгия Данелия, особенно ярко проступившей в его ранних фильмах. О его умении образно рассуждать о самых высоких философских материях и при этом давать очень яркие зрительные ассоциации, навсегда остающиеся в памяти. Вот и в фильме «Не горюй!» лично для меня, в те годы еще совсем молодой девушки, таким открытием стало переложение на язык кино темы смерти. Помните эти уморительно смешные кадры, когда главный герой собирает друзей на своеобразную генеральную репетицию собственных поминок? Звучит прекрасное многоголосие грузинской застольной, и под это величаво-торжественное пение, поднимающее тебя над бренностью бытия (как у Есенина, *«Душа стремится к небесам»*), Закариадзе с трудом встает со своего места и походкой тяжелобольного человека медленно идет к двери. У самой двери поворачивается, обводит присутствующих грустным взглядом — и все! Следующий кадр — просто пустой дверной проем. Своеобразная интерпретация черного квадрата Малевича (фильм — черно-белый), но уже на языке кино. Какой величественный символ смерти! Какая гениальная метафора! Это вам не черепа, будь то в шекспировском «Гамлете» или на картине Ганса Гольбейна-младшего «Послы». И не бесконечные песочные часы, мелькающие на офортах Дюрера. В этой метафоре — безусловная ментальность грузин, помноженная на все богатство мировой культуры. А в итоге получилось почти как у Николоза Бараташвили.

Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.

(Перевод Бориса Пастернака)

Вот и все о «Грузия-фильм». Интересно, существует ли киностудия сегодня? И если да, то сумела ли она в наше бурное коммерческое время сохранить великие традиции грузинского кино? Хотелось бы верить, что да.

«Римские каникулы»

В сентябре 1959 года глава Советского государства Н. Хрущев совершил вояж в Соединенные Штаты. Это был первый официальный визит в США руководителя КПСС. Результатом столь эпохального политического события стало появление на свет толстенной книги под редакцией зятя Хрущева Аджубея, работавшего в те годы главным редактором газеты «Известия». Книга называлась нарочито броско: «Лицом к лицу с Америкой». Видно, маститый журналист и родственник генсека начисто забыл слова поэта о том, что «лицом к лицу лица не увидать». Помню, как отец принес с работы эту книгу, пользовавшуюся, как бы сегодня сказали, ажиотажным спросом, и все наши соседи, сгрудившись возле стола, с интересом листали сей документальный отчет о командировке. К тому же, отчет изобиловал огромным количеством фотографий, запечатлевших буквально каждый шаг Никиты Сергеевича на американской земле. Так, на одном из снимков, как сейчас помню, Хрущев стоит посреди бескрайнего кукурузного поля. Высокие стволы кукурузы, похожие на деревья, теряются в небесной выси, но советский руководитель явно чем-то недоволен. Судя по его энергичной позе, он, наверное, в присущей ему директивной манере поучал сгрудившихся вокруг фермеров, как именно следует управляться с этой сельскохозяйственной культурой, чтобы она стала еще выше и еще кудрявее.

Впрочем, очень скоро кукурузная эпопея развернется уже на наших, отечественных полях. Да и не о кукурузе речь! Потому что следствием американского визита было еще одно весьма скромное событие, оставившее, тем не менее, заметный след в памяти киноманов тех лет. Ибо в конце 1959-го — в начале 1960 года на советские экраны вышла целая обойма американских художественных фильмов. И каких, доложу я вам! «Война и мир», «Все о Еве», «Рапсодия» с умопомрачительно прекрасной Элизабет Тейлор, «Марти» с некрасивой, но ужасно обаятельной Бэтси Блер, «Римские каникулы», «Лили» — вот лишь немногое, что я запомнила из того давнего списка. А еще забавная и весьма красочная документальная лента, снятая уже во Франции: «Америка глазами французов».

Наш отечественный кинозритель, получавший, как известно, весьма дозированные порции зарубежного кино, просто ошалел от такого нежданно-негаданно свалившегося на него счастья. В кассах минских кинотеатров творилось настоящее светопреставление. Подозреваю, что билеты на вечерние сеансы распределялись исключительно «по знакомству». Но и на утренние просмотры тоже попасть было практически невозможно. Каким-то чудом мама сумела организовать нам семейный просмотр «Войны и мира», потом посмотрела еще пару фильмов с соседкой, а мы с ее дочкой Наташей лишь завистливо слушали пересказ сюжетов и восторги по поводу игры актеров.

Но вот, наконец, пришел праздник и на нашу улицу. Из центральных кинотеатров «Победа», «Центральный» и «Зорька» (на ее месте сейчас высится кинотеатр «Октябрь») американские фильмы перекочевали на экраны второго эшелона, разбросанные по окраинам Минска. И как только в нашем местном «Авангарде» на улице Папанина вывесили афишу с предстоящим репертуаром, жители Грушевки бросились штурмовать уже кассы родного кинотеатра.

Разумеется, мы с Наташей прилежно отмечались в кассе каждый день, но тщетно! Толпы более напористых и взрослых зрителей сметали двух малолеток со своего пути, словно букашек, путающихся под ногами. К тому же, многие из означенных кинофильмов имели предупредительный гриф «Детям до 16…» и все такое, что еще больше сужало коридор наших возможностей.

Но когда тебе всего лишь двенадцать лет и когда на дворе летние каникулы, то любые неприятности кажутся мимолетными. А потому мы продолжали усердствовать в своем стремлении собственными глазами увидеть «настоящее американское кино».

И вот в один прекрасный день наши усилия были, наконец, вознаграждены. А ведь и правду говорят восточные мудрецы: все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Что же до нас с Наташей, то к нам «пришли» два билета на дневной сеанс кинокомедии под названием «Римские каникулы». На красочной афише возле входа в кинотеатр, изображавшей контуры Колизея и какие-то островерхие крыши, которые, судя по замыслу художника, должны были настраивать нас, зрителей, на итальянские мотивы, значились фамилии актеров. И среди них одно, уже знакомое мне по фильму «Война и мир» имя — Одри Хепбёрн, сыгравшая в экранизации романа Льва Толстого обаятельную и, как ни странно, очень русскую по духу Наташу Ростову. Красавица Хепбёрн, слава которой в те годы гремела по всему миру. Между прочим, она уже имела за плечами одного «Оскара», и, кстати, за фильм «Римские каникулы», который режиссер Уильям Уайлер снял в 1953 году. По тогдашним советским меркам почти кинопремьера для зарубежного фильма у нас. Конечно, никаких таких подробностей об актрисе никто из нас не знал. Как не знали мы с Наташей и партнера Хепбёрн, красавца Грегори Пека, входившего в конце сороковых — начале пятидесятых в список признанных «десяти звезд американского кино». И ведь действительно был красавцем! Недаром именно ему посвятила свою знаменитую «Бесаме мучо» молодая мексиканка Консуэлло Веласкес, написавшая в конце все тех же сороковых одну из лучших песен о любви всех времен и народов.

Вот за что я люблю старый Голливуд! Голливуд 30-х, 40-х, 50-х, первой половины 60-х годов прошлого столетия. Во-первых, за высокую культуру самого кино (достаточно посмотреть черно-белые мюзиклы тридцатых годов, чтобы понять, что я имею в виду). А во-вторых и главным образом, за то, что знаменитый лозунг Эллочки-людоедки «Сделайте мне красиво!» американские кинорежиссеры первой половины XX века понимали буквально и делали действительно очень красивое кино. Именно красивое! Красивые лица (одно прекраснее другого), красивые пейзажи, красивые интерьеры, наконец, красивые истории, которые рассказывались с некоторым налетом сентиментальности, но при этом безо всякой ложной чувствительности, когда из зрителя хотят выдавить слезу любой ценой.

Чтобы понять, о чем я, достаточно сравнить два американских кинофильма с одинаковым названием и в общем-то одинаковым сюжетом. Ибо второй из них есть чистой воды ремейк первого. Я имею в виду «Сабрину». Первая «Сабрина» была снята в далеком 1954 году режиссером Билли Уайлдером (попрошу не путать с Уильямом Уайлером!). Билли Уайлдер — это тот самый режиссер, который подарил всем нам, кинозрителям, великолепную ленту «В джазе только девушки», после которой Мэрилин Монро окончательно и бесповоротно стала мегазвездой. С ностальгией в сердце сообщаю, что «Сабрина» по версии 1954 года была смешной, очень смешной, и фильм даже имел короткий подзаголовок: «Кинокомедия». Кстати, в главных ролях в той давней комедии снялись все та же Одри Хепбёрн и еще один известный голливудский сердцеед Хамфри Богарт.

Что же до ремейка, снятого Сиднием Поллаком в 1995 году с Харрисоном Фордом и Джулией Ормонд в главных ролях, то в слезливых перипетиях знакомого сюжета, ей-богу! — не было ничего смешного. Или, тем более, остроумного и забавного! Одно слово — ремейк! Стоило бы напомнить и оте-

чественным деятелям кино, что в искусстве повторение еще никто и никогда не называл «матерью учения». Для любителей проторенных дорог есть другое определение, немного уничижительное слово *эпигоны*. Так и хочется воскликнуть: «Мастера искусства, помните! Золотое руно всегда достается только аргонавтам, то есть тем, кто идет первым».

Я не стану пересказывать сюжет «Римских каникул». Этот фильм часто мелькает на наших телевизионных экранах, и при желании его можно посмотреть, и не раз. Я не стану говорить о том, как прекрасен черно-белый Рим, снятый оператором фильма, насколько он ближе к реальной итальянской столице и достовернее расцвеченных всеми красками глянцевых изображений «вечного города», которыми изобилуют многочисленные туристические проспекты. Я ни слова не скажу о том, какой по-настоящему милой получилась героиня фильма у Одри Хепбёрн. Даже ее ослепительная красота не мешала сопереживать просто девушке, волей случая оказавшейся — увы! — наследственной принцессой. Как пела наша прославленная певица, «все могут короли», но…

Вот об этом самом «но», о котором на момент просмотра фильма никто из нас и понятия не имел, стоит сказать отдельно. Много-много лет спустя после того давнего посещения кино, где-то уже в середине семидесятых, мне попался в руки английский глянцевый журнал (в те годы глянец у нас был исключительно импортного производства). И в нем я с интересом (потому что статья была написана умно!) прочитала большую, богато иллюстрированную статью, посвященную принцессе Маргарет, младшей сестре английской королевы, ныне уже покойной. Принцесса все шестидесятые с завидным упорством и почище всяких «битлов» эпатировала английскую общественность своими совсем не королевскими выходками, увенчавшимися, в конце концов, тем, что она, назло всем своим монаршим родственникам и прочим обитателям Букингемского дворца, вышла замуж за простого фотографа. Впрочем, из новоиспеченного мужа в спешном порядке слепили лорда, наградив счастливчика и титулом, и прочими радостями бытия, но это уже не столь существенно.

Ибо статья в том давнем журнале была совсем не о свадебных похождениях непослушной принцессы, которая к середине семидесятых уже была матерью двоих детей и даже успела развестись со своим фотографом. Публикация, посвященная, видимо, какой-то круглой дате, отмечаемой «инфант терибль» семейства Виндзоров, называлась простенько и со вкусом — «История одной любви». В ней, безо всякого мелодраматического надрыва и душещипательных слов, рассказывалось о романе, который случился у юной английской принцессы сразу же после Второй мировой войны. Маргарет влюбилась в офицера, служившего в личной охране ее отца, тогдашнего английского короля Георга VI. Офицер был молод, храбр, увенчан многими боевыми наградами и, как свидетельствовали очевидцы, весьма недурен собой. А уж сама принцесса и говорить нечего! Просто замечательная была принцесса, сказочно прекрасная! Как сейчас помню цветную вкладку, запечатлевшую восемнадцатилетнюю Маргарет на каком-то официальном приеме в парадном королевском платье. Тут поневоле, и безо всяких аллюзий и ассоциаций, вспомнишь «Римские каникулы», ибо Маргарет в молодости была поразительно похожа на американскую кинозвезду по имени Одри Хепбёрн.

Итак, принцесса влюбилась, и любовь эта, как и положено по законам жанра, оказалась взаимной. Ну, а потом выяснились некоторые досадные обстоятельства, которые помешали стать истории королевской любви достоянием широкой общественности и поводом для многочисленных домыслов,

как это позже случилось с другой английской принцессой по имени Диана. Выяснилось, что у молодого человека, влюбившего в себя королевскую дочь, есть за плечами не только героическое военное прошлое. В этом самом прошлом был еще и брак с другой женщиной, и хотя на момент встречи с принцессой офицер уже давно числился в разводе, король был неумолим. А вместе с ним и все остальные обитатели дворца.

Злые языки поговаривали, что особенно усердствовала старшая сестра, будущая королева Елизавета, боявшаяся, что брак с разведенным мужчиной скомпрометирует не только младшую, но и бросит тень на все венценосное семейство, с трудом оправившееся после шумного скандала, связанного с отречением от престола предыдущего монарха, короля Эдуарда VIII, дяди обеих принцесс. Который тоже, видите ли, изволил влюбиться в разведенную американку и до такой степени потерял голову, что предпочел не глядя махнуть королевский сан на статус просто женатого мужчины. Как бы то ни было, а офицера, внесшего смуту в чинную жизнь королевской семьи, постарались быстро спровадить к новому месту службы. Индия тогда уже из Британской короны выпала, а потому в военном ведомстве, видно, изрядно поломали голову, чтобы упечь красавца подальше от очей безутешной Маргарет. Вполне возможно, на Фолклендские острова или еще куда-нибудь в открытый океан, туда, где поблизости нет красивых английских принцесс.

Словом, молодых людей разлучили, а саму историю постарались замять, словно ее и не было вовсе.

Ее бы и не было вовсе, если бы кто-то неизвестный не подсказал такой завидный сюжет Уильяму Уайлеру, а тот моментально оценил все возможности сказочной истории с отнюдь не сказочным концом и тут же снял свои знаменитые «Римские каникулы». Что представляется весьма разумным. Ведь недаром же великий соотечественник принцессы Маргарет Френсис Бэкон еще четыреста с лишним лет тому назад прозорливо заметил в своих рассуждениях о любви: *'The stage is more beholding to love than the life of man' (Сцена — это более подходящее место для любви, чем человеческая жизнь).*

Но подзаголовок «Развлекательная кинокомедия» не обманул никого, в том числе и маститых американских академиков, увенчавших эту умную, тонкую и необыкновенно лиричную кинокартину заслуженным Оскаром, пусть только за лучшую женскую роль, которую, повторюсь, блистательно сыграла красавица Хепбёрн.

Когда-то, в одном из давних-давних интервью Уайлер, имевший в пятидесятые годы славу одного из крупнейших режиссеров мирового кино, сказал о своей работе в кинематографе так: *«Важно не то, что происходит на экране, а то (хотя этого может быть и не видно), что пробуждает мысль и чувство. Зритель хочет знать, что чувствуют эти люди, хочет «видеть», что они думают».*

Что ж, «Римские каникулы» Уайлера действительно будили мысль и чувства. Даже у нас с Наташей, у двух провинциальных девочек, приобщившихся к вполне взрослому кино. И все, кстати, правильно понявших в этом самом кино.

— А что вы там, малявки, поняли? — спросит иной читатель.

— А то и поняли, — отвечу я ему, — что не всякая, даже очень красивая любовь оборачивается счастьем. Бывают обстоятельства, которые выше самого сильного и самого искреннего чувства. Но от этого любовь не перестает быть любовью, а горечь расставания не теряет своего вкуса горечи с годами. Помните эту сцену из фильма, когда на итоговой пресс-конференции фотокорреспондент протягивает принцессе снимки, запечатлевшие ее веселые похождения по Риму? Помните тот долгий, пронзительный взгляд, которым

обмениваются главные герои, понимая, что все, сказка кончилась, и отныне каждый из них пойдет своим, предначертанным ему путем.

Та глянцевая статья на многое открыла мне глаза. Во всяком случае, я поняла, что лежало в основе всех сумасбродств повзрослевшей Маргарет, по-своему отомстившей родне за то, что они сломали ей жизнь. А еще я тогда подумала, что произведение искусства только тогда превращается в «настоящее произведение искусства», когда в его основе лежит реальная жизнь, даже если это — всего лишь жизнь титулованных особ.

Давно уже ушли из жизни артисты, сыгравшие главные роли в фильме под названием «Римские каникулы». Нет в живых и их прототипов. На дворе бушуют другие страсти, другие скандалы будоражат «общественное мнение» жителей Старого и Нового Света, другие кумиры, другие истории подпитывают творческую фантазию нынешних деятелей искусства. Что ж, быть может, кому-то из них повезет, и он тоже создаст свои «каникулы» о чем-то таком же светлом и недосягаемом, как сама мечта. Так кто же это из английских поэтов воскликнул?

Fair as a star,
When only on is shining in the sky.

Прекрасна, как звезда,
Когда она одна сияет в небесах.

(Подстрочный перевод автора)

Лолита Торрес

Спроси у любого прохожего, что такое для него Аргентина, и первое, что услышишь в ответ, — это обязательное: «Аргентинское танго». А вот дальше уже возможны варианты. Не знаю, что скажут молодые, люди же среднего поколения обязательно вспомнят Марадону. Ну, а те, кому уже за шестьдесят, с ностальгией в голосе воскликнут: «Лолита Торрес!» В самом деле, в конце пятидесятых не было в Советском Союзе более популярной и любимой актрисы зарубежного кино, чем молодая аргентинка Лолита Торрес. Ее песни звучали из всех репродукторов, в изобилии развешанных в тогдашних парках и скверах, правда, в исполнении уже наших певиц, ее фотокарточки по восемьдесят копеек за штуку (а после реформы 1961 года — по восемь копеек) украшали витрины всех газетных киосков, фильмы с ее участием неизменно собирали полные залы. И вообще, имя Лолиты Торрес означало в те далекие годы лишь одно: красоту. И еще оно сулило праздник, которого так жаждали все в то нелегкое послевоенное время.

Лолита Торрес, начавшая сниматься в тринадцатилетнем возрасте (а родилась она в 1930 году), сыграла в огромном количестве кинокартин. Все они, довольно банальные по сюжету, расцвечены ярким дарованием самой актрисы, ее обаянием, грацией, наконец, ее песнями. Недаром у себя на родине она была признана одной из лучших исполнительниц народных аргентинских песен. А потому *no wonder*, как говорят англичане, то есть неудивительно, что все три фильма, которые шли у нас в прокате, оставили просто неизгладимое впечатление в памяти кинозрителей тех лет. У меня же с Лолитой Торрес связана своя, немного грустная история. Впрочем, перефразируя поэта, можно сказать, что печаль моя светла и тоже полна людьми, многих из которых уже нет в живых.

Итак, первым на наши экраны вышел фильм «Возраст любви». Снятый в 1953 году, у нас он появился где-то в середине пятидесятых и сразу же стал

сенсацией № 1. В детстве эта кинокартина меня миновала. Зато я хорошо помню восторженные охи и ахи мамы и нашей соседки Анны Ивановны, когда они живо обсуждали все перипетии запутанного, как и положено у южноамериканцев, сюжета с многочисленными мелодраматическими поворотами. Фильм я посмотрела лишь в зрелом возрасте, «по видику», как говорили в конце восьмидесятых годов счастливые обладатели этого чуда тогдашней техники. Помнится, он меня разочаровал. И я все силилась понять, что же так восхищало маму и милую «коренную ленинградку» Анну Ивановну в этой достаточно ходульной киноленте. Лично мне понравилась только сама Лолита Торрес с ее, как всегда, прекрасными песнями, да, пожалуй, еще название — «Возраст любви»! Согласитесь, звучит очень красиво и сразу же вызывает в памяти пушкинские строки: «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны…»

В 1955 году в Аргентине вышел очередной фильм с Лолитой Торрес в главной роли (тамошние киношники тоже, как и в Голливуде, умели правильно распорядиться талантом отечественной звезды). Назывался тот фильм «Жених для Лауры», и буквально через пару лет он уже замелькал на советских экранах. Его я смотрела вместе с родителями во время одного из традиционных в те годы воскресных походов «в кино». Снова много музыки, красивых песен, красивых лиц, и, слава богу! — фильм тяготел не к жанру мелодрамы, а был стопроцентной комедией с обязательным счастливым концом.

Но, пожалуй, самое неизгладимое впечатление у меня оставил третий и, если мне не изменяет память, последний из фильмов с участием Лолиты Торрес, шедших на наших экранах, «Любовь с первого взгляда». Эта, опять же кинокомедия, и тоже снятая в 1955 году, появилась у нас где-то в начале шестидесятых. Тогда в отечественном и мировом кинематографе уже набирали силу другие веяния и тенденции, появились новые кумиры (та же Марина Влади, к примеру), и веселая аргентинская певунья стала мало-помалу отступать в тень. Но ее по-прежнему любили, и кассы нашего «Авангарда» буквально трещали под напором желающих прорваться на фильм «с Лолитой Торрес». Мы же, несколько подружек-шестиклассниц, попали на «Любовь с первого взгляда» совершенно случайно. Зато так, что лично мне этот поход в кино запомнился на всю жизнь.

Оглядываясь в прошлое, с удивлением обнаруживаю, что большинство моих одноклассников жили в бараках, которые громоздились по обе стороны улиц Щорса, Декабристов и прилегающих к ним переулков. Кстати, многие из этих двухэтажных засыпных зданий, построенных немецкими военнопленными, благополучно дожили до сего дня, лишний раз подтверждая старую истину о том, что в этом мире нет ничего более постоянного, чем временное. Впрочем, в те далекие годы барачный быт никого не отпугивал своей неухоженностью или бомжовскими замашками. Готова присягнуть где угодно, что в подъездах тех давних бараков не пахло мочой, табаком или дешевым спиртным, деревянные лестницы всегда были выдраены вениками добела, а у дверей каждой комнатки лежал обязательный половичок, связанный крючком из старых чулок или разноцветных тряпок. И сами комнатки (по крайней мере, те из них, в которых доводилось бывать мне) тоже являли собой чудо уюта, создаваемого по большой части своими руками и из всего, что было под этими самыми руками.

Бесконечная череда кружевных салфеток ручной работы, неизменные картины-вышивки на стенах, роскошные банты на спинках никелированных кроватей, украшенных горкой белоснежных подушек, скромная, но обязательная этажерка с книгами, где на каждой полочке тоже красовалась накрахмаленная до хруста салфетка с вышитым уголком, намытые до синевы

оконные рамы с туго накрахмаленными гардинами — вот таким был интерьер, в котором обитали большинство моих подружек. Люди, изголодавшиеся по теплу семейного очага за долгие и тяжелые годы войны, творили его буквально из ничего, не жалея на это ни сил, ни времени. И честное слово! — в этих убогих по нынешним понятиям каморках было всегда тепло, по-настоящему уютно, а главное, там всегда были тебе рады. Теснота, в которой жили обитатели бараков, не мешала детям ходить друг к другу и засиживаться в гостях допоздна. А уж день рождения — это вообще святое! И его отмечали в обязательном порядке все кто как мог. У одних — только чай и тарелки с кружевным хворостом, у других самодельные пирожные и конфеты. У некоторых счастливчиков — редкие по тем временам торты с ядовито-розовыми розами и такими же неестественно яркими зелеными листочками, которые (надо же!) казались нам, детям, удивительно красивыми и очень аппетитными. Одним словом, дни рождения нашего детства — это были те праздники, которые, по справедливому замечанию Эрнеста Хемингуэя, всегда с тобой.

Вот на один из таких праздников я и отправилась в ноябре 1961 года к своей однокласснице и подружке Рае Быстримович. День рождения у Раи — 5 ноября. Следовательно, праздновали мы в ближайшее воскресенье после. Раина семья, состоявшая из пяти человек, занимала небольшую (метров шестнадцать, не более) комнатку в одном из бараков на улице Декабристов. В семье Быстримовичей было трое детей: старший брат Алик (он в те годы уже проходил срочную службу на флоте), Рая и ее младшая сестренка Наташа. В вылизанной до блеска комнатке нас, как всегда, ждал совершенно роскошный стол. Во-первых, всякие пирожки с начинкой, на которые мама Раи, милейшая, уже совсем немолодая женщина по имени Анна Максимовна, была большая мастерица. А еще вкуснейшие, нежнейшие, буквально тающие во рту котлетки, вкус которых невозможно забыть. А уж повторить такое кулинарное чудо и вовсе под силу лишь самым талантливым единицам. К мясному прилагалась масса всяких солений и отварная картошка, а потом обязательный чай с конфетами и песочным пирогом.

Когда нынешние молодые хозяйки плачутся, каково это обходиться без посудомоечной машины или еще какой-нибудь прибамбасной техники на кухне, когда они витиевато рассуждают о качестве жизни, понимая под качеством исключительно количество материальных благ, то я всегда в такие минуты вспоминаю пиршества моего детства, приготовленные на керогазах или на плитах, отапливаемых дровами, и, естественно, при наличии воды только в колонках на улице. Нет, я не призываю всех вернуться назад, в каменный век. А вот радоваться жизни призываю, и еще учиться умению видеть эти мелкие радости бытия. Как это там, у апостола Павла? «А я говорю вам: радуйтесь! Господь близко».

Наше очередное торжество шло своим чередом. Разомлевшие в тепле и от большого количества вкусностей, мы уже почти сонно сопели над чашками с чаем, когда вдруг на пороге появилась Анна Максимовна, деликатно коротавшая время в крохотной отгороженной кухоньке, за печкой, куда она удалилась сознательно, чтобы не мешать нашим почти взрослым разговорам о своем, о девичьем.

— Девчата! — обратилась она к нам. — А я вам купила билеты на семичасовой сеанс в «Авангард». Там сегодня показывают новый фильм с Лолитой Торрес «Любовь с первого взгляда». Пойдете?

Милая, добрая Анна Максимовна! Мир праху ее и вечная память этой не шибко образованной, сработавшейся годами нелегкого труда женщине, уже давным-давно ушедшей в мир иной. Это же надо было придумать такое заме-

чательное завершение нашего детского праздника и не пожалеть потратить на него лишнюю пару-тройку рублей, и это в семье, где не то что рубль, а каждая копейка были на строжайшем счету.

Веселой гурьбой выбежали мы на улицу. Как теперь помню, шел дождь, но ненастный ноябрьский вечер не в силах был испортить нам настроение. Ведь мы идем смотреть Лолиту Торрес! На вечерний сеанс! Как самые настоящие взрослые. Эту кинокартину я, действительно, запомнила навсегда. И прелестную героиню, переодевшуюся в мальчишку-портье, и все только для того, чтобы покорить сердце главного героя, и забавные ситуации, связанные с неразберихой, кто есть кто, то и дело вызывавшие дружный смех зрителей по ходу фильма (типичный ситиком, выражаясь современным языком), и песни, песни без конца и края. После киносеанса мы, не в силах расстаться друг с другом, еще некоторое время побродили по аллеям местного скверика перед кинотеатром, обмениваясь впечатлениями, потом гурьбой проводили именинницу домой и пошли каждая к себе. У меня была попутчица, еще одна Раина подруга по имени Тома, тоже жившая в частном секторе. Вместе с Томой мы бодро шагали по полутемной улице Декабристов, размахивая руками и напевая, в меру собственных талантов, услышанные только что песни.

Домой я пришла усталая и счастливая.

— Почему так поздно? — строго спросила мама, уже начавшая волноваться, куда запропастилась ее дочь.

— А мы в кино ходили! — гордо ответила я. — На вечерний сеанс, как взрослые! Вот!

Я долго не могла уснуть в ту ночь от переполнявших меня чувств, все ворочалась с боку на бок, мысленно прокручивая эпизоды из кинофильма. А когда, наконец, уснула, то снилось мне что-то очень красивое, закутанное, как сказал когда-то Александр Блок, в цветной туман, потому что утром я проснулась с ощущением самого настоящего, взрослого счастья. Счастья, которое подарила всем нам замечательная аргентинская актриса по имени Лолита Торрес. И, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь.

Свет и тень

Отец моей школьной подружки Лены Бородкиной работал в шестидесятые годы заместителем главного редактора газеты «Советская Белоруссия». Разумеется, Митроша, как называли сына Ленины дедушка и бабушка, жившие с нами по соседству, был весьма информированным человеком. Кое-что из его информации становилось достоянием не только узкого круга его коллег-журналистов.

Так, когда Юрий Гагарин впервые приехал в Минск, Митрофан Максимович был в числе тех, кто сопровождал первого космонавта планеты в поездке по Беларуси, а потом охотно делился впечатлениями с родительскими соседями о том, каким действительно хорошим «парнем» («Помните, каким он парнем был?») оказался Гагарин при личном знакомстве. Ни грана заносчивости, капризности и других признаков звездной болезни, которой так легко заболевают в наши дни и по гораздо меньшим поводам.

Из его же рассказов сохранился у меня в памяти еще один, случайно услышанный эпизод, связанный с тогдашним нашим премьер-министром Алексеем Косыгиным. Правда, он относится уже к более поздним временам. Митрофан Бородкин, выражаясь современным языком, входил в так называ-

емый «правительственный пул», то есть в команду журналистов, сопровождавших высокого гостя по белорусской земле. Впрочем, насколько я помню, Косыгин приезжал только в Минск, а они, журналисты, сопровождали его уже обратно в Москву, поездом. Сидя в импровизированном конференц-зале, в который был превращен один из вагонов литерного состава, Косыгин делился с журналистами впечатлениями о своей поездке. А мимоходом рассматривал неброские сельские пейзажи, мелькавшие за окнами вагона. И вот при виде очередной белорусской деревушки, мелькнувшей и тут же исчезнувшей в пелене осеннего дождя, он вдруг воскликнул: «Какая серость и убожество!» Не ручаюсь за точность слов, но готова поручиться за точность настроения, ибо оценка тогдашнего предсовмина была столь уничижительной, что обескуражила даже видавшего виды журналиста. Обескуражила и, судя по всему, задела, коль скоро он решил поделиться впечатлениями со своим отцом, а мы с Леной стали невольными свидетелями их разговора. (Взрослые, помните! Дети слышат все!) Так вот, в тот момент перед моим мысленным взором тотчас же предстала любимая деревня Кисловщина, и я тоже почувствовала себя обиженной за все белорусское село в целом. Ибо ни в какую погоду мамина родная деревня не казалась мне убогой или, тем более, серой.

Потом, много-много лет спустя, я прочитала у Максимилиана Волошина замечательные строки:

В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза...

и подумала, что точно так же расцветает в дождь и любая наша белорусская деревня с ее неброской красотой, заметной лишь тому, кто смотрит на мир не только через окно литерного вагона или правительственного автомобиля.

Впрочем, нас с Леной в те далекие годы в первую очередь интересовали, так сказать, новости культурной жизни. Лена жадно впитывала разговоры родителей, а потом, приезжая на выходные из центра к нам, на Грушевку, в подробностях пересказывала мне, что, где и когда. В один из таких приездов она сообщила, что папа недавно рассказывал маме, как побывал на каком-то закрытом просмотре нового французского кинофильма, который готовится к выпуску в широкий прокат. Фильм называется «Тень и свет», а в главной роли там снялась сама Симона Синьоре, известная актриса и жена Ива Монтана, очень любимого в те годы у нас шансонье. До сих пор помню, как проникновенно выводит Марк Бернес: «Задумчивый голос Монтана поет на далекой волне…»

— Папа сказал, — подвела черту под своим сообщением Лена, — что фильм очень хороший. Так что надо не пропустить!

Сама Симона Синьоре! Я сразу же вспомнила разговоры родителей, восхищенных в свое время ее игрой в кинокартине «Тереза Ракен» (1953), снятой по роману Эмиля Золя. Фильм Марселя Карне, прославленного режиссера, автора знаменитой «Набережной туманов», был впервые показан у нас в 1955 году. Вначале в Москве, во время Недели французского кино, а вскоре после этого он был дублирован на русский язык и выпущен на большие и малые экраны по всему Советскому Союзу. А тут новая встреча с актрисой! Вот уж точно, надо не пропустить.

И вот мы с Леной принялись в четыре глаза отслеживать все изменения в текущем репертуаре столичных кинотеатров. Через некоторое время действительно появились афиши, извещающие о выходе на экраны нового французского фильма с участием Симоны Синьоре и еще одной зарубежной кинозвезды Марии Казарес.

Сегодня, по прошествии почти полувека с того памятного культпохода в кино, я не без удивления пытаюсь понять, что же именно привлекло нашу отечественную закупочную комиссию в кинофильме (кстати, довольно старом даже по меркам нашего проката, ибо он был снят в 1950 году, а на дворе уже стояла зима 1962-го). Пытаюсь и не могу понять. Ведь даже сами исполнительницы отнеслись к своей работе весьма критически. Так, известно, что Симона Синьоре отказалась от участия в премьерном показе кинофильма в Париже, ибо, по ее словам, ей еще во время съемок стало ясно, что картина получится неглубокой и откровенно ремесленной. Да и в самом названии чувствуется некоторая заданность и трафаретность: одна сестра, талантливая, всемирно известная пианистка Изабелла Лёриц (Симона Синьоре), возвращающаяся к жизни после тяжелой нервной болезни, олицетворяет свет и душевную чистоту. Ее сестра, роль которой исполняла Мария Казарес, — это мрак, коварство, бесконечные интриги и зависть. И, разумеется, между сестрами — он, герой их совместного романа, который нужно как-то поделить между собой. (Роль жениха Изабеллы исполнял молодой и очень красивый артист Жак Бертье.)

Еще категоричнее в оценках фильма была Мария Казарес. «Считаю, что «Тень и свет» плохой, средний фильм и его не стоило выпускать на зарубежные экраны», — заявила она в одном из интервью. Но как бы то ни было, фильм пошел гулять по мировым экранам и, наконец, дошел и до нас, жителей белорусской столицы.

Впрочем, все это я узнала много позже, а тогда мы с Леной рысью побежали в наш любимый кинотеатр «Победа» и с ужасом прочитали, что детям до шестнадцати лет вход категорически воспрещен. Это был, как говорится, удар ниже пояса. О том, чтобы двум четырнадцатилеткам прорваться сквозь кордон бдительных контролеров, да еще в кинотеатре, который расположен в самом центре города, не могло быть и речи! Однако препятствия, как известно, лишь сильнее разжигают азарт. А потому мы с Леной решили благоразумно дождаться того момента, когда фильм начнут «крутить» в родном «Авангарде», справедливо полагая, что эту крепость нам будет взять проще.

И вот в слякотное мартовское воскресенье мы толчемся в переполненном помещении касс, пытаясь купить два билета на пятичасовой сеанс. Почему именно на пятичасовой? Потому что, с одной стороны, еще не вечер. А с другой — уже вечереет. А в сером сумраке, как известно, все кошки серы. Авось в толпе народа нас и не разглядят толком, и не отринут суровой рукой прочь с дороги остальных кинозрителей, кому уже далеко за шестнадцать. Билеты покупаю, разумеется, я. Потому что я самая высокая в своем классе и по росту вполне уже схожу за взрослую девушку. Благоразумно спрятав косы под шапку, которая надвинута низко, почти на самые глаза, я, отстояв длиннющую очередь, протягиваю рубль кассирше и получаю два желанных билета.

Дальше операция разрабатывается по всем канонам военного искусства. Решено, что «прорываться» будем в самой гуще народа, минут эдак без десяти пять, когда на контроле самая толчея и контролер едва успевает отрывать квитки. Проходим и бегом в дамскую комнату. Благо, она рядом с входом. Сказано — сделано. Удачно прошмыгнув контроль, мы с Леной мгновенно укрываемся в дамской комнате и торчим там вплоть до самого звонка.

Не помню, кто из великих сказал когда-то, что ожидание чуда — это и есть, в сущности, самое прекрасное в самом чуде. Готова подтвердить собственным опытом, что ожидание начала киносеанса в предбаннике дамского туалета, когда мы, две наивные девочки, пытающиеся во что бы то ни стало приобщиться к мировому киноискусству, «зависли» возле подоконника и, не

поворачивая головы от окна, почти четверть часа внимательно изучали окрестности, мокнущие под слякотным мартовским снегом, вот это и осталось в памяти на всю жизнь.

Что же до остального… Кино показалось нам скучным, затянутым, местами очень сложным для восприятия. Болезненные и даже патологические ноты в переживаниях главной героини едва ли были нам понятны. Как не под силу нам было и оценить мастерство актрисы, сумевшей сыграть и прожить все это на экране. Кстати, никакой эротики или прочей «клубнички», могущей растлить души юных киноманок, не было. Разве что пара долгих поцелуев. Такое ныне позволительно даже в мультфильмах для грудничков.

Лично мне запомнилась одна, пожалуй, лучшая сцена фильма. Изабелла Лёриц сидит за роялем: она готовится исполнять Первый концерт Чайковского, тот самый, во время исполнения которого она несколько лет тому назад потеряла сознание. Помню неподвижное, строгое лицо актрисы, ее глаза, исполненные смятения и страха. Помню, как она смотрит на собственное отражение, наплывающее с блестящей крышки рояля, и помню, как отчаянно она пытается победить этот почти животный страх, охватывающий ее при мысли о том, что все может повториться снова. Но она побеждает и себя, и свой страх. А еще я помню ее руки, большие, сильные руки пианистки: вот она кладет их на клавиши, звучат первые аккорды и... Знакомая музыка Чайковского действует завораживающе, и ты чувствуешь, что все в судьбе героини отныне будет хорошо. Она не только преодолела себя, она поверила в свои силы и в силу своего таланта, и помогла ей в этом не сестра и не вечно рефлектирующий и мечущийся между сестрами жених, а великая музыка Чайковского.

Собственно, это уже финальная сцена фильма. Может быть, и поэтому она так запала в память. Из всего остального запомнилось лишь ожидание. Что ж, и это тоже немало. Особенно, когда впереди еще целая жизнь.

Я шагаю по Москве

У Ивана Алексеевича Бунина есть замечательное стихотворение, имеющее самое прямое отношение к теме разговора. Не откажу себе в удовольствии процитировать его полностью.

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В огромном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним. Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка, и на миг
Усталый взгляд я отвожу от книг.
День вечереет. Небо потемнело,
Гул молотилки слышен на гумне.
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

Да! Именно эти бунинские строки всплывают в памяти, когда я думаю об одном из самых любимых кинофильмов своей юности. Я имею в виду кинокартину Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Вышедшая на экраны в 1963 го-

ду, она разительно отличалась от остальной отечественной кинопродукции тех лет. Да, пожалуй, и от того зарубежного кино, которое демонстрировалось на наших экранах в начале шестидесятых.

Уже первые кинокадры — девушка, идущая босиком по московским улицам, залитым теплым летним дождем, в сопровождении велосипедиста, который старательно держит над ней раскрытый зонтик, задавали особое лирическое настроение всему кинофильму.

Ощущение свежести, молодости, радости бытия и счастья просто быть, жить и трудиться на этой прекрасной земле в такое замечательное, как нам тогда казалось, время — это настроение у зрителей возникало с первых кадров и сохранялось до последних, когда эскалатор метро увозил молодого и обаятельного героя Никиты Михалкова на очередную ночную смену. Бог его знает, в чем секрет удивительного шарма кинофильма «Я шагаю по Москве». Но и сегодня он уже одним своим названием поднимает в моей душе изрядно подзабытую волну счастливых предчувствий и — увы! — несбывшихся по большей части надежд.

Никто не станет спорить, Георгий Данелия — признанный мастер изобразительного решения постановочных сцен. Умел он в свое время о сложном сказать так, что кадр немедленно превращался в метафору, которая западала в душу навсегда.

Впрочем, если вспомнить метафору с зонтиком и босоногой девушкой, которая лично для меня является изобразительной квинтэссенцией обыкновенного человеческого счастья, то, думаю, заслуга в ее изобретении принадлежит все же не самому Данелия. Не стоит забывать, что автором киносценария, по которому был снят этот фильм, написан талантливейшим, лиричнейшим Геннадием Шпаликовым, который ушел из жизни совсем молодым, без поры и времени растратив и свой редкостный, судя по всему, талант, и свою жизнь. Конечно же, девушка под дождем — это образ, придуманный Шпаликовым, это его видение мира, его ощущение счастья, его особый, авторский стиль.

Нет, все же было в самой атмосфере начала шестидесятых нечто такое, что настраивало всех нас, и совсем еще молодых людей, и тех, кто постарше, вот на такой оптимистично лирический лад. Уже полетел Гагарин. Счастье! Уже и Терешкова слетала в космос, снова радость, не знающая границ. Бог его ведает, может, мы и в самом деле искренне верили в то, что коммунизм возможен в одной отдельно взятой стране, причем, обязательно к 1980 году. Ведь недаром же на всех торжественных концертах тех лет в обязательном порядке исполнялась песня (чаще всего в интерпретации замечательного певца Павла Лисициана), в которой лейтмотивом повторялись многозначительные слова:

И мы в то время будем жить!

Впрочем, про коммунизм, как таковой, мы, молодые, в те годы говорили мало. Точнее, вообще не говорили. Все больше о поэзии, о Сент-Экзюпери, об Элюаре, о популярнейшем в те годы Ремарке, о новой поэме Евтушенко «Братская ГЭС». И за всеми нашими разговорами просматривалась знакомая мысль уже другого поэта: «И жизнь хороша, и жить хорошо».

Пожалуй, такое же (впрочем, весьма кратковременное!) состояние подъема и энтузиазма в нашем обществе я наблюдала еще один только раз: весной 1985 года, когда в стране началась перестройка. Я, в те годы уже вполне зрелый человек, член партии и все такое, отлично помню, сколько радостных ожиданий связывали поначалу люди с объявленными в стране переменами. Ожиданий, которые, как это уже не раз бывало в отечественной истории, были самым бессовестным образом обмануты и растоптаны. Но этот период был столь кратким, что на волне эйфории, охватившей весь, как любили тогда

говорить, советский народ, в искусстве не появилось ничего, что зафиксировало бы наше всеобщее состояние пьянящей радости и больших надежд, очень скоро обернувшихся утраченными иллюзиями.

А ведь помню, с каким упоением рассказывал нам, своим коллегам по работе, ведущий специалист СКБ о встрече с Михаилом Горбачевым (парень в составе дружинников обеспечивал общественный порядок во время посещения вновь избранным генсеком белорусской столицы). Генсек даже пожал руку нашему Владимиру Константиновичу, чем вызвал прилив величайшего умиления не только у самого героя события, но и у нас, его слушателей. Чудеса, да и только! Уже через год неуемная болтовня говорливого лидера страны вызывала у всех одно лишь раздражение, готовое вот-вот перерасти в стойкую идиосинкразию.

Хотя, с какой стороны посмотреть! Так, спустя четверть века после описываемых событий Владимир Константинович вновь подтвердил мне: да, в Горбачеве, в тот далекий день, когда он подошел к «народу» и стал своим знаменитым южным говором интересоваться, как им всем живется, больше всего поразили (и покорили тоже!) совершенно непривычная простота и открытость нового руководителя. Та самая доступность, о которой мы и понятия не имели. Вот уж воистину! Не привык наш народ с царями накоротке разговаривать.

Но вернемся в шестидесятые. И поговорим о фильме Данелия. О тех, кто работал вместе с ним. Конечно же, замечательная музыка Андрея Петрова, так прелестно имитирующая то цокот каблучков по асфальту, то капли дождя, сливающиеся в говорливые, бурные ручейки, устремляющиеся к далекому морю.

«Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем», — пел главный герой в исполнении совсем еще юного Михалкова, и мы, безусловно, верили и ему, и его песне, и тому, что у каждого из нас еще будет в жизни свой парус. У кого белый, у кого алый, вот только одинокого паруса «в тумане моря голубом» не будет ни у кого.

Кстати, о Михалкове. Думаю, что его дебютная роль в кино стала не только его лучшей ролью как артиста, но и, пожалуй, самым значительным и важным из того, что он сделал в искусстве.

Не судите меня строго, маститые критики от синема. Ведь я рассуждаю как обычный, рядовой кинозритель. Да, он много снимал сам и всякий раз старательно попадал в струю. То делал кино про зверства белых («Господа! Вы — звери!» — восклицала героиня из его фильма «Раба любви»), потом с таким же творческим запалом стал снимать про безобразия красных, но все это, сдается мне, не то и не так. Чувствуется в этом какая-то фальшь, какая-то вторичность и настроений, и образов. Какой-то вечный ремейк получился у нашего мэтра к его семидесяти годам. А здесь сыграл простого рабочего паренька, не выпячивая свою дворянскую и насквозь монархическую суть. Но зато как сыграл! Легко, изящно, раскованно, когда веришь каждому слову, жесту, интонации голоса и повороту головы. Замечательный получился главный герой! Симпатичный, добрый, отзывчивый, дурашливый и, разумеется, красивый. Что ж, как говаривал один киногерой уже в другом фильме, талант не пропьешь. Да и породу не спрячешь. Так что не стоит кричать о ней на каждом углу.

Впрочем, на мой взгляд, в этом фильме Данелия вообще нет творческих неудач. Потому что каждый образ — яркое подтверждение правоты Константина Сергеевича Станиславского, который, как известно, считал, что в искусстве нет маленьких ролей, а есть плохие актеры. Вот таковых у Данелии точно нет. Уморительно смешной полотер в исполнении Владимира Басова — чудо

как хорош! Нелепый прохожий, которого гипнотизирует герой Михалкова в Парке культуры и отдыха. Честное слово, одна из лучших ролей Ролана Быкова! Некрасивая долговязая девчонка, отчаянно пытающаяся выиграть конкурс живописцев. Яркий, замечательный дебют Инны Чуриковой. Даже крохотная роль милиционера помнится в творческой биографии Льва Дурова. А молодая Ирина Мирошниченко в роли старшей сестры главного героя. А еще одна Ирина! На сей раз Скобцева. Вот ведь оторвалась на минутку от оскароносного мужа и сыграла одну из лучших своих ролей. Помните эту молодую, красивую женщину, мелькнувшую всего лишь в одном кадре? Ту, которая выручила героиню Галины Польских, согласившись поговорить из телефона-автомата с ее матерью от имени якобы подружки? Помните, как она идет по ночной Москве, изящно помахивая зонтиком-тросточкой? Сколько в ее походке грации, сколько в ее облике красоты, красоты уже зрелой женщины, прекрасно знающей о том, как она дивно хороша. И какую счастливую женщину изобразила актриса! Замечательная роль!

Но, конечно, главный герой кинофильма — это сама Москва. К счастью, я тоже имела возможность наблюдать ее именно такой — молодой, красивой и по-настоящему демократичной. В лесах новостроек, с теряющимися за горизонтом белокаменными микрорайонами, с новыми, широкими проспектами, с толпами гуляющих москвичей по Тверской (которую наиболее «продвинутые» из молодых называли в те годы Бродом). А сотни, тысячи туристов на Красной площади, особенно людной в минуты очередной смены караула у Мавзолея, а ночные бдения у памятника Маяковскому…

Дорогая моя столица, золотая моя Москва! «Лучший город земли», — как пел в те годы Муслим Магомаев. Как же мы тебя любили, Москва! Как гордились твоей красотой! Как радовались каждой новой твоей победе, на земле, в небе, в космосе. Вспоминаю уже наши, не киношные ночные шатания по городу, когда можно было идти куда глаза глядят, не опасаясь за свою жизнь и не боясь ни прохожих, ни вежливых стражей порядка.

Сегодня Москва совсем другая: не лучше и не хуже. Она просто другая, по духу, по сути, по облику. Разве можно представить себе кинофильм о современной Москве, снятый вот в таком же лирическом ключе? Едва ли! Плебейское богатство центральных улиц и тут же рядом грязные проходные дворы, Садовое кольцо, забитое потоком машин, и грустный Пушкин, взирающий на всю эту странную круговерть огромного мегаполиса. Пожалуй, у нас вырисовывается социальная драма с каким-нибудь избитым названием, типа «Москва — город контрастов». Почти как в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, правда?

Нет уж! Буду я лучше доживать свой век с той Москвой, которую помню по годам юности. И хорошо, что есть фильм, который законсервировал ее образ не только в моей памяти.

А закончить свои ностальгические воспоминания о Москве мне тоже хочется стихотворением, кстати, очень созвучным своим прозрачным лирическим настроением поэтическому шедевру Ивана Алексеевича Бунина. Написал это стихотворение все тот же Геннадий Шпаликов, и в кинофильме оно стало просто словами песни. Той самой, которую исполнял главный герой. Но стоит повнимательнее вчитаться в текст, и ты понимаешь, что «просто песней» стало очень хорошее, очень искреннее и очень-очень «московское» стихотворение, которое имеет все права на свою самостоятельную жизнь.

Бывает все на свете хорошо.
В чем дело — сразу не поймешь.

А просто летний дождь прошел —
Нормальный летний дождь.
Мелькнет в толпе
Знакомое лицо,
Веселые глаза,
А в них бежит
Садовое кольцо,
А в них блестит
Садовое кольцо
И летняя гроза.
А я иду, шагаю по Москве,
И я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу.
Над лодкой белый
Парус распущу,
Пока не знаю, с кем,
А если я по дому загрущу,
Под снегом я фиалку отыщу
И вспомню о Москве.

Ален Делон

Позвольте предложить собственные медитации на тему известной песенки «Я и Франция», ибо все мы лет сорок тому назад были (так и хочется сказать, франкмасонами, но нет!) большими франкоманами. Французская культура во всех ее проявлениях всегда была популярна и очень любима в Советском Союзе. Великая французская литература, музыка, импрессионисты. Наконец, кино и эстрада. В пятидесятые годы минувшего столетия не было в нашей стране более популярных зарубежных артистов, чем Жерар Филипп, Жан Маре и Жан Габен. Потом началась слава Брижит Бардо. А еще Клод Лелуш с его «Мужчиной и женщиной». А еще знаменитые французские шансонье, которые даже в пору начинавшейся тогда битломании твердо удерживали свои позиции любимчиков советских слушателей. Эдит Пиаф, Ив Монтан, Шарль Азнавур, совсем еще молодые Адамо и Мирей Матье. Было из чего выбирать и что любить.

Вспоминаю, как неистовствовала минская публика на концерте Жильбера Беко, которого на родине называли не иначе, как «месье сто тысяч вольт». Честное слово! — но по рядам концертного зала филармонии в тот вечер порхало двести тысяч вольт, так наэлектризованы были зрители, встречавшие овациями каждую новую песню Беко.

Однако среди всех этих кумиров, достойных и признанных мастеров искусства, выделялись два имени, пользовавшихся особым пиететом. Это артисты, чья звезда зажглась именно в шестидесятые. Я имею в виду Жана-Поля Бельмондо и Алена Делона. Впрочем, если честно, то Бельмондо я поместила на первое место, руководствуясь исключительно личными симпатиями. А вообще-то, слава Алена Делона гремела у нас в те годы погромче. Да и сегодня он — по-прежнему предмет особого поклонения и обожания, еще при жизни ставший настоящей легендой.

Вот с этим знаменитым французским актером связан в моей памяти один забавный эпизод, относящийся к временам студенческой юности. Что такое сентябрь для студента у нас? Конечно же, картошка. Отметившись первого сентября на установочном собрании курса, все мы, кто с радостью,

кто — без, стремглав бежали домой паковать сумки и рюкзаки, чтобы уже на следующий день отправиться «на картошку». За каждым курсом был закреплен свой подшефный колхоз. Был таковой и у нас, и находился он на живописной Логойщине.

Красива наша Беларусь! Красива она в любую пору года! Но особенно нарядно и празднично смотрятся деревенские пейзажи в пору первых осенних месяцев, когда золотое марево висит над бескрайними полями, когда воздух чист и свеж и кажется промытым, словно оконная рама по весне. И вот мы, бригада девчонок-второкурсниц, едем на допотопной телеге, запряженной лошадью, и горланим что есть мочи какую-нибудь разухабистую песню. «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю…» И при этом, в отличие от лирической героини песни, голос ни у кого из нас не дрожит, а напротив, даже очень громко вопит. Деревенские с некоторой опаской молча смотрят нам вслед, некоторые понимающе улыбаются. Молодость! Кровь бурлит! И хочется дать немедленный выход переполняющей тебя радости.

А почему везут только девчонок, спросите вы? А я вам отвечу, что в те далекие годы Минский государственный педагогический институт иностранных языков (МГПИИЯ, сокращенно) был, по преимуществу, женским вузом. Немногочисленные ребята на нашем курсе были наперечет. Переводческий факультет еще только-только начинал создаваться, правда, брали туда исключительно мальчиков, но не более двадцати-тридцати человек на курс.

Итак, мы едем в поле и поем. А там нас поджидает уже тарахтящий трактор, готовый приступить к своей работе: «разворваць бульбу». Вот о трактористе, собственно, и речь.

Невысокий, немного застенчивый молодой человек в аккуратной спецовке, он, по-моему, откровенно побаивался нашей шумной ватаги и почти по-девичьи смущался, когда «городские» начинали рассматривать его в упор. А смущаться было отчего. Потому что буквально на второй день совместной работы моя подружка Шура Рогаль вдруг отставила в сторону свое ведро с картошкой, подбежала ко мне и как заправский заговорщик зашептала на ухо:

— Зинка! Ты получше присмотрись к нашему трактористу. По-моему, он вылитый Ален Делон.

— С ума сошла! — вяло отреагировала я на столь фантастическое предположение. В самом деле! Крохотная деревушка, затерянная среди логойских лесов, и французский актер, герой нашумевших в те годы кинофильмов «Рокко и его братья», «Дьявол и десять заповедей», «Леопард», «Затмение».

Но кареглазая хохотушка и певунья Шурочка была тверда как кремень.

— Говорю же тебе! Один к одному! Глаза чего стоят!

Я сдаюсь под ее напором и тоже начинаю искоса посматривать на парня. Действительно! Ярко-синие глаза под густой копной каштановых кудрей, старательно упрятанных под кепку, красиво очерченные губы, уже знакомый по многим фильмам овал лица с несколько заостренным подбородком. Нос? Нос, кажется, тоже похож. А ведь и в самом деле, настоящий Ален Делон получается. Ай да Шурочка! Ай да молодец! Воистину глаз — алмаз!

Разумеется, своим сногсшибательным открытием Шура поделилась не только со мной. И вот уж вереница любопытствующих сокурсниц, под самыми вероятными и невероятными предлогами, потянулась к трактору, чтобы лично засвидетельствовать столь поразительное сходство. Или опровергнуть.

Наш герой начинает подозревать что-то неладное.

— Что они все зыркают на меня, как ненормальные? — интересуется он у меня во время очередного «перекура», видно, посчитав, что я самая обстоятельная и серьезная девушка в бригаде.

— Да ты сильно похож на одного французского актера. Вот они и бегают, чтобы тебя получше рассмотреть. Аленом Делоном зовут. Слышал про такого?

— Не-а! — облегченно отвечает красавец. — А я уж было струхнул, что вы, городские, какую-нибудь каверзу придумали и сейчас хохмить начнете.

Он деловито запрыгивает на трактор, давая понять, что разговор окончен. Он не задает лишних вопросов, не спрашивает, кто такой этот Ален Делон и чем он знаменит. С него вполне достаточно, что девчонки «зыркают» на него вовсе не для того, чтобы посмеяться над ним.

Вечером, после окончания рабочего дня, «Ален Делон», видно, в знак особого расположения к моей персоне, любезно приглашает меня в свой трактор.

— Везет же некоторым! — с нескрываемой завистью в голосе комментирует выбор тракториста Шура и, направляясь к стоящей поодаль телеге, нашему коллективному транспортному средству, нарочито громко заводит грудным голосом:

И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты.

И вот, пока телега с девчатами медленно тянется в деревню объездной дорогой, мы на тракторе тарахтим, как говорится, напрямки, по полям.

— А что, этот Ален Делон очень знаменит? — как бы между прочим интересуется у меня парень, когда телега скрывается из виду за очередным поворотом.

— Очень! — вполне искренне отвечаю я. — Это настоящая звезда экрана мирового уровня. А разве у вас в клубе не шли фильмы с его участием?

— Да некогда мне особо по кинам расхаживать! — добродушно улыбается тракторист. — Сама понимаешь, дом, хозяйство. Да и жена на сносях. Особо не разгуляешься. Мы все больше в телевизор глядим. Недавно вот купили в рассрочку! — с явной гордостью в голосе сообщает он мне о своей покупке, видно, искренне надеясь, что я смогу по достоинству оценить его хозяйственные таланты.

— Да ну? — с готовностью подыгрываю я ему. — Вот молодцы! И какую марку выбрали?

Разговор переходит на домашние дела, и до самой деревни мы с ним толкуем о всяких житейских мелочах, понятных и простых.

— Ну и что вы с ним делали всю дорогу? — пристает ко мне неуемная подруга, пока мы собираемся на ужин в импровизированную столовую, которую разместили в бывшей начальной школе.

— Целовались! — беззаботно роняю я.

— Ты? С ним? Ни за что не поверю! — категорически опровергает мой ответ она. — А вот Надька со мной поспорила, что через два дня она его «сделает». Как думаешь, успеет?

— Ну, если сильно постараться, то конечно, — уклончиво отвечаю я, ни словом не обмолвившись о семейном положении новоявленного «Алена Делона».

Пусть сами разбираются в своих амурных планах, благоразумно решаю я. В конце концов, в любой деревне шила в мешке не утаишь, и все новости моментально разлетаются по кругу.

Да, в деревне, действительно, все узнается очень быстро. И вот уже через пару дней нас в поле встречает пожилой тракторист в заскорузлых кирзовых сапогах и засаленной донельзя фуфайке.

— Трэба, дзеўкі, працаваць хутчэй! — деловито командует он, и мы послушно разбредаемся к своим бороздам.

Больше Алена Делона, которого на самом деле звали Костиком, мы не видели. Видно, деревенские кумушки быстро донесли молодой жене красавца о заключенном между студентками пари. Она пошла в правление, и там — от греха подальше! — взяли да и перебросили «Алена Делона» в другую бригаду.

И правильно сделали! Не у всех же такие зоркие глаза, как у моей подруги Шурочки.

И вот прошла целая жизнь. Состарился и превратился в раздраженного, брюзжащего старика былой красавец и любимец всех женщин, настоящий Ален Делон. От его последних интервью веет всеобщим разочарованием и нескрываемыми депрессивными настроениями.

Хочется надеяться, что тот, второй Ален Делон тоже еще жив, что он прожил хорошую, достойную жизнь, народил кучу ребятишек, таких же красивых, каким когда-то был сам, дождался внуков, быть может, даже правнуков. Дай им бог всего!

Хочется верить, что и Шурочка моя, беззаботная детдомовская певунья, затерявшаяся в бескрайних степях Казахстана, тоже жива и тоже имеет свою порцию обыкновенного человеческого счастья.

Так о чем это я? Ах, да! О французах. Но ведь, честное слово, наши белорусские мужчины ничуть не хуже! Правда!

«Леди Гамильтон»

Не имею представления о том, как именно нынешние студенты Лингвистического университета осиливают курс теоретической и практической фонетики. Думаю, что технических и прочих подручных средств для этой цели у них гораздо больше, чем у тех, кто постигал премудрости фонетики (а у нее тоже есть свои тайны!) лет эдак сорок-пятьдесят тому назад.

В самом деле! У нас, тогдашних первокурсников, выбор был весьма ограничен. Либо есть глазами преподавателя и старательно имитировать его интонации, либо терпеливо дожидаться своей очереди в лингафонном кабинете (вечно забитом до отказа), чтобы потом сесть на освободившееся место и слушать весьма несовершенную по качеству записи пленку с очередным домашним заданием, на которой, из-за многочисленных помех и шумов, не то что звуки, но и смысл сказанного очень часто утрачивался полностью.

Правда, в бытность мою студенткой наш иняз осчастливил своим присутствием некто мистер Биньен, молодой англичанин, который моментально влюбил в себя весь английский факультет, начиная с декана и кончая последним двоечником. Все мы с энтузиазмом бегали на его лекции и, затаив дыхание, внимали звукам, льющимся из его стопроцентно английского горла. Много позже, в одном приватном разговоре мне заметили вскользь, что у юноши помимо чтения лекций были и другие не менее волнующие («волнительные», как любит говорить наша творческая публика) дела по части то ли 007, то ли 008. А потому в один прекрасный день он испарился от нас так, словно его и не было в природе. Ушел, так сказать, по-английски, не попрощавшись.

И что же оставалось делать нам, грешным? Да то же, что и нашим предшественникам. Без конца смотреть одну и ту же, заезженную до невозможности кинопленку в маленьком просмотровом зале, где студентам из года в год демонстрировали, судя по всему, единственный недублированный английский фильм, числившийся на тот момент в фильмотеке института.

Фильм этот назывался «Леди Гамильтон». Это была черно-белая лента, снятая в 1941 году известным английским режиссером и продюсером Алек-

сандром Кордой. Корда, венгр по национальности, начал работать в кино еще в 1915 году, вначале в Австро-Венгрии, потом в Германии. В 20-е годы успешно трудился в Голливуде. Но начавшийся экономический кризис заставил его снова вернуться в Европу. В 1932 году он вместе со своим другом сценаристом Л. Биро основал фирму «Лондон филмс», на которой осуществил постановку более сорока фильмов, многие из которых вошли в классику английского и мирового кино.

К их числу, несомненно, относится и «Леди Гамильтон». В этом фильме Корда, с присущим ему мастерством, принесшим успех в нашумевшей ленте 1933 года «Частная жизнь Генриха VIII», снова обратился к интимной жизни известных исторических персоналий. Таковыми в «Леди Гамильтон» стали национальный герой, адмирал Нельсон и его возлюбленная, жена английского посла лорда Гамильтона в Неаполе. Их роли блистательно воплотили на экране, пожалуй, самые известные английские актеры XX столетия Вивьен Ли и Лоренс Оливье.

Разумеется, все эти фоновые знания были приобретены мною много-много позже. В те далекие годы никто из нас даже не подозревал, что самая звездная роль Вивьен Ли, обессмертившая ее имя и сделавшая любимицей многих и многих поколений кинозрителей, — это, конечно, зеленоглазая Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром». Ведь этот фильм попадет на наши экраны спустя почти полвека после своего выхода на экраны. Да и сам роман Маргарет Митчелл в русском переводе появился лишь в конце семидесятых годов прошлого столетия.

Но как бы то ни было, а раз в неделю все мы в обязательном порядке смотрели «Леди Гамильтон», ибо впереди маячил экзамен по фонетике, где в качестве практического задания нам предстояло озвучить один из фрагментов этого фильма.

Справедливости ради стоит сказать, что в тогдашнем Минске были еще две культурные точки, в которых зарубежные фильмы демонстрировались в своем, так сказать, первозданном виде, то есть на языке оригинала. И мы, студенты, охотно посещали обе. Это кинотеатр «Зорька», снесенный в середине семидесятых для того, чтобы на его месте построить кинотеатр «Октябрь», и небольшой, но очень уютный кинозал Дома офицеров. Но что такое разовый просмотр кинофильма в сравнении с обязательной, как чистка зубов, процедурой, которая к концу семестра уже в буквальном смысле этого слова навязла в зубах? Пожалуй, накануне экзамена любой из нас мог бы с точностью заправского монтажера повторить кадр за кадром весь фильм «Леди Гамильтон». Но вся закавыка состояла в том, что никто не знал, какой именно кадр достанется ему (или ей) для озвучки на самом экзамене.

А потому мы изо всех сил вслушивались в монологи и диалоги героев, старательно имитируя их произношение и интонацию. Нам, девочкам, предстояло озвучивать леди Гамильтон. А единственному мальчику в группе Казику Пржелясковскому, у которого, на мой взгляд, и так была фонетика выше всяких похвал, нужно было запоминать особенности речи уже ее возлюбленного, адмирала Нельсона.

Наконец наступил решающий день. Мы снова сидим в полутемном зале, каждый уже зная свою роль. Лично мне достались кадры обеда, когда юная Эмма Харт, любовница молодого аристократа Чарльза Гревилла, впервые попадает в дом к его дяде, лорду Гамильтону, который в те годы (повторюсь!) служил послом в Неаполе. Перед племянничком, отпрыском знатного семейства, замаячила перспектива выгодной женитьбы, вот он и решил переуступить свою красавицу-наложницу родному дядюшке, благо, тот тоже был весь-

ма охоч до прекрасного пола. Эта сцена и сегодня стоит у меня перед глазами, будто я вышла из просмотрового зала всего лишь минуту тому назад.

Современники, в общем-то не очень жаловавшие будущую леди Гамильтон (еще бы, прорвалась из самых низов в такие заоблачные выси!), называли ее вульгарной, вздорной, скандальной и прочее, и прочее. В высшем свете ей так и не простили ни ее удачи, ни любви адмирала Нельсона, который посмел предпочесть аристократке бывшую «шлюху». Одно не вызывало разночтений ни у кого и никогда: красота Эммы. Недаром эту женщину рисовали такие прославленные художники своего времени, как Рейнолдс, Лоренс, Хоппер и Ромни.

А уж если говорить о красоте, то Вивьен Ли вполне могла посоперничать со своей героиней. Известно ведь, что многие театральные режиссеры даже ставили ей в упрек слишком красивую внешность. Так, руководство знаменитого театра «Олд Вик» вообще не хотело поначалу заключать контракт с молодой артисткой. Они считали, что прекрасные внешние данные дебютантки дают ей определенные преференции на сцене и публика будет не столько следить за игрой или развитием сюжета, сколько станет просто восхищаться внешностью исполнительницы.

Как тут не вспомнить Федора Михайловича Достоевского, считавшего, что англичанки — это самые красивые женщины на свете. Если судить по кадрам из кинофильма «Леди Гамильтон», то с ним трудно не согласиться. К тому же, в Эмме, как ее сыграла Вивьен Ли, нет ни тени вульгарности, пошлости, мелочности. Ее любовь к Горацию Нельсону возвышенна и прекрасна, она начисто лишена всякой меркантильности и корысти. Почти что неземная любовь. Кто-то иронично улыбнется и воскликнет: «А разве такая есть?» Но сама актриса, ее муж, великий английский артист Лоренс Оливье, их современники и друзья знали, что, да, есть. Отношения артистов, только-только вступивших в брак, настолько напоминали отношения главных героев фильма, что сам кинофильм вполне можно было бы назвать костюмированной автобиографией каждого из них, правда, с поправкой на счастливый финал.

Недаром один из близких друзей четы Оливье так написал об этом периоде их жизни: *«Казалось, что оба, и Вивьен, и он, жили, впитывали, оберегали мир друг друга. Они были просто поглощены друг другом. И если в начале их знакомства мир Вивьен заключался в Ларри, теперь его мир всецело, превышая даже театр, заключался в ней».*

Но вернемся к экзамену. Итак, красавица Эмма Харт садится за сервированный к обеду стол в особняке лорда Гамильтона, молча смотрит, как услужливый дворецкий кладет ей что-то на тарелку, улыбается, открывает рот и….

А дальше говорю уже я.

‘Whenever I see a nice piece of fish, it always makes me think of sea’ (Всякий раз, когда я вижу перед собой хорошую порцию рыбы, я почему-то вспоминаю о море).

Я говорю, а в ушах у меня звучит мелодичный, переливчатый, неповторимый голос самой актрисы. По-моему, его хочется слушать и слушать, даже если ты и не знаешь английского языка и не понимаешь, о чем она говорит.

Недаром, выступая на панихиде по Вивьен Ли 10 августа 1967 года, великий английский актер Джон Гилгуд среди многих прочих достоинств усопшей назвал и это: ее голос.

«У нее был незабываемый, обаятельный голос. Ее немедленно узнавали по телефону: это сочетание властности с непосредственной, бьющей ключом теплотой, исполненной дружелюбия и жизнерадостности».

Так разве возможно повторить такое? Кажется, знаменитые rising tones (интонации с повышением голоса) у меня не получились, панически соображаю я прямо по ходу озвучивания монолога.

Экзамен окончен. Нам оглашают результаты. У меня «четверка». Кстати, единственная за все годы учебы в институте. Недаром на последнем курсе куратор нашей группы милая, славная Антонина Иосифовна Федорова (царствие ей небесное!) все носилась с мыслью о том, чтобы я пересдала эту злополучную фонетику и получила красный диплом с результатом «сто из ста». Но я не согласилась. Во-первых, диплом с отличием был и так мне гарантирован, а во-вторых... Ну разве можно вступать в соревнование, пусть и заочное, с самой Вивьен Ли?

Whenever I see a nice piece of fish….

«Весна на Заречной улице»

У каждого кинозрителя наверняка есть свои фильмы-символы. В моем списке тоже имеется одна художественная лента, уже давно ставшая настоящей советской классикой. А для меня она прежде всего символ. Это — символ-город. Я имею в виду кинокартину «Весна на Заречной улице». Что тем более удивительно: я никогда не видела этот фильм на большом, так сказать, экране.

Разговоры слышала в детстве, и много разговоров. Помню, какой шум сотворился в моем родном Даугавпилсе, когда в 1956 году в кинотеатрах пошел этот фильм, про который в тогдашних рекламных аннотациях писали так: «Поэтический рассказ о любви молодого рабочего к своей учительнице». Кстати, дипломная работа двух молодых режиссеров — Марлена Хуциева и Феликса Миронера, снявших фильм на Одесской киностудии. Вот какие дипломы, на зависть всем нам, кому приходится руководить дипломными работами уже в наши дни, защищали в свое время молодые специалисты! Это вам не куцая теория, списанная впопыхах с бесплатных интернетовских сайтов, помноженная на какой-нибудь такой же куцый и никому не нужный эксперимент.

Помню, как сопереживала любви героя наша соседка Анна Ивановна, во всех подробностях пересказавшая сюжет фильма в расширенном (с моим участием) семейном кругу. Помню, как стремительно взлетела вверх популярность исполнителя главной роли, совсем еще молодого Николая Рыбникова, как запели вокруг песню на слова Фатьянова:

Когда весна придет, не знаю.
Пройдут дожди, сойдут снега,
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.

Словом, отлично помню все, что связано с лентой, но саму ее я увидела лишь несколько лет спустя, уже по телевизору, по новенькому черно-белому телевизору, который въехал вместе с нами в наш новый дом. Произошло это где-то в году шестидесятом или шестьдесят первом. И с тех пор я смотрю этот фильм столько раз, сколько его показывают по многочисленным программам отечественного телевещания. А поскольку «Весна на Заречной улице» до сих пор любима зрителями, особенно теми, кого традиционно называют «старшим поколением», то трудно даже приблизительно подсчитать количество моих кинопросмотров. Пожалуй, раз сто, так это точно.

В семидесятые годы в нашем небольшом трудовом коллективе даже сформировалась группа любителей («фанатов», как говорят сейчас) именно этого кинофильма. В нее, помимо меня, входила еще молоденькая секретарша по имени Таня и инженер-патентовед Борис Наумович Фельдман. Впрочем, он, как бывший завзятый кавээнщик, скорее мастерски подыгрывал нам двоим, внося приятное оживление в довольно монотонные рабочие будни.

«Татьяна, вспомни дни золотые», — красивым баритоном заводит он, входя в комнату, и Таня, отрываясь от своей машинки, тут же парирует:

— А вы Васнецова знаете, Борис Наумович?

— Это тот, который с автобазы? — делано удивляется Боря, повторяя слово в слово один из диалогов фильма.

Смотреть за этими пикировками со стороны было уморительно смешно, и даже в самый пасмурный день они моментально поднимали настроение у всех присутствующих.

Однако о городе-символе. В августе 1974 года на объединение «Интеграл» прибыло какое-то чертовски секретное и супер-пупер новое американское оборудование. Поскольку завод наш был тоже строго секретным, а на дворе, несмотря на все начинавшиеся тогда разговоры о «разрядке», шла своим чередом холодная война, то закупка, скорее всего, осуществлялась через третьи, а может быть, и через четвертые страны. Разумеется, в обход пресловутой поправки Джексона-Вэника. Короче говоря, нам доставили нечто плюс огромное количество пухлых томов непереведенной документации. Естественно, на английском. Все мы, небольшая группа переводчиков, с тоской уставились на эти монбланы технической абракадабры, понимая, что на перевод сих опусов потребуются годы, даже если каждый из нас будет делать по две нормы в день, что представлялось весьма маловероятным. Поскольку, заглянув в описание, мы с ужасом обнаружили, что множество терминов, мелькающих в тексте, начисто отсутствуют в наших словарях (одно слово, неологизмы!), а если они там и присутствуют, то значат совсем не то, что надо по тексту. Ибо закупленная линия была не только автоматизированной, но и компьютеризированной какими-то портативными приборами, о которых мы, рядовые сотрудники отдела научно-технической информации, еще и понятия не имели в те годы.

Да и не только мы! Уж сколько крови перепортили переводчикам начала семидесятых перлы типа *data bus* или *interface*. Даже во Всесоюзном центре переводов долго не могли прийти к единому мнению насчет того, какой русскоязычный эквивалент оставить в окончательном варианте. В конце концов остановились на кальке *шина данных* (в первом случае) и на транслитерированном варианте *интерфейс* (во втором). Терзания нашего переводческого начальства вполне можно понять: ведь в технических словарях тех лет возле слова *bus* гордо красовалось лишь одно значение *автобус*, а *interface* и вовсе переводился словосочетанием *поверхность раздела*.

Итак, оборудование есть. На него ухлопали немереную кучу денег, и оно должно работать, причем, еще со вчерашнего дня. Но как это сделать, не имея под рукой четких инструкций? О том, чтобы отдать часть томов на перевод в Торгово-промышленную палату, не могло быть и речи. Гриф «Секретно», украшавший каждый том документации, ставил жирный крест на наших надеждах избавиться от докучливой работы.

Время, как известно, не ждет. И вот уже руководство, «провентилировав» вопрос в министерских кабинетах, вернулось из Москвы с обнадеживающими новостями. Оказывается, у наших коллег в Запорожье есть нечто подобное (в смысле, оборудование), и оно у них даже благополучно работает. Вопрос

с директором тамошнего завода уже согласован. Надо лететь в Запорожье и забирать имеющиеся на предприятии переводы. Сия почетная миссия была возложена на меня.

В первых числах сентября (в Минске тепло, почти как летом) я вылетаю в Запорожье. В самолете сосредоточенно размышляю о том, что мне известно об этом украинском областном центре. Днепрогэс — раз, Запорожсталь — два, разумеется, Запорожская сечь — три. Не так уж и мало для начала. Приободренная собственными познаниями, я ступаю на трап самолета и попадаю уже в самое настоящее лето. Жара! Солнце палит с южным темпераментом, воздух напоен сладковатым запахом арбузов и винограда. Курорт, да и только! Хватаю такси (гулять так гулять!) и мчусь на завод, благо он, в отличие от моего родного «Интеграла», расположен в самом центре города.

Сотрудники отдела информации встречают доброжелательно, но начальник растерян и даже немного сбит с толку. Результаты «переговоров на высшем уровне» ему явно еще не успели довести, вкупе с директорскими указаниями что-то там отдать, передать и так далее.

Начинаются хлопоты по моему бытовому устройству. Пару звонков, и вот мне уже заказано место в гостинице «Цирк».

— Она в самом центре города, — поясняет мне коллега Людмила Никитична Рубанова, тоже переводчик английского языка, — и вам к нам будет удобно ездить. Так удачно получилось, что еще не начался театральный сезон. Вообще-то, эта гостиница только для артистов цирка.

— Да я и не собираюсь у вас надолго задерживаться! — успокаиваю я собравшихся. — У меня командировка только на три дня с четким указанием: забрать переводы и привезти их домой.

— О, их еще нужно подготовить к передаче, привести в божеский вид, — туманно начинают объяснять мне запорожцы. — Но вы не волнуйтесь, мы успеем! А пока можете погулять по городу, познакомиться с нашими местными достопримечательностями.

Мне тут же в подробностях прорисовывают несколько наиболее интересных маршрутов: остров Хортица, естественно, знаменитая плотина Днепрогэса, музеи, все как положено.

И вот я ступаю на раскаленный асфальт центральной улицы Запорожья, проспект Ленина, и вдруг чувствую, что на меня наплывает странное, почти сомнамбулическое состояние: эта улица кажется мне знакомой до рези в глазах. Дежа вю, да и только! Наверное, это так жара на меня подействовала, успокаиваю я себя. Плюс еще этот перелет, заставивший подняться ни свет ни заря. Я медленно бреду по проспекту, с любопытством разглядывая окружающие здания. Но чем дальше, тем больше я напоминаю себе несчастного Шурика из «Операции “Ы”», который, вторично очутившись в квартире своей однокурсницы Лиды, вообразил, что у него вдруг открылись телепатические способности.

Видела я все это, видела, твержу я про себя, вот только никак не могу вспомнить, где. Ну что ты заводишься? Стандартная архитектура, типовая застройка центра города. Очень смахивает на наш проспект в Минске, пытаюсь я рассуждать логически. И вдруг взгляд мой упирается в шлагбаум. Да-да! Обыкновенный железнодорожный шлагбаум и железные рельсы, пересекающие центральную магистраль города.

Я вздрагиваю и тут же вспоминаю все. Так это же «Весна на Заречной улице»! Как же я сразу не догадалась! Перевожу взгляд вправо, и передо мной открывается знакомая по фильму, грандиозная в своей индустриальной красоте панорама знаменитой «Запорожстали». Оглядываюсь назад и вижу дом,

в котором молодая учительница Татьяна Сергеевна получила после всех своих мытарств собственную комнату. И площадь перед домом та же, и окружающие здания словно сошли с киноэкрана.

Вечером Люда забирает меня из гостиницы (мы уже перешли с коллегой на «ты») и увозит к себе домой. Ухоженный частный дом на улице Полтавской: сидим, чаевничаем, я делюсь своими впечатлениями о городе.

— Да! — подтверждает Игорь, муж Люды. — «Весну» действительно снимали в нашем городе! Жаль вот, наша улица не попала в кадры! — с улыбкой добавляет он и затягивает:

Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога…

Мой «блицкриг» в Запорожье завершен. В аэропорт меня уже везут на своей машине новые друзья (как оказалось, на всю оставшуюся жизнь).

— Ты к нам еще приезжай! — уговаривает меня по пути Игорь. — У нас тут красота! Днепр! Я тебе такие места покажу, закачаешься! Нигде в мире нет ничего подобного!

— Обязательно приеду! — твердо обещаю я. — Но вначале вы ко мне, в Минск!

Самолет взмывает ввысь, и я смотрю на раскинувшийся под крылом город. Отныне и навсегда Запорожье вносится в список моих любимых городов. А как иначе? Ведь он же из моего любимого кинофильма. А еще — в нем живут просто замечательные люди.

P. S. Да, о переводе! В день отъезда мне, немного смущаясь, вручили две пухлые стопки исписанной от руки бумаги и несколько ученических тетрадей, тоже испещренных всякими пометками.

— Понимаете, мы работали в таком темпе, что не успевали печатать. Переводили и сразу же отдавали разработчикам в цех. А они уже там сами колдовали как могли. Кое-что вот, правда, потерялось. Но что нашли, все отдаем вам! — сконфуженно проговорил начальник отдела, старательно отводя глаза в сторону. Видно, уже успел прочитать на моей физиономии всю гамму обуревавших меня чувств.

Я молча глянула на эту кучу макулатуры и сделала глубокий вдох. Да уж! За доставку такого экземпляра перевода благодарности мне точно не дождаться! А с другой стороны, кто его знает, как там наше начальство на самом верху договаривалось, а главное — о чем. Пусть теперь сами разбираются. Ой, прав Высоцкий, жираф большой, ему видней.

«Двадцать четыре часа удовольствия»

Я уж было подумала, что Лолита Торрес помогла мне поставить точку в разговоре об аргентинском кино. Ан нет! Покопавшись в завалах собственной памяти, я вспомнила еще один очень смешной эпизод, опять же связанный с Аргентиной. Если мне не изменяет память, случилось это в 1975 году.

Напоминаю, что раз в два года в нашей стране проводился тогда Московский международный кинофестиваль. Это сегодня он выродился в заурядную гламурную тусовку, интересную лишь весьма ограниченному кругу обывателей в пределах Садового кольца. А в те далекие годы авторитет фестиваля был чрезвычайно высок, и самые известные звезды мирового экрана почитали за честь отметиться в Москве и продемонстрировать там свои новые

работы. Интерес к фестивальным просмотрам был колоссальный, причем, не только в столице. Фестивальные страсти волнами расходились по всей стране. А в крупных городах, таких, как Минск, в виде полновесной добавки к культурному событию, устраивались еще и так называемые Недели фильмов Московского кинофестиваля. Абонементы на мероприятие продавались заранее, и охочий до культуры народ в считанные секунды разметал эти довольно дорогие билеты. Наш дружный молодежный отдел почти в полном составе был завсегдатаем всех фестивальных просмотров. Почему-то чаще всего мы ходили в кинотеатр «Мир», где оккупировали, как минимум, два ряда. Потому что приходили на показы вместе с мужьями, женами, подругами, приятелями, словом, устраивали настоящие семейные культпоходы.

Обычно Неделя включала в себя показ 8—10 художественных фильмов, которые демонстрировались по два кряду. Поскольку фестивальные фильмы шли только в нескольких центральных кинотеатрах, то нам, добиравшимся до центра из далекой Курасовщины, подходили сеансы, начинавшиеся никак не ранее семи-восьми вечера. А в результате домой все мы попадали далеко за полночь, ибо продолжительность каждого киносеанса была три с половиной, а то и все четыре часа. Но этот культурный марафон, длившийся по четыре-пять дней, мы сносили стоически: во-первых, потому что были молоды, а во-вторых, отлично понимая, что это шанс увидеть кино, которое потом, скорее всего, может и не попасть в наш прокат. Так, кстати, чаще всего и было.

Была еще одна каверза, заставлявшая безропотно терпеть ночные кинобдения. Организаторы мероприятия компоновали фильмы весьма хитро: первым обычно запускалось кино какой-нибудь слаборазвитой страны или нечто производственное от наших друзей по социалистическому лагерю. На десерт же оставляли французскую, итальянскую, американскую или равноценную им художественную ленту из других стран, имеющих солидную историю собственного кинематографа. Итак, первые два часа мы откровенно скучали в темноте, подкрепляясь конфетами и булочками в ожидании встречи с «настоящим кино».

Однако в тот далекий летний вечер всех нас ожидал приятный сюрприз, ибо первым был почему-то поставлен американский гангстерский фильм, а на второе предлагалась аргентинская лента с весьма банальным названием «24 часа удовольствия».

Первые два часа много стреляли, кровь лилась рекой, и после окончания киносеанса возбужденная публика стала решать, что делать дальше. Уже одиннадцатый час вечера, и хотя на дворе еще светло и домой в общем-то рано, но мужская часть зрителей возроптала, категорически отказываясь терпеть два часа какой-то слезливой южноамериканской тягомотины. Люди потянулись к выходу. Начались разброд и шатания и в наших рядах. Но потом мы, спаянные как никогда чувством коллективизма, решили так: останемся и посмотрим хотя бы немного. Если — ерунда, то что мешает встать и уйти через десять минут после начала сеанса? Кстати, сие весьма разумное предложение было выдвинуто моей коллегой Галей Бартошевич, которая мгновенно остудила пыл собственного мужа, уже засобиравшегося домой.

Итак, Галина Михайловна железной рукой усадила наши два ряда на свои места. Интересно, помнит ли она сама, ставшая уже почтенной дамой, которая ныне такой же железной рукой руководит бухгалтерией целого телеканала, помнит ли она, что именно ей мы обязаны двумя часами абсолютно чистого и незамутненного никакими примесями удовольствия? А тогда в зале погас свет и началось аргентинское кино.

Представьте себе, кинокомедия! Настоящая! И, пожалуй, лучшая из всех мною виденных. Хотя с весьма банальным сюжетом, который, впрочем, запомнился до мельчайших подробностей, что лишний раз подтверждает истину: по-настоящему смешное всегда просто. Не примитивно, но просто. И только произведение искусства, скроенное по таким, казалось бы, незамысловатым лекалам, вызовет повсеместный смех у всех, от Чукотки до Ганновера, от Дакара до Торонто, и в обратном направлении.

Итак, молодая красивая женщина мучается тем, что муж абсолютно не обращает на нее внимания. А тот, «крутой» бизнесмен, выражаясь современным языком, проводит свой вечерний досуг в обществе прелестных одалисок, домой возвращается поздно и всякий раз ссылается при этом на какие-то экстраординарные совещания, деловые встречи, срочные переговоры и прочее.

Разумеется, после всех увеселений на стороне темпераментного мачо уже никак не хватает на собственную жену. И пока бедняжка старательно готовится к встрече с мужем (уморительно смешные сцены!) на супружеском, так сказать, ложе, вторая половина благополучно погружается в сон. Эта картина повторяется изо дня в день, и наконец несчастная женщина решается на откровенный разговор с подругой. Та, как и положено истиной подруге, немедленно дает ей дружеский совет. Дескать, в Буэнос-Айресе есть известный специалист в области семейных отношений. Он что ни год выпускает новые книги по проблемам секса, которые моментально становятся бестселлерами, он регулярно выступает с публичными лекциями, которые тоже собирают толпы народа. У него даже имеется собственная ежедневная передача на телевидении, пользующаяся необыкновенной популярностью. Словом, надо идти к нему, авось он насоветует что-то дельное.

В урочный час героиня включает телевизор, чтобы заранее познакомиться с будущим консультантом, и — о чудо! — узнает в нем бывшего однокурсника, который в годы оны даже пытался за ней ухаживать, но был отвергнут. Потому что в те годы был он недотепой и размазней, совершенно не умеющим обращаться с молодыми девушками. Глядя на вальяжного господина, из уст которого льются медоточивые речи о том, как именно следует добиваться гармонии в супружеских отношениях, женщина не верит собственным глазам. И ушам тоже. Возможна ли такая метаморфоза с тем, кого она так хорошо знала? И тут ей в голову приходит шальная мысль. А что, если наставить рога мужу именно с этим утонченным знатоком секса? Ведь когда-то он был готов ради нее на все. Наверное, и сейчас не откажется провести, так сказать, практическое занятие, чтобы наглядно продемонстрировать, как должно вести себя в самый ответственный момент. Решено! Женщина устремляется навстречу грядущим приключениям.

Дальнейшее развитие сюжета, сопровождавшееся гомерическим хохотом зрителей, — это непрерывный калейдоскоп запутанных и очень смешных сцен, когда парочка бывших однокурсников мечется по аргентинской столице в поисках укромного уголка, где можно было бы предаться адюльтеру без опасения быть узнанными. И при этом всякий раз им попадается муж героини, который при виде жены тоже в ужасе бежит прочь, опасаясь праведного гнева своей половины, поскольку буквально застигнут на месте преступления. Забавные перипетии кончаются таким же комическим катарсисом: когда наступает решающий момент, специалист по сексу терпит сокрушительный провал. После чего следует гневный афоризм героини:

— Мой муж может, но не хочет, а ты только хочешь! Но не можешь!

И вот, уставшая, злая, обессиленная выпавшими на ее долю испытаниями, героиня возвращается домой. Она не чистит перышки перед тем, как

отправиться спать. Она для этого слишком устала. Она валится на кровать, в чем стояла, и моментально отключается. А в это время пристыженный муж старательно повторяет женину вечернюю процедуру приготовления ко сну. Под дружный хохот зала он методично чистит зубы и несколько раз ополаскивает рот, опрыскивает себя всяческими дезодорантами, натягивает шелковую пижаму, осторожно, крадучись, заходит в спальню и видит перед собой картину, которая изо дня в день повторялась с ним. Жена спит беспробудным сном, и ей наплевать на супружеский секс, даже если он такой же утонченный и гармоничный, как тот, про который толкует на своих лекциях ее однокурсник, вешая лапшу на уши своим наивным слушателям.

Вот такая смешная кинокомедия, построенная по принципам классического театрального искусства: единство места (Буэнос-Айрес), единство времени (все события укладываются в 24 часа), единство действия. А еще этот фильм напомнил мне лучшие новеллы Боккаччо из его бессмертного «Декамерона». Та же пленительная откровенность без грана пошлости, то же бьющее через край жизнелюбие, то же тонкое понимание человеческой натуры во всех ее проявлениях, то же умение посмеяться над собственными слабостями.

Сеанс закончился далеко за полночь, но публика, получившая, повторяю, два часа чистейшего удовольствия, не торопилась расходиться. В дворике перед кинотеатром моментально образовались многочисленные группки оживленных зрителей. То и дело слышался смех, восклицания, веселые возгласы. Выражаясь языком агитпропа, люди получили хороший заряд бодрости на всю предстоящую трудовую неделю.

А ведь если задуматься о кинокомедиях всерьез, то понимаешь, как, в сущности, их мало. А еще меньше тех, которые были бы одинаково смешны и зрителям Буэнос-Айреса, и жителям белорусского поселка Глуша. Как ни крути, а большая часть наших отечественных кинокомедий все же, так или иначе, накладывается на наши национальные культурные традиции и на нашу ментальность, а потому они далеко не всегда понятны зарубежным зрителям. Не секрет ведь, что забавные коллизии «Иронии судьбы» оставили совершенно равнодушными жителей Польши, которые любят Барбару Брыльску совсем за другие роли и в других кинофильмах.

Ох, и тонка же природа смешного! Особенно смешного в его, так сказать, универсальном восприятии. Да и вообще — смех это отдельный разговор. В последнее время мне довелось прочитать довольно любопытные размышления Сергея Кургиняна по этому поводу в его фундаментальном труде «Кризис и другие», в котором он смело и доказательно подверг критике знаменитую теорию «карнавала», выдвинутую в свое время Бахтиным, а заодно и смеховую культуру, созданную на основе этой теории.

Не скрою, парадоксальные выводы Кургиняна показались мне весьма убедительными. Впрочем, это уже тема для другого, более серьезного и обстоятельного разговора, и не только о кино. А пока же скажу, что тот давний фестивальный фильм я запомнила навсегда. Да, думаю, и не только я. Отзовитесь, зрители!

The Age of Innocence

Удачные экранизации мировой литературы в кинематографе наперечет. Что совсем не удивительно. Ибо многие режиссеры снедаемы самым заурядным тщеславием, а потому, приступая к работе над очередным литературным шедевром, они вполне искренне пытаются доказать *urbi et orbi* (граду и миру),

то есть всем нам, что они ничуть не хуже того же Шекспира или Антона Павловича Чехова. А в чем-то даже лучше. В результате по мировым экранам гуляет несметное число весьма поверхностных и далеких от первоисточника киноверсий, многие из которых могут не только начисто отбить вкус к хорошей литературе, но и загубить на корню всякое желание читать ее. Примеры перечислять не буду, они у каждого имеются в избытке. Свои. Вторая беда современных «экранизаторов» — это еще и чисто конъюнктурные цели, то есть стремление любой ценой оказаться на гребне сиюминутного спроса, что всегда чревато плохими последствиями для самого произведения.

Словом, порой создатели кино более чем произвольно толкуют знаменитый афоризм Гёте из его «Фауста»: «Ты равен тому, кого понимаешь», и понимают так, как им бог на душу положит, хотя и не сомневаются при этом, что равны очередному имярек.

И все же на фоне бесконечного числа откровенной халтуры и ремесленных поделок встречаются и настоящие творческие удачи. Посмотрев такое кино, люди немедленно бросаются в библиотеки или к своей собственной книжной полке, чтобы перечитать роман или повесть, легшие в основу экранизации. Чтобы еще и еще раз насладиться языком автора, заново открывая для себя все богатство нюансов, так точно перенесенных на язык кино. Опять же, не буду сыпать примерами, ибо у каждого они свои.

Расскажу лишь об одной киноэкранизации со стопроцентным, на мой взгляд, попаданием в яблочко. Я имею в виду кинофильм Мартина Скорсезе «Век невинности», снятый по одноименному роману замечательной американской писательницы Эдит Уортон, в котором приняли участие такие звезды мирового кино, как Джеральдина Чаплин и Мишель Пфайффер. Да, да! Того самого Скорсезе, который привык эпатировать своими скандальными постановками то целомудренную публику Старого и Нового Света, то религиозные круги Ватикана, а то и тех, и других вместе. А тут режиссер, на удивление всем, вдруг взял и продемонстрировал «чистейшей прелести чистейший образец», как говаривал поэт, за что и получил Серебряного Льва на Международном кинофестивале в Венеции в 1993 году.

Итак, *«The Age of Innocence»*. Я не случайно вынесла английский вариант названия фильма в заглавие, ибо роман Эдит Уортон, конечно же, переведен на русский язык, и переведен очень хорошо. Вот только название! В русскоязычном варианте роман фигурирует как «Эпоха невинности». Переводчики и редакторы явно забыли о целой обойме устойчивых перифразов, широко используемых как в английском, так и в русском языках, таких, как век просвещения, век разума, золотой век и прочее. А потому те, кто дублировал фильм на русский язык, оказались точнее и перевели название фильма в строгом соответствии с замыслом автора книги и канонами русского языка. Но это так, попутно.

А если по существу, то почему именно Эдит Уортон? Почему для своего очередного фильма Скорсезе, прославившийся нестандартными версиями жизнеописания Христа на экране, выбрал изысканную, утонченную, аристократичную в самом хорошем смысле этого слова Эдит Уортон? Писательница вошла в историю американской литературы как одна из самых талантливых учениц Генри Джеймса, у которого она научилась блистательному мастерству передачи тончайших оттенков человеческих чувств. Недаром многие критики называют ее роман «Век невинности» одним из лучших романов о любви в мировой литературе.

Однако сам роман, увидевший свет в 1920 году, отнюдь не сразу стал тем, чем он является сегодня. Эдит Уортон, обогатившая современный английский язык,

повторюсь, просто замечательным перифразом «век невинности» и ставшая, в какой-то степени, глашатаем этого века, не вкусила великой славы при жизни. Да и сам роман проскочил незамеченным для большинства ее современников.

Для них конец XIX — начало XX веков были означены совсем другими событиями, их волновали другие герои, они поклонялись иным богам и восторгались иными ценностями.

В самом деле, какая невинность? Что за старомодные, пахнущие нафталином идеалы извлекла эта странная американка из дальних ящиков бабушкиного комода? Потребовался тот самый век, выражаясь языком самой писательницы, ну, или почти век, чтобы читающая и смотрящая публика поняла: а ведь книга-то (да и фильм тоже) о тех самых непреходящих ценностях, которые не подвержены тлению. А потому им не страшны века, много веков. Воистину, большое видится на расстоянии.

Так о чем, собственно, фильм (книга)? Ну конечно, о любви. О любви, которая как бы не состоялась по всем внешним признакам того, что принято считать состоявшейся любовью. И одновременно о любви, которая не только вошла в жизнь героев и изменила ее, но и сделала саму эту жизнь осмысленной, одухотворенной, цельной и по-своему счастливой.

А сюжет прост, как, впрочем, просты сюжеты всех великих книг. Действие разворачивается в 1870 году в Нью-Йорке. Молодой юрист Ньюленд Арчер, принадлежащий к сливкам нью-йоркского общества, аристократично рафинированный и утонченный джентльмен, готовится к свадьбе с очаровательной девушкой по имени Мэй Велланд. Разумеется, избранница тоже принадлежит к его кругу. В размеренную жизнь молодых людей врывается двоюродная сестра невесты героя. Графиня Элен Оленская только-только вернулась домой из Европы почти после десяти лет отсутствия на родине. Многое кажется ей здесь старомодно-патриархальным, но и высший свет Нью-Йорка встречает молодую женщину в штыки. Ведь по гостиным уже поползли разговоры о том, что она собирается требовать развод у своего мужа. А слухи о ее весьма экстравагантном поведении в Старом Свете просочились даже через океан. Ей ли искать сочувствия у здешних высоконравственных матрон? И что дальше?

А дальше любовь. Любовь, которая вспыхнула и разгорелась подобно искре на ветру. Разгорелась, не погасла, но никого и не согрела. Хотя, впрочем, как сказать…

«Мы близки друг другу, только оставаясь друг от друга вдалеке. Тогда мы можем быть самими собой. В противном случае мы всего лишь Ньюленд Арчер, муж двоюродной сестры Элен Оленской, и Элен Оленская, двоюродная сестра жены Ньюленда Арчера, которые пытаются быть счастливыми за спиной у тех, кто им доверяет».

Собственно, в этих словах Элен Оленской вся квинтэссенция сюжета и вся нравственная суть героев.

Помнится, как несколько лет тому назад одна из моих студенток, выступая на семинаре по зарубежной литературе, выбрала для анализа именно роман Эдит Уортон. И выводы ее показались мне неожиданно яркими, и уж точно не скачанными из Интернета. Завершая разговор о книге, она вдруг сказала, что роман многими своими сюжетными линиями перекликается, как ей кажется, с романом Льва Толстого «Анна Каренина». Вот только главная героиня, по ее мнению, повела себя гораздо, гораздо благороднее. Не стала разрушать чужое счастье. А в результате ей не пришлось бросаться под поезд. Она просто снова вернулась в свой Париж и жила там еще долго-долго. Может быть, даже счастливо. Мы еще немного поговорили о романе, о его замечательной финальной сцене, когда главный герой, уже вдовец, уже с взрослым сыном,

приезжает в Париж и сидит напротив дома, в котором живет графиня Элен Оленская, не в силах решиться на долгожданную встречу с той, кого он любил всю свою жизнь и любил больше этой жизни.

«Он долго сидел на скамейке в сгущающихся сумерках, не сводя глаз с балкона. Наконец в окнах зажегся свет, и спустя мгновенье на балкон вышел слуга, поднял маркизу и опустил ставни.

И, словно это был сигнал, которого он ждал, Ньюленд Арчер медленно поднялся и в одиночестве пошел обратно к себе в гостиницу».

Вот такой роман, который, может быть, в моем пересказе покажется кому-то банальным. Тогда смотрите фильм Скорсезе, и вы поймете, что никакой банальности там нет и в помине. Ах, какой изысканный, какой утонченный, наконец, какой красивый фильм снял Мартин Скорсезе! Как бережно, буквально страницу за страницей, перенес он все события романа на экран. Никакой отсебятины, никаких вольных интерпретаций, никаких добавлений или опущений, ничего, что могло бы оскорбить чувства даже самого строгого читателя и почитателя романа. Зато бездна эстетического наслаждения от мизансцен, от мельчайших деталей, будь то кружевная салфетка или чашка из тончайшего, наверняка севрского фарфора или теряющийся в дымке силуэт героини на фоне моря. Сколько целомудрия и по-настоящему высокой эротики в любовных сценах, незамутненных стандартными проявлениями страсти. Режиссер действительно все понял и сравнялся в своем понимании романа с его автором. Редкая удача!

Рискую предположить, что после такого кино вам обязательно захочется взять в руки книжку и прочитать (или перечитать) ее. Вот и замечательно! Честное слово, вы не пожалеете о потраченном времени.

Кинопанорама

А закончить свои спонтанные и весьма хаотичные заметки о кино мне хотелось бы телевидением. Как известно, любимые телевизионные передачи есть и были всегда. Имелись они и у многочисленной армии телезрителей шестидесятых — семидесятых годов прошлого столетия. Просто ужас берет, как только напишешь это «прошлое столетие»! И тем не менее, в числе наиболее популярных и любимых телевизионных передач прошлого века на одном из первых мест, несомненно, значилась «Кинопанорама». Что косвенно подтверждает тезис о том, что кино действительно было самым массовым и востребованным видом искусства в нашей стране.

Судя по всему, эта ежемесячная передача поначалу задумывалась как обычный телевизионный обзор новых художественных лент, выходящих на экраны в текущем месяце, этакий своеобразный телегид в мире кино. Но очень быстро «Кинопанорама» вышла за отведенные ей рамки и повела глубокий, содержательный и очень интересный разговор о проблемах кино и искусства в целом.

Словом, «Кинопанораму» старались смотреть все: даже те, кто не был регулярным завсегдатаем тогдашних кинотеатров. Хотя, повторюсь, первые выпуски никак не предвещали подобного поворота. Впервые заставка «Кинопанорамы» появилась на наших телевизионных экранах в 1962 году. Как сейчас помню стремительно разматывающуюся киноленту на черно-белом экране под звуки музыки из французского кинофильма. Если мне не изменяет память, то была музыка из кинофильма «Гром небесный».

Поначалу у программы не было постоянного ведущего. В разные годы в этой роли выступали Зиновий Гердт, Олег Табаков, Ия Саввина и даже Гри-

горий Александров. Если честно, никто из них мне особо не запомнился. Все они на тот час активно работали в кино и в театре и, судя по всему, никак не считали ведение программы главным делом своей жизни. Дежурно рассказывали о новостях кино, и все. Звездный час передачи начался с приходом в программу замечательного советского кинодраматурга Алексея Яковлевича Каплера. Нет нужды перечислять все, что им сделано в кино. Достаточно лишь напомнить, что по его сценариям поставлены такие известные в свое время кинофильмы, как «Человек-амфибия», «Полосатый рейс», «За витриной универмага». Каплер стал вести «Кинопанораму» с середины шестидесятых и вел ее до 1972 года.

Эти годы безусловно можно назвать «золотым веком» передачи, ибо по своей популярности она очень быстро сравнялась с тогдашним КВН, ничуть не уступая веселым и находчивым ни в остроумии, ни в умении разговорить собеседника. Да! Именно так! В умении разговорить собеседника. Сегодня, когда я, переключая каналы, изредка попадаю на какое-нибудь «ток-шоу», коих пруд пруди на любом из них, то всегда вспоминаю Каплера: его поразительное умение слушать и молчать, молчать и слушать. Но слушать так, что, видно, его собеседнику хотелось говорить и говорить, и молчать так, что телезритель мгновенно проникался осознанием значительности личности самого ведущего. Нынешние же телеведущие больше всего на свете, как мне кажется, любят слушать самих себя. Да и вообще они себя любят! Вопреки всем заветам великого Станиславского, который, как известно, рекомендовал своим ученикам любить не столько себя в искусстве, сколько искусство в себе.

Время, что ли, такое на дворе? Какая-то всеобщая зараза саморекламы и желания продать себя повыгоднее и любой ценой. *Self-promotion*, одним словом. Но по существу.

Можно пересказывать десятки сюжетов из той давнишней «Кинопанорамы», которые остались в памяти, один интереснее другого. Помню, как взволнованно и вместе с тем строго рассказывал Каплер о в общем-то трагической судьбе звезды русского немого кино Веры Холодной. Собственно, именно он и вернул ее имя на наши экраны. А как умно, с каким внутренним достоинством он беседовал со своими многочисленными гостями.

Запомнился один сюжет, когда на «Кинопанораму» пригласили участников очередного Московского кинофестиваля. И не просто участников, а двух актеров, удостоенных призов за лучшую мужскую и женскую роли. Ими оказались Серго Закариадзе (за главную роль в фильме «Отец солдата») и София Лорен, блестяще сыгравшая Филумену Мартурано в фильме Витторио Де Сика «Брак по-итальянски». Честное слово, сдается мне, что никогда красавица Лорен не выступала в более благородном обрамлении, чем тогда, в тот вечер. (Обращаю внимание на то, что «Кинопанорама» шла в те годы в прямом эфире.) С одной стороны — величественный седовласый грузин, с другой — по-европейски сдержанный, предельно корректный и любезный ведущий. Слушать их всех было одно удовольствие, а уж смотреть…

Вот я и думаю, какое же главное качество должно присутствовать в публичном человеке, чтобы он был притягательно интересен и спустя много-много лет после того, как уйдет.

Наверное, это то самое качество, о котором писал когда-то Иван Сергеевич Тургенев в своем романе «Отцы и дети». Помните?

«Без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе нет никакого прочного основания общественному зданию».

Как же не хватает сегодня всем нам (и обществу в целом!) людей, обладающих чувством собственного достоинства, именно в таком, высоком пони-

мании этого слова. Без надутой важности и плебейского презрения к тем, кто ниже тебя по положению и званию, без излишнего самолюбования и самосмакования собственной значительности. Как их до обидного мало во всех сферах нашей жизни, а не только на телеэкране. Как много суеты и шума и как мало желания стушеваться и вовремя отступить в тень. Кстати, глагол «стушеваться», который придумал и запустил в русский язык еще один замечательный писатель, Федор Михайлович Достоевский, грозит вот-вот выпасть из нашей речи за своей абсолютной ненадобностью и практической невостребованностью.

В 1972 году Каплера на посту ведущего сменил Эльдар Рязанов, и «Кинопанорама» моментально стала иной. В ней появилась излишняя говорливость, раскованность, иногда переходящая в разухабистость. Передача все чаще стала тяготеть к театральным капустникам, до которых так охоч актерский люд. Все это было, конечно, и смешно, и мило, а потому передача еще несколько лет пользовалась прежней популярностью. А потом ее рейтинг, выражаясь современным языком, начал падать. Впрочем, причин тому множество: появилось видео, появились другие источники получения информации о кино, и слушать одни и те же разговоры одних и тех же лиц стало уже просто скучно.

Как-то тихо и незаметно «Кинопанорама» сошла с экрана и приказала долго жить. Наступало время обличительных «Взглядов» и прочее.

И вот прошли годы. Канули в Лету и «Взгляды», и «До и после полуночи», и многое другое, что будоражило умы либеральной интеллигенции лет двадцать тому назад. А я вот думаю, станут ли тогдашние молодые ностальгировать по этим передачам в старости, как это делаю сейчас я, вспоминая каплеровскую «Кинопанораму»? Будут ли вспоминать отдельные эпизоды, смаковать свои давние впечатления? Едва ли! Все эти шумные, говорливые ребята-ведущие со своими горячими новостями и жареными фактами из недавнего прошлого так разительно отличались от немногословного Алексея Яковлевича Каплера и от тех сюжетов, что я из года в год видела в его программах.

Нет, я не прошу показать мне ту старую «Кинопанораму». Не ратую за то, чтобы создать сегодня нечто подобное. Я слишком хорошо помню слова Юлии Друниной, замечательного поэта и жены Алексея Каплера, написанные ею, впрочем, совсем по другому поводу.

Не тянитесь к прошлому,
Не стоит.
Все иным покажется сейчас…
Ведь должно же самое святое
Неизменным оставаться в нас.

А что же до чувства собственного достоинства, то утешимся одной весьма остроумной мыслью английской писательницы Айрис Мердок, которую она вложила в уста главного героя в своем романе «Черный принц».

«Одно из многих отличий жизни от искусства, мой любезный друг, состоит в том, что персонажи в искусстве всегда сохраняют достоинство, а люди в жизни — нет. Однако, жизнь в этом отношении, как и в других, упорно, хотя и бесплодно, стремится достичь высот искусства».

Что ж, констатирую: изредка ей это удается.

Вместо титров

Вполне возможно, что кому-то мои дилетантские заметки о кино и в самом деле покажутся уж очень непрофессиональными. В самом деле, никаких воздыханий по поводу Феллини, восторгов в адрес Жана Люка Годара или Курта Гофмана, пространных рассуждений о фильмах так называемого «нового кино». Уверяю вас, среди моих друзей есть масса людей, сполна отдавших дань восхищения и им, и Бергману, и Росселлини, и другим корифеям мирового кино. Некоторые из них даже специально ездили (летали) в Москву на все премьерные показы мировых киношедевров. А потом долго и пространно делились со мной своими восторгами. Что ж, перо им в руки (вернее, компьютер) и Бог им в помощь! Пусть пишут!

Мои же воспоминания, ни в коей степени не претендуя на критический разбор, носят сугубо личный, частный, так сказать, характер и продиктованы, как ни странно, высказыванием одного хорошего французского писателя, впрочем, изрядно подзабытого в наши дни. А жаль! Потому что именно словами Анатоля Франса я хочу оправдать свой неожиданный и довольно странный порыв написать о кино, точнее, о своем отношении к кино. Помните эти слова?

«Я не думаю, что только исключительные люди имеют право рассказывать о себе. Напротив, я полагаю, что очень интересно, когда это делают простые смертные...»

А потому, будучи простой смертной, до мозга костей, я и обращаюсь к таким же простым смертным.

Любите кино! Смотрите его! И, по возможности, вспоминайте то, что когда-то оставило след в ваших душах.



НАТАЛЬЯ СОВЕТНАЯ

Гармония контраста

* * *

Ты вышел из купе…
Везет нас поезд далеко и долго,
Ты оплатил билеты и бумажник спрятал,
И вышел из купе, а я одна…
С детьми… Сынок уснул на верхней полке,
А за окном — мосты над бездной, хаты, люди,
И в звездном небе ворожит луна…

Косички на ночь расплетает дочка,
И на плечах волной играют, плещут пряди…
Ты говорил, что очень любишь нас,
И вышел из купе лишь за глоточком,
Не жажду утолить — всего привычки ради.
Вернуться обещал…
В который раз!

С немым вопросом смотрит проводница,
Я улыбаюсь криво: он придет! Нет… кофе,
Горячий чай не нужен нам сейчас.
Я поищу его…
Как износиться
Успели туфли, как роняют горько вздохи!..
А радио разносит бодрый джаз.

Бреду по шатким узким коридорам,
По дымным тамбурам, грохочущим «гармошкам»,
Уже последний кончился вагон.
Но есть еще владенья в нашем «скором»!
У машиниста. Приоткрыта дверь немножко:
Накрытый стол. И мужики. И он.

Как щедро льется дьявольское зелье!

Хозяйский взгляд вдруг вижу исподлобья…
Копыта… хвост — так пиром правит бес?!
Запрячь тебя, живого еле-еле,
Здесь приготовились рогатые в оглобли…

Бежать скорей бы нам из этих мест!
Бежать! И спрятаться!

Опять спасаю…
Опять тебя веду домой из тьмы зловещей,
Прошу защиты у святых икон.

Ты выбрал этот поезд и вагон.
Вновь вышел из купе, а я одна…
И в звездном небе ворожит луна…

Ноябрь

Божественна гармония контраста:
Из мрака брошен мир в искристый свет,
Пугала нагота земли напрасно
Своею чернотой, — в снега одет,
Сияет белой чистотой рассвет!..

В душе моей застыл ноябрьский холод,
И грязь дорожная забрызгала подол,
И словно в коконе замерзший желудь,
Спит память о грехах… И ветер зол…
Но снегопада час уже пришел!

Декабрь

Все чаще старые глаза блестят,
И слезы по щекам холодным
Текут на снег, —
Декабрь, смущаясь взглядов мокрых хат,
Стоит босой, в одном исподнем…

Короткий век
У скудных дней его, а дух поста
Смиряет, просит покаянья, —
И дождь идет…

Но вдруг осыплет с неба чистота
(Как щедро Божье подаянье!) —
Прощеный год…



По следам одной переписки

В декабре 1933 года Уильям Сароян получил письмо от редакторов журнала «Стори» Вита Барнета и его супруги Марты Фоли, в котором сообщалось, что его рассказ «Отважный юноша на летящей трапеции» будет напечатан в февральском номере журнала. Здесь печатались такие выдающиеся авторы, как Шервуд Андерсон, Эрскин Колдуэлл, Уильям Фолкнер, Гертруда Стайн и другие; а теперь и ему, Сарояну, предоставлялась возможность стать членом этого эксклюзивного клуба. Благодаря этой публикации Сароян впервые получил доступ к общенациональной аудитории (до этого его рассказы печатались во второразрядных журналах).

Сароян решает не останавливаться на достигнутом и начинает писать по одному рассказу в день. Написанное, по два-три рассказа, он посылает своим новым знакомым. В. Барнет и М. Фоли приветствуют инициативу Сарояна и требуют новых рассказов. За один месяц Сароян написал 35—36 рассказов, из которых редакторы отобрали 26. Эти рассказы и вошли в первый сборник рассказов Сарояна «Отважный юноша на летящей трапеции», напечатанный в октябре 1934 года издательством «Рэндом хаус». По вполне понятным причинам книга была напечатана с посвящением Виту Барнету и Марте Фоли.

Так завязалась многолетняя дружба Сарояна с Барнетом и Фоли. На протяжении многих лет Марта Фоли включала произведения Сарояна в сборники лучших американских коротких рассказов. Работая в одном архиве, я нашел переписку Сарояна с М. Фоли, в которой они обговаривают условия публикации его рассказов. И в одном из таких деловых, но теплых и доброжелательных писем М. Фоли сообщает Сарояну о замечательном двадцатидевятилетнем писателе по имени Рэй Брэдбери, напоминающем ей Сарояна, которого она повстречала приблизительно в таком же возрасте. М. Фоли советует Сарояну познакомиться с Брэдбери. Она пишет, что остерегается говорить людям «вы понравитесь друг другу», потому что не любит предвосхищать события. Вместо этого она предлагает: «Будем считать, что вы возненавидите друг друга всеми фибрами своей души».

Письмо М. Фоли датировано 25 июня 1951 года. Сарояну почти сорок три года. Он многого достиг, его заслуги отмечены Пулитцеровской премией (1940) и «Оскаром» (1943), но громкий успех тридцатых—сороковых годов уже не повторится. Рэй Брэдбери, напротив, только начинает свой подъем. Его имя уже встречается на одной обложке с именем Сарояна. В 1950 году он опубликовал «Марсианские хроники». К моменту знакомства с Сарояном «Хроники» уже выдержали четыре издания. В 1953 году будет опубликован «Фаренгейт 451», а в 1957 году — «Вино из одуванчиков». Слава Р. Брэдбери будет расти год от года.

Сароян откликается на предложение М. Фоли и 30 июля 1951 года пишет письмо Р. Брэдбери. Я нашел это письмо в архиве. Он предлагает Брэдбери позвонить ему в офис, встретиться за обедом и поговорить о коротких рассказах, о Марте Фоли и литературе вообще.Что ответил Брэдбери Сарояну, позвонил ли он ему, встретились ли они, неизвестно. В архивной папке с письмом Сарояна больше ничего не было. Об этом можно было бы забыть, если бы не одно обстоятельство. Еще до того, как мне

попались эти письма, у меня были основания предполагать, что Брэдбери был знаком если не с Сарояном, то по крайней мере с его произведениями. К этой мысли я пришел при сравнении творчества этих авторов, которое позволяет провести ряд параллелей между ними. Наряду с этим есть примеры, свидетельствующие о влиянии Сарояна на Брэдбери. У обоих авторов встречается тот же лирический герой — донкихотствующий, чудаковатый, незадачливый, эксцентричный, одержимый, самоотреченный. У Сарояна фермер мечтает облагородить калифорнийскую пустыню гранатовыми деревьями, а у Брэдбери герой занимается озеленением Марса. У Брэдбери одни персонажи изобретают Машину времени, другие Машину счастья, третьи мастерят «настоящую египетскую мумию» или «космическую» ракету. У Сарояна мальчики стараются оживить испорченные механизмы, с нетерпением ждут, когда из яйца спасенной ими курочки вылупится цыпленок, учатся играть на разных музыкальных инструментах. У Брэдбери герой мечтает о звездах, у Сарояна — восхищается величием Космоса.

Детство Сарояна и Брэдбери прошло в провинциальных городах Америки. Они создали циклы рассказов о своих родных городах и их обитателях, в основном детях. Детская тема у них зачастую неразрывно связана с этими городами. Сароян и Брэдбери воспевают мальчишеский задор, непоседливость, озорство, резвость. У Сарояна это цикл рассказов про Арама, Крикора и других, действие которых разворачивается во Фресно. У Брэдбери это серия рассказов про вымышленный город Гринтаун (он же родной г. Уокиган, штат Иллинойс). Как у Сарояна, так и у Брэдбери важная роль отведена философствующим детям, глазами которых оба автора смотрят на мир. В рассказах «Да и Аминь», «Наши друзья — мыши», «Проблеск фонарика», «Дуэль» сарояновские мальчишки формулируют законы жизни. У Брэдбери в «Вине из одуванчиков» главный герой, двенадцатилетний Дуглас Сполдинг, тоже делает свои открытия и выводы: «Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живу… А потом я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня это как-то ошеломило…» Все это, однако, не мешает Брэдбери иронизировать по поводу жизнелюбия и человеколюбия Сарояна, которые стали хрестоматийными в американской культуре и литературе. В рассказе «Бетономешалка» (1952) Брэдбери вкладывает в уста одного из героев следующие слова: «Это век заурядного человека, Билл. Мы гордимся тем, что мы маленькие человеки. Билли, перед тобой планета, кишащая Сароянами. Да, да. Мы — огромная, необъятная, раздобревшая семейка Сароянов — все всех любят». В другом рассказе, «И видеть сны» (1959), у Брэдбери идет принципиальный спор двух антагонистов: «— Я буду гулять, разглядывать скалы и их строение и думать о том, как здорово, что я живу, — сказал он.

— О, боги! — возопил его мучитель. — Уильям Сароян!» Даже сжатое изложение сходных черт Сарояна и Брэдбери позволяет говорить о духовом родстве этих авторов. А были ли они лично знакомы? Единственный, кто мог бы прояснить эту ситуацию, — сам Рэй Брэдбери, проживающий в Лос-Анджелесе. Я написал ему письмо, в котором полностью приводился текст сарояновской записки, и попросил рассказать, что было дальше. У меня не было уверенности, что он ответит, так как в последние годы состояние его здоровья ухудшилось и он перестал отвечать на письма.

Но Брэдбери ответил на удивление быстро. Вот полный текст его письма: «7 июня 2004 года

Уважаемый Арам Оганян: Благодарю вас за письмо с материалами об Уильяме Сарояне. Сароян написал мне, и я связался с ним; так совпало, что он занимал офис в доме номер 9441 по Вилширскому бульвару, в котором и я впоследствии арендовал рабочий кабинет. Я связался с ним, и мы очень хорошо провели время; я принес с собой все, какие у меня были, книги Сарояна, и попросил его подписать их, потому что читал его произведения по меньшей мере лет двадцать. После этого мы обедали вместе еще несколько раз, но крепкой дружбы так и не получилось, а только — вза-

имное восхищение. Так или иначе, это были очень приятные встречи, о которых я вспоминаю с большим удовольствием. Спасибо, что спросили меня об этом.

С наилучшими пожеланиями. [*подпись*] Рэй Брэдбери».

Итак, предположение оказалось верным — Брэдбери знаком с творчеством Сарояна и собрал целую коллекцию его книг. Примечательны слова Брэдбери о том, что до встречи с Сарояном он «по меньшей мере двадцать лет» читал его книги. И как видно из приведенных выше примеров, Сароян присутствует в его произведениях собственной персоной. Достойны внимания слова Брэдбери о «взаимном восхищении» и о неоднократных встречах. Очевидно, ничего сенсационного в этой истории нет, но она проливает свет на один из неизвестных эпизодов жизни Сарояна и уже этим интересна.

Однако творческое взаимодействие Сарояна и Брэдбери продолжается. В 2009 году Брэдбери издал очередной сборник рассказов «Париж всегда с нами». В одном из рассказов («Литературная встреча») описывается мужчина, попадающий под влияние прочитанных книг до такой степени, что меняется его поведение, настроение и речь. Например, когда он читает криминальные драмы Дэшила Хэммета, то начинает говорить сквозь зубы, как заправский детектив. А произведения, написанные в галантном восемнадцатом веке, привносят в его манеры свойственные той эпохе изысканность и учтивость. Его увлечение Сарояном совпало с ухаживанием за будущей женой, и его духовный настрой под воздействием задорно-бесшабашного сарояновского образа так вскружил ей голову, что она влюбилась и вышла за него замуж. Но вот в какой-то кризисный для семейных отношений момент жена предписывает мужу снова обратиться к Сарояну и читать его книги ежедневно всю оставшуюся жизнь как залог нерушимости брачных уз.

В числе авторов, у которых Брэдбери черпал вдохновение (Жюль Верн, Г. Уэллс, Эдгар По, Амброз Бирс и т. д.), он никогда не упоминает Сарояна. Теперь же он впервые отдает дань уважения Сарояну не в частном письме, а в своем творчестве.

Вообще, не так уж часто Сарояну посвящались литературные произведения, если не считать пародий и карикатур, среди которых есть даже пьеса «Любимчик». Одним из таких является роман «Уловка-22» Джозефа Хеллера, придумавшего литературный ребус — ассирийца капитана Йосаряна, который должен был олицетворять Сарояна с его программным рассказом «70 тысяч ассирийцев». Мало кто раскусил этот ребус, и, кажется, сам Сароян попался на эту удочку (а может, подыграл Хеллеру), громогласно возмущаясь в одном эссе тем, что человек с очевидно армянской фамилией Йосарян окрещен «ассирийцем». В романе Хеллера «Лавочка закрывается» Сароян выведен в роли персонажа, которому автор выражает свое восхищение и заодно раскрывает тайну «ассирийца» Йосаряна для тех, кто еще не догадался.

В этой истории важно, что существует духовная и нравственная связь между этими двумя выдающимися явлениями американской литературы, о которой давно догадывались Марта Фоли и другие литературоведы. Теперь же перед нами текстовое тому подтверждение.

Арам Оганян, Ереван, 2010

РЭЙ БРЭДБЕРИ

Литературная встреча

Все началось давно, но, пожалуй, она обратила на это внимание только в тот осенний вечер, когда Чарли выгуливал собаку и увидел ее по пути из бакалеи. Уже год, как они поженились, но встретиться случайно, словно незнакомцам, им еще не доводилось.

— Мари, как я рад тебя видеть! — воскликнул он страстно, схватив ее за руку.

Его черные глаза засверкали, и он глотнул полные легкие пряного воздуха.

— Жаль, какой вечер пропадает!

— Вечер что надо.

По дороге домой она молча смотрела на него.

— Октябрь! — вздохнул он. — Ах, как я люблю в него погружаться. Вкушать его, вдыхать, обонять. О, этот отчаянный, печальный месяц. Взгляни, как от него пламенеют деревья. В октябре полыхает весь мир. И вспоминаются все, кто ушел и больше не вернется.

Он крепко сжал ей руку.

— Минутку, собаке нужно остановиться.

Они постояли в прохладной тьме, пока собака тыкалась носом в дерево.

— Вдыхай же эти благовония!

Муж потянулся.

— В этот вечер я чувствую себя великаном, могу ходить семимильными шагами, срывать звезды, вызывать извержения вулканов.

— Твоя утренняя головная боль прошла? — тихо спросила она.

— Прошла. Раз и *навсегда*! Кто в такой вечер думает о головных болях! Послушай, как шелестит листва? Слышишь ветер в вышине осиротевших деревьев? Какая тоскливая пропащая пора. И куда мы, жалкие, неприкаянные души, бредем по кирпичным мостовым вздымающихся городов и крошечных городишек, что сотрясаются от рассекающих тьму поездов? Чего бы я не отдал, чтобы сорваться сегодня вечером в странствие, куда глаза глядят, оказаться в этой ночи, упиваться ее первозданностью и сладостной печалью.

— Может, прокатимся на троллейбусе в Чесман-парк, — предложила она, кивая, — тоже ничего поездка.

Он вскинул руку, чтобы медлительная собака пошевеливалась.

— Нет, я хочу сказать, *настоящее* путешествие! По мостам и холмам, мимо промозглых кладбищ и потаенных деревень, погруженных во мрак, где никто не догадывается о твоем приближении в ночи верхом на звенящей стали!

— Тогда можно отправиться по Северному побережью в Чикаго на выходные, — не сдавалась она.

Он сочувственно посмотрел на Мари в темноте и сдавил ее холодную ручку в своей лапище.

— Нет, — молвил он с возвышенной простотой. — Нет. — И обернулся. — Идем. Домой, на роскошный ужин. Хочу трапезу чревоугодника — три бифштекса! Редкие красные вина, тягучие соусы, дымящийся суп-пюре в супнице с послеобеденным ликером и...

— У нас свиные отбивные с горошком.

Она отворила переднюю дверь.

По пути на кухню она отшвырнула шляпу, которая приземлилась на раскрытый том романа «О времени и реке» Томаса Вулфа, что лежал под фонарем-«молнией». Бросив выразительный взгляд на мужа, она приступила к изучению картошки.

Миновали три ночи, во время которых он метался во сне, когда свирепствовал ветер. Пристально вглядывался в окно, дребезжащее от осенней бури. Затем успокоился.

На следующий вечер, войдя в дом после того, как она выходила, чтобы сорвать с бельевой веревки несколько простыней, она обнаружила его утопающим в кресле в библиотеке с сигаретой, прилипшей к нижней губе.

— Выпьешь? — спросил он.

— Да, — ответила она.

— Чего?

— Что значит, «чего»? — спросила она.

По его холодному бесстрастному лицу пробежала тень раздражения.

— Чего тебе налить? — сказал он.

— Виски.

— С содовой?

— Именно.

Она почувствовала, как ее лицо принимает то же выражение, что у него.

Он наклонился к шкафчику, извлек пару стаканов с вазу величиной и небрежно налил туда выпивку.

— Годится? — он протянул ей стакан.

Он посмотрела на стакан.

— Сойдет.

— Что на ужин? — холодно посмотрел он на нее поверх стакана.

— Бифштекс.

— Тонкими ломтями? — его губы сжались в ниточку.

— Да.

— Умница.

Он хохотнул с прохладцей и, не открывая глаз, опрокинул содержимое стакана в свой каменный рот.

Она подняла свой стакан:

— За удачу.

— Сама сказала.

Он пошарил глазами по комнате, что-то обдумывая лукаво.

— Повторить?

— Конечно, — сказала она.

— Молодчина, — сказал он. — Вот это по-нашенски.

Он плеснул ей в стакан содовой. И она взорвала тишину, как выстреливший водой брандспойт. Он вернулся, чтобы погрузиться, как ребенок, в колоссальное библиотечное кресло. Прежде чем уйти с головой в чтение «Мальтийского сокола» Дэшила Хэммета, он процедил сквозь зубы:

— Позовешь.

Она медленно покрутила в руках стакан, который смахивал на белого тарантула.

— Заходи на огонек, — ответила она.

* * *

Она понаблюдала за ним еще с неделю. Оказалось, что она все время хмурится, а несколько раз чуть не раскричалась.

Однажды вечером она следила за тем, как он сидит за ужином и говорит:

— Мадам, сегодня вечером вы выглядите как никогда изысканно.

— Благодарю вас.

И передала ему кукурузу.

— Нынче в конторе произошло прелюбопытное событие, — сказал он. — Заходил некий джентльмен, дабы справиться о моем здоровье. Я вежливо сказал ему: «Сэр, я пребываю в превосходном равновесии и не нуждаюсь в ваших

услугах». А он говорит: «О да, я представляю такую-то страховую компанию и желаю лишь вручить вам сей замечательный и абсолютно безукоризненный страховой полис». Короче, мы провели время в приятной беседе, и, в конце концов, сегодня вечером я стал счастливым обладателем нового полиса страхования жизни с возмещением в двойном размере и тому подобное, который защищает тебя — любовь моей жизни — при любых обстоятельствах.

— Очень мило.

— Возможно, тебе будет приятно узнать, — сказал он, — что за последние несколько дней, считая с вечера прошлого вторника, я открыл для себя безупречную интеллектуальную прозу Сэмюэля Джонсона и был очарован ею. На данный момент я прочитал до середины принадлежащую его перу «Жизнь Александра Поупа».

— Судя по твоим манерам, я так и предположила.

— Неужели?

Он учтиво держал перед собой нож и вилку.

— Чарли, — сказала она задумчиво. — Мог бы ты сделать мне одно большущее одолжение?

— Все что угодно.

— Чарли, ты помнишь то время, когда мы поженились в прошлом году?

— Конечно — все до единого сладостные, неповторимые мгновения нашего ухаживания.

— Тогда, Чарли, вспомни, какие книги ты читал, когда ухаживал за мной?

— Это существенно, моя дорогая?

— Еще как.

Он хмуро погрузился в раздумья.

— Не припоминаю, — наконец сознался он. — Но за вечер попытаюсь вспомнить.

— Не мешало бы, — настаивала она. — Потому что, видишь ли, мне бы хотелось, чтобы ты снова взялся за эти книги, не важно, какие, но те, что ты читал, когда мы повстречались. Тогда ты вскружил мне голову своим духом и настроением. Но с тех пор ты... изменился.

— *Я*? Изменился?

Он отшатнулся, как от пронизывающего сквозняка.

— Я бы хотела, чтобы ты снова начал читать те же книги, — повторила она.

— Но почему тебе этого захотелось?

— А вот потому.

— Поистине женская логика.

Он хлопнул себя по колену.

— Но я постараюсь тебе угодить. Как только вспомню, сразу перечитаю.

— И, Чарли, еще, пообещай читать их ежедневно до конца жизни.

— Ваше пожелание, сударыня, для меня закон. Передайте, будьте добры, мне соль.

Но он так и не вспомнил заглавия тех книг. Долгий вечер прошел, а она разглядывала свои руки, покусывая губы.

Ровно в восемь часов он вскочила и воскликнула:

— Вспомнила!

За считанные мгновения она оказалась в машине, которую вела по темным улицам в книжный магазин, где, смеясь, купила с дюжину книг.

— Спасибо! — сказала она продавцу. — Спокойной ночи!

Дверь захлопнулась с перезвоном колокольцев.

Чарли читал допоздна, иногда, добираясь до кровати на ощупь, ослепнув от книг, в три утра.

Теперь же, в десять вечера перед отходом ко сну, Мари прокралась в библиотеку, бесшумно разложила десяток книг рядом с Чарли и на цыпочках выскользнула наружу.

Она подсматривала в замочную скважину. Ее сердце колотилось. Мари не на шутку лихорадило.

Спустя некоторое время Чарли взглянул на письменный стол. Не веря своим глазам, посмотрел на новые книги, нехотя захлопнул Сэмюэля Джонсона и сидел, не зная, что делать.

— Ну же, — прошептала Мари в замочную скважину. — Ну же!

У нее сперло дыхание.

Чарли задумчиво облизал губы, затем неспешно протянул руку. Взяв одну из новых книг, он открыл ее, положил на стол и принялся за чтение.

Что-то неслышно напевая, Мари отправилась спать.

Наутро он ворвался в кухню с радостным возгласом:

— Приветствую тебя, красавица! Привет тебе, о прелестное, чудное, доброе, понимающее создание, населяющее этот большой необъятный сияющий мир!

Она радостно взглянула на него.

— Сароян? — вопросила она.

— Сароян! — провозгласил он.

И они сели завтракать.

2009

Банши

Это была одна из тех ночей, когда из Дублина едешь по Ирландии, проезжая через сонные городки, и тебе попадается мгла, и встречается туман, уносимый дождем, чтобы превратиться в текучую тишину. Вся местность замерла и продрогла в ожидании. То была ночь, когда случаются диковинные встречи на пустынных перекрестках, затянутых тугими волокнами призрачной паутины, а на сто миль — ни единого паука. Вдалеке на лугу скрипели ворота, в окна дробно стучался ломкий лунный свет.

Как здесь говорят, для банши лучшей погоды не придумаешь. Я чуял, я знал это, пока мое такси прогудело через последние ворота и я прибыл в «Кортаун-хаус», так далеко от Дублина, что если бы этот город вымер в ночи, никто б и не узнал.

Я расплатился с водителем и смотрел, как такси разворачивается, чтобы вернуться в живой город, оставляя меня наедине с последними двадцатью страницами сценария в кармане и с моим работодателем-режиссером, дожидающимся меня в доме. Я стоял в полночной тишине, вдыхая Ирландию и выдыхая мокрые угольные шахты моей души.

Затем я постучался в дверь.

Дверь распахнулась настежь почти мгновенно. За ней стоял Джон, протягивая мне шерри и втаскивая меня внутрь.

— Хорошо, малыш. Стаскивай пальто. Давай сценарий. Почти готов, да? Это *ты* так говоришь. Ты меня заинтриговал. Рад, что заехал из Дублина. В доме никого. Клара с детьми в Париже. Мы вдоволь начитаемся, разделаем в пух и прах твои сцены, раздавим бутылочку, можешь оставаться спать до двух и… *что* это было?

Дверь все еще была открыта. Джон шагнул, наклонил голову, закрыл глаза, прислушался.

По лугам шелестел ветер. В облаках слышался такой звук, словно кто-то заправляет покрывало на большущей кровати.

Я прислушался.

Раздался еле слышный стон и всхлип, откуда-то из черных полей.

Все еще с закрытыми глазами, Джон прошептал:

— Ты знаешь что это, малыш?

— Что?

— Потом скажу. Заходи.

Когда дверь захлопнулась, он — величавый владелец опустевшего имения — повернулся и зашагал впереди в своей охотничьей куртке, тренировочных рейтузах, начищенных полусапожках; его волосы, как всегда растрепанные ветром, от плавания вверх-вниз по течению, с незнакомками в случайных постелях.

Устроившись у библиотечного камина, он одарил меня своей ослепительной улыбкой, вспыхнувшей, как сполох маяка, и исчезнувшей, пока он угощал меня вторым шерри в обмен на сценарий, который ему пришлось вырывать у меня из рук.

— Ну, посмотрим, чем разродился мой гений, мой левый желудочек, моя правая рука. Сиди. Пей. Смотри.

Он стоял на каменных плитах близ очага и грел спину, листая рукопись, зная, что я пью свой шерри слишком быстро, жмурясь каждый раз, когда оброненная им страница, кувыркаясь, летела на ковер. Закончив читать, он отправил в полет последний лист, раскурил сигарку и выпустил дымок. Уставился в потолок, заставляя мне ждать.

— Сукин ты сын, — сказал он, наконец, выдыхая. — Хорошо написано. Черт бы тебя побрал, малыш. Здорово!

Мой скелет так и обрушился внутри меня. Я не ожидал такой сокрушительной похвалы под дых.

— Конечно, кое-что нужно подсократить!

Мой скелет встал на место.

— Конечно, — сказал я.

Он нагнулся, чтобы собрать листы, как большая прыгучая шимпанзе, и обернулся. Я почувствовал, что ему хочется швырнуть их в огонь. Он смотрел на пламя и сжал листы.

— Когда-нибудь, малыш, — сказал он тихо, — ты должен научить меня писать.

Теперь я успокоился, принимая неизбежное, исполненный истинного восхищения.

— Однажды, — сказал я, смеясь, — ты должен научить меня режиссуре.

— Сынок, *нашим* фильмом станет *Чудовище*. Вот это компания.

Я встал и подошел чокнуться с ними стаканами.

— Мы еще та компания! — он сменил тон. — Как жена, дети?

— Приехали и ждут меня на Сицилии, где есть тепло.

— Мы отправим тебя к ним, на встречу с солнцем без промедления! Я…

Джон картинно замер, вытянув голову, и прислушался.

— Э, да что тут творится… — прошептал он.

Я обернулся и ждал.

На этот раз, за стенами большого дома, раздался тончайший чистейший протяжный звук, словно кто-то провел ногтем по краске или кто-то скользит по сухому стволу дерева. Затем послышался чей-то слабый стон, после чего — нечто похожее на рыдание.

Джон подался вперед в нарочитой позе, как статуя в театральной пантомиме, разинув рот, словно впуская эти звуки во внутреннее ухо. Его глаза теперь раскрылись до размеров куриного яйца с выражением деланой тревоги.

— Сказать, что это за звук, малыш? Банши!

— Что? — вскричал я.

— Банши! — сказал он. — Духи старух, которые появляются на дорогах за час до чьей-то смерти. Вот *что* это за звуки! — Он подошел, поднял жалюзи и посмотрел в окно. — Ш-ш! Может, они… по *наши* души!

— Да брось ты, Джон! — тихо усмехнулся я.

— Нет, малыш, нет. — Он вперился в темноту, смакуя свою мелодраму. — Я живу здесь два года. Смерть повсюду. Банши всегда *знает*! Так на чем же мы остановились?

Джон вот так запросто разрушил чары, вернулся к очагу и уставился на сценарий, словно на новую головоломку.

— Ты когда-нибудь задумывался, малыш, насколько *Чудовище* похоже на меня? Герой бороздит моря, распахивает женщин налево и направо, мчится без передышки вокруг света? Может, именно поэтому я взялся за это дело. Ты когда-нибудь спрашивал себя, сколько у меня было женщин? Сотни! Я…

Он умолк, погрузившись в строки моего текста. Его щеки зарделись, и он сказал:

— Блестяще!

Я ждал в неопределенности.

— Нет, не это! — он отшвырнул рукопись и схватил номер лондонской «Таймс» с каминной полки. — Вот *это*! Замечательный обзор твоего нового сборника рассказов!

— Что? — вскочил я.

— Спокойно, малыш. Я *прочту* тебе этот отличный обзор! Ты будешь в восторге. Потрясающе!

Сердце мое дало течь и пошло ко дну. Я чуял, что готовится еще один подвох, или, что хуже, правда, замаскированная под розыгрыш.

— Слушай!

Джон взял «Таймс» стал читать, словно Ахав священную книгу.

— «Рассказы Дугласа Роджерса, вполне возможно, станут огромным достижением американской литературы»… — Джон прервался и бросил на меня невинный взгляд. — Как тебе это нравится, малыш?

— Продолжай, Джон, — сказал я замогильно. И залпом осушил свой шерри. Обреченный, я почуял, как крушится моя воля.

— «Но здесь, в Лондоне, — пропел Джон, — мы гораздо требовательнее к нашим рассказчикам сказок. Силясь перенять идеи Киплинга, стиль Моэма и остроумие Ивлина Во, он захлебывается где-то посредине Атлантики. Эта никчемная писанина, в основном — жалкое подобие великолепных писателей. Шли бы вы домой, Дуглас Роджерс!»

Я вскочил и подбежал, но Джон исподтишка бросил «Таймс» в огонь, в котором газета затрепыхалась, как умирающая птица, и быстро сгинула в пламени и реве искр.

Выведенный из равновесия, глядя вниз, я готов был в отчаянии выхватить проклятую газету из камина, но, в конце концов, испытал облегчение, когда она испепелилась.

Довольный Джон изучал мое лицо. Оно полыхало, зубы скрежетали. Рука стукнула о каминную полку холодным каменным кулаком.

Слезы брызнули из моих глаз, потому что мои страждущие губы были не в состоянии разразиться словами.

— Что с тобой, малыш? — Джон уставился на меня с неподдельным любопытством, как обезьяна, придвигающаяся к больной товарке по клетке. — Тебе плохо?

— Джон, ради всего святого! — взорвался я. — Зачем ты *это* сделал!

Я топнул по огню, развалив поленья и вызвав бурю искр в трубе.

— Послушай, Дуглас, я не думал…

— Плевать мне, что ты думал! — бушевал я, оборачиваясь, чтобы взглянуть на него заплаканными глазами. — Лучше скажи, *что* с тобой?

— Да ничего, Дуглас. Это был хороший обзор, замечательный! Я только прибавил пару строк от себя, чтобы тебя подразнить!

— Этого я уже не узнаю! — закричал я. — Посмотри!

Я нанес окончательный разметающий удар по пеплу.

— Можешь купить себе этот номер завтра утром в Дублине, малыш. Увидишь. Они тебя обожают. Просто я не хотел, чтобы ты зазнавался. Розыгрыш окончен. Разве мало, сынок, что ты только что написал самые лучшие сцены, когда-либо

написанные тобой за всю жизнь для твоего действительно замечательного сценария? — Джон положил руку мне на плечо.

В этом весь Джон: сначала врежет под ребра, потом выльет на тебя ушат дикого душистого меду.

— Знаешь, в чем твоя проблема, Дуглас? — он вложил в мои трясущиеся пальцы еще один шерри. — А?

— В чем? — разинул я рот, как плаксивый ребенок, готовый опять смеяться. — В чем?

— Дело в том, Дуглас… — лицо Джона засияло. Как гипнотизер Свенгали, он впился своими глазами в мои. — Ты не любишь меня, вот ни столечко, ни полстолечко!

— Брось, Джон…

— Нет, малыш, я *вполне* серьезно. Боже, сынок, да я готов ради тебя на убийство. Ты величайший из ныне живущих писателей, и я люблю тебя сердцем и душой. Поэтому я подумал, ничего страшного, если я буду немного подтрунивать над тобой. Теперь я понимаю, что ошибался…

— Нет, Джон, — запротестовал я, возненавидев себя, потому что теперь Джон заставлял извиняться *меня*. — Ничего страшного.

— Мне жаль, малыш, очень жаль…

— Заткнись! — хохотнул я. — Я все еще люблю тебя. Я…

— Вот это другое дело! Теперь… — Джон оглянулся по сторонам, сомкнул ладони, перетасовал страницы сценария, словно шулер. — Давай посвятим часок сокращению твоего блестящего, восхитительного сценария и…

В третий раз за ночь тональность и оттенок его настроения изменились.

— Тс-с! — цыкнул он. Глаза скосились, его колыхнуло посреди комнаты, как мертвеца под водой. — Ты слышишь, Дуглас?

Дом вздрогнул от ветра. Длинный ноготь скрипел по окну мансарды. Со скорбным шепотом облако обмывало луну.

— Это они, банши. — Джон кивнул, потупив голову в ожидании. Он резко поднял глаза. — Дуглас? Выйди, *посмотри*.

— Еще чего.

— Нет, выйди, — настаивал Джон. — Это ночь заблуждений, малыш. Ты сомневаешься во *мне*, сомневаешься в *этом*. Возьми мое пальто в коридоре. Ну же, быстрей!

Он широко распахнул дверцу стенного шкафа в коридоре, сорвал свое замечательное твидовое пальто, источавшее аромат табака и отменного виски. Зажав его в своих обезьяньих лапах, он держал его, как тореадор мулету.

— Ха, торо! Ха!

— Джон, — вздохнул я устало.

— Струсил, Дуглас, в штаны наложил? Ты…

Тут в четвертый раз из-за стылой входной двери мы оба услышали стенания, плач, угасающий ропот.

— Оно ждет, малыш! — торжествующе сказал Джон. — Выходи. Сыграй за *команду*!

Я стоял в пальто, охваченный табачными и алкогольными запахами, пока Джон с королевским достоинством застегивал пуговицы, взял меня за уши и поцеловал в лоб.

— Я буду на трибуне, малыш, подбадривать тебя. Я бы пошел с тобой, но банши — народец застенчивый. Благословляю тебя, и если не вернешься… Знай, я любил тебя как сына!

И вдруг Джон бросился между мною и хлеставшим ледяным лунным светом.

— Не ходи туда, малыш. Я передумал! Если ты погибнешь…

— Джон, — я оттолкнул его руки от себя. — Ты же *хочешь*, чтоб я туда пошел. Ты, наверное, подговорил свою девицу из конюшни, чтобы она издавала всякие звуки тебе на потеху…

— Дуглас! — закричал он с деланым пафосом оскорбленного, как это он умеет, закатывая глаза и хватая меня за плечи. — Клянусь!

— Джон, — сказал я, наполовину разозленный, наполовину заинтригованный, — до встречи.

Я выскочил за дверь и тотчас об этом пожалел. Джон захлопнул дверь и запер на замок. Уж не смеется ли он? Спустя секунды я увидел силуэт Джона в окне библиотеки, со стаканом шерри. Он вглядывался в ночное театральное представление, режиссером и веселым зрителем которого он был в одном лице.

Я молча ругнулся, втянул плечи в цезареву мантию, невзирая на два десятка кинжальных ударов, нанесенных мне ветром, и потопал по посыпанной гравием дорожке.

На все уйдет десять быстротечных минут, думал я. Заставлю Джона поволноваться, выверну его шутку наизнанку, вернусь, пошатываясь, в разодранной окровавленной рубашке и насочиняю всяких небылиц. Да, черт возьми, вот это будет розыгрыш…

Я остановился.

Потому что в рощице, чуть пониже, мне показалось, я видел, как нечто напоминающее большой бумажный змей всколыхнулось и унеслось прочь сквозь ограду.

Облака проплывали под почти полной луной и нагоняли на меня островки тьмы.

Затем все повторилось, еще дальше, словно целый куст цветов внезапно сорвался и метелью улетел вдоль бесцветной тропинки. В тот же миг раздалось чистейшее рыдание, пронзительный стон, словно скрип двери.

Я вздрогнул, отпрянул и взглянул на дом.

И увидел, конечно же, Джона, потягивающего шерри в тепле и покое, с физиономией, оскаленной, как тыква в праздник Всех Святых.

— О-о… — простонал где-то чей-то голос. — Боже…

Только тогда я заметил женщину.

Она стояла, припав к дереву, одетая в длинное платье, залитое лунным светом, поверх него была накинута достававшая до колен тяжелая шерстяная шаль, которая жила своей жизнью, развевалась, колыхалась и морщилась от непогоды.

Похоже, она не видела меня, а если и видела, не обращала внимания. Я не мог напугать ее. Ничто на свете не способно было напугать ее. Ее сверлящий неотвратимый взгляд был прикован к дому, к окну, библиотеке, к силуэту человека в окне.

Ее лицо было словно вылеплено из снега, высечено из белого прохладного мрамора, из которого сложены самые изысканные ирландки. Длинная лебединая шея, пухлые, хоть и подрагивающие губы и зеленые глаза, наполненные мягким свечением. Так прекрасны были эти глаза и ее профиль на фоне раскачивающихся ветвей дерева, что во мне что-то встрепенулось, сжалось и умерло. Я ощутил ту убийственную боль, которую испытывают мужчины, когда красота проходит мимо и никогда не пройдет снова. Хочется закричать: «Постой! Я люблю тебя». Но ты молчишь. И лето, воплощенное в ней, безвозвратно уходит.

Но теперь заговорила красавица, пристально смотревшая в окно того далекого дома.

— Он там? — сказала она.

— Что? — услышал я свой голос.

— Это он? — поинтересовалась она. — Чудовище, — сказала она в тихой ярости. — Зверь. Собственной персоной.

— Я не…

— Животное, — продолжала она, — о двух ногах. Он остается, а другие уходят. Все уходят. Он потирает руки о плоть. Девушки служат ему салфетками. Женщины — полночным ужином. Он их держит штабелями в винных погребах, знает, какая из какого года, но не знает имен. Боже праведный, это *он*?

Я посмотрел туда же, куда она, на тень в окне, далеко за крокетной лужайкой.

И представил своего режиссера в Париже, Риме, Нью-Йорке, в Голливуде, волны, потоки женщин, по которым ходил Джон, отпечатывая следы своих ног на их коже — темный Христос, шагающий по теплому морю. Пиршество из женщин, отплясывающих на столах, ожидающих аплодисментов, и Джон, уходя, говорит: «Дай мне взаймы пятерку. Этот нищий у дверей разрывает мое сердце».

Я посмотрел на эту молодую женщину, черные волосы которой трепал ночной ветер, и спросил:

— Кто бы это *должен* быть?

— Он, — ответил она. — Тот, кто здесь живет, кто любил меня, а теперь не любит. — Она закрыла глаза.

— Он здесь больше не живет, — сказал я.

— Нет, живет! — вскинулась она на меня, словно собиралась ударить или плюнуть. — Почему ты мне лжешь?

— Послушай, — я смотрел на свежий, но какой-то состарившийся снег ее лица. — Это было в другое время.

— Нет. Есть только *сейчас*! — Она словно собиралась броситься к дому. — И я все еще люблю его, так сильно, что готова убить за это и погубить себя, в конце концов!

— Как его имя? — я преградил ей дорогу. — *Имя*?

— Вилл, конечно, Вилли. Вильям!

Она зашевелилась. Я поднял руки и покачал головой.

— Теперь здесь живет Джонни. Джон.

— Врешь! Я чую, что он здесь. Имя изменилось, но это *он*. Смотри! Ощути!

Она выставила руки, прикоснувшись к ветру, дувшему в сторону дома. И я повернулся и ощутил ветер вместе с ней, и настал другой год, время в промежутке. Так сказал ветер, и подтвердили ночь и свет в большом окне, где стояла тень.

— Это он!

— Мой друг, — сказал я мягко.

— Никому не друг, никогда!

Я попытался всмотреться в ее глаза и думал: «Боже, неужели так было всегда, вечно один и тот же человек в доме, сорок, восемьдесят, сто лет назад! Не тот же самый, но все они темные близнецы, и эта заблудшая девушка на дороге с руками из снега вместо любви, морозом в сердце вместо покоя, и ничего не поделаешь, только ее шепот и причитания, скорбь, стоны и плач, стихающие на рассвете, чтобы начаться вновь с восходом луны».

— Там мой друг, — сказал я снова.

— Если это правда, — злобно прошипела она, — тогда ты мой враг!

Я посмотрел на дорогу, где ветер гнал пыль через кладбищенские ворота.

— Уходи, откуда пришла, — сказал я.

Она взглянула на ту же дорогу и пыль, и ее голос поник.

— Значит, не будет мне покоя? — скорбела она. — Что же, я буду бродить из года в год и не будет возмездия?

— Если тот человек действительно твой Вилл, — сказал я, — твой Вильям, что бы ты хотела, чтоб я сделал?

— Пришли его ко мне, — сказала она спокойно.

— Что ты с ним сделаешь?

— Возлягу с ним, — пробормотала она, — и никогда больше не встану. Удержу его, как камень в холодной реке.

— А-а, — сказал я и кивнул.

— Ну так ты скажешь ему, чтобы он пришел?

— Нет. Ибо он не твой. Очень похож. Почти один к одному. И закусывает девушками, и рот вытирает их шелками. В один век его зовут так, в другой — эдак.

— И никогда никого не любил?

— Он бросается этим словом, как рыбак, забрасывающий сети в море, — сказал я.

— Ах, а я в них попадаюсь! — И тут она так застонала, что тень в большом доме на лужайке подошла к окну. — Я останусь тут до конца ночи, — сказала она. — Конечно же, он почует, что я здесь, его сердце растает, и не важно, как его зовут или насколько прогоркла его душа. Какой сейчас год? Сколько я уже прождала?

— Не скажу, — ответил я. — От этого у тебя разобьется сердце.

Она повернулась и посмотрела уже на меня.

— Так ты один из порядочных, благородных людей, которые никогда не лгут, не причиняют боль, не прячутся? Боже, почему я не встретила тебя первого!

Поднялся ветер, его вой усилился в ее горле. Где-то далеко в спящем городе ударили часы.

— Мне пора идти. — сказал я. Я сделал вдох. — Могу ли я подарить тебе покой?

— Нет, — сказала она, — ведь не ты же меня погубил.

— Понимаю, — сказал я.

— Ничего ты не понимаешь. Но пытаешься. Премного благодарна тебе за это. Иди домой. А то умрешь.

— А ты..?

— Ха-а! — хохотнула она. — Я уже давно померла. И второй раз не умру. Иди!

Я с радостью пошел. Я уже досыта отведал и промозглой ночи, и белой луны, пресытился древностью и ею. Ветер подгонял меня в спину вверх по поросшему травой холму. У двери я обернулся. Она была еще там, на млечном пути, ее шаль раскинула крылья на ветру, одна рука была поднята.

— Поторопись, — прошептала она, а может, мне померещилось. — Скажи ему, что он тут нужен!

Я забарабанил в дверь, ввалился в дом и растянулся на полу в коридоре, мое сердце колотилось, мое отражение в большом коридорном зеркале походило на удар бесцветной молнии.

Джон в библиотеке потягивал очередной шерри. Он налил и мне.

— Когда-нибудь, — сказал он, — ты научишься не принимать все, что я говорю, безоговорочно на веру. Боже, посмотри на себя! Ледышка. Выпей. А это вдогонку!

Я выпил. Джон налил. Я выпил.

— Так это все была шутка?

— А что же *еще*? — рассмеялся Джон. Потом перестал.

Снаружи опять раздалось протяжное стенание. Словно луна поскреблась о крышу когтем скорби.

— А вот и твоя банши, — сказал я, разглядывая свой стакан, не в силах пошевелиться.

— Да, да, конечно, Дуглас, у-гу, — сказал Джон. — Пей, малыш, а я прочитаю тебе еще раз замечательный обзор твоей книги в лондонской «Таймс».

— Ты сжег ее, Джон.

— Конечно, малыш, но я помню ее, как сегодня утром. Пей.

— Джон, — сказал я, глядя на огонь, на камин, где пепел сожженной бумаги сдувало горячее дыхание. — Этот обзор действительно существует… существовал?

— Боже мой, ну, конечно. Вообще-то… — тут он замолчал и притворился, будто что-то воображает. — В «Таймсе» знали, как я тебя люблю, Дуглас, и попросили написать обзор твоей книги. — Джон протянул длинную руку, чтобы налить себе еще. — Я написал. Под вымышленным именем, разумеется. Ну разве это не мило с моей стороны? Но я должен был быть объективным, Дуглас. Вот и написал, что действительно считаю удачей, а что не считаю. Я критиковал точно так же, как если бы ты принес мне паршиво написанный эпизод сценария,

а я велел его тебе переписать. Ну как, разве мой поступок не был чертовски сногсшибательно-неподражаем?

Он придвинулся ко мне. Взял меня за подбородок, приподнял его и долгим слащавым взглядом посмотрел мне в глаза.

— Ты не огорчен?

— Нет, — сказал я, но голос у меня дрогнул.

— Ну раз не огорчен. Извини. Шутка, малыш. Всего лишь шутка.

И он по-дружески ткнул меня в плечо.

Каким бы легким ни был этот тычок, мне показалось, что это кузнечный молот.

— Надеюсь, ты не придумал эту шутку, статья действительно существует, — сказал я.

— Я тоже надеюсь, малыш. Ты плохо выглядишь. Я…

Ветер носился вкруг дома. Окна прогибались и потрескивали.

И вдруг я сказал, безо всякой причины:

— А банши-то там.

— Это был розыгрыш, Дуглас. Тебе следует быть со мной начеку.

— Нет, — сказал я, выглядывая из окна. — Банши там.

Джон засмеялся.

— Ты видел ее, да?

— Молодая красивая женщина в шали холодной ночью. Молодая женщина с черными волосами, большими зелеными глазами, белоснежной кожей и гордым финикийским носом. Никого тебе не напоминает из твоих знакомых, Джон?

— Их тысячи, — засмеялся Джон, уже потише, взвешивая свою шутку. — Черт…

— Она ждет тебя, — сказал я. — В начале дорожки.

Джон посмотрел неопределенно на окно.

— Эти вот звуки мы и слышим, — сказал я. — Она описала тебя или кого-то наподобие тебя. Назвала тебя Вилли, Виллом, Вильямом. Но я-то *знаю*, что это ты.

Джон задумался.

— Молодая, говоришь. Красивая. И сейчас стоит прямо там.

— Самая красивая, какую мне только приходилось видеть.

— Без ножа..?

— Безоружна.

Джон вздохнул.

— Ну, думаю, мне надо пойти и поболтать с ней, а, как ты думаешь?

— Она ждет.

Он двинулся к двери.

— Надень пальто. Холодно, — сказал я.

Он натягивал пальто, когда я услышал доносившийся снаружи звук, очень отчетливый на этот раз. Рыдания, стоны, потом снова рыдания.

— Боже, — сказал Джон, держа пальцы на ручке двери, не желая показывать, что побаивается. — Она *действительно* там.

Он заставил себя повернуть ручку и открыть дверь. Со вздохом ворвался ветер и принес еще один слабый стон.

Джон стоял на холодном ветру, вглядываясь в длинную тропинку в темноте.

— Постой! — закричал я в последний момент.

Он остановился.

— Одного я тебе не поведал, — сказал я. — Она там. И ходит, но… она мертва.

— Я не боюсь, — сказал Джон.

— Да, не боишься, — сказал я. — Но я боюсь. Ты больше не вернешься. Хоть я тебя и возненавидел. Я не могу тебя отпустить. Закрой дверь, Джон.

Опять стон, опять рыдания.

— Закрой дверь.

Я дотянулся, чтобы столкнуть его пальцы с дверной ручки, но он держал ее цепко, задрав голову, посмотрел на меня и вздохнул.

— Ты действительно отличный парень. Почти как я. Я беру тебя в свой следующий фильм. Ты станешь звездой.

Затем он повернулся, ступил в ночной холод и тихо прикрыл за собой дверь.

Я ждал, пока не услышал его шаги по гравию, потом запер дверь и поспешил в дом, выключая свет. Проходя мимо библиотеки, я услышал, как ветер скорбно завывает в трубе и разбрасывает черный пепел лондонской «Таймс» по камину.

Я долго стоял, уставившись на пепел, затем встряхнулся, побежал наверх, перепрыгивая через две ступеньки, распахнул дверь в мою башенную комнату, захлопнул, разделся и зарылся в одеяла. Тут ударили часы, где-то далеко, в глухой ночи.

Моя комната была так высоко, затеряна в доме и в небе, что неважно, кто или что стучалось, или билось, или колотилось в дверь, там внизу, с шепотом, затем, с мольбой и воем…

Кто услышит?

Тролль

В стародавние времена, когда «хотеть» не означало «иметь», жил да был под мостом некий старикан. Он обитал там столько, сколько помнили люди.

— Я — Тролль, — говаривал он.

Когда по мосту у него над головой проходили пешеходы, он их окликал:

— Стой, кто идет?

Когда ему отвечали, он требовательно вопрошал:

— Куда?

И когда называли пункт назначения, он интересовался:

— Ты хороший человек, добрый?

И, услышав в ответ «да, да», пропускал.

Он пользовался весьма своеобразной славой у жителей деревни, которые советовали:

— Навестите Тролля. Не бойтесь. Он не так страшен, как его малюют. И бывает занятным, когда узнаешь его поближе.

В летние деньки дети свешивались с каменного парапета моста и кричали в прохладную пустоту:

— Тролль, тролль, тролль!

И эхо выстреливало гулко и отчетливо: «Тролль, тролль, тролль...» И показывалось его отражение в медленно текущей воде — старая недовольная перекошенная личина — спутанная зеленая борода, сплетенная из мха и молодых тростинок; казалось, у него зеленые мшистые брови и восковые заостренные уши. У него были заскорузлые когтистые лапы, а мокрое, лоснящееся обнаженное тулово с налетом патины скрывали тростник и зеленая трава.

И его отражение отвечало им из воды:

— Чего надо?

— Раков, тролль.

— Улиток, тролль.

— Головастиков, тролль.

— Сверкающих камушков, тролль.

И если они отходили в сторонку и не подглядывали, то по возвращении находили на парапете отборных расползающихся раков, медлительных улиток, пригоршню извивающихся головастиков и сверкающие розовато-бело-голубые камушки из самого глубокого места на речке.

— Ух ты, спасибо, тролль.

— Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, тролль, — раздавались в зеленой прохладе среди теней детские голоса.

Кап-кап-кап, капала влага. И в ответ молчание. Вода скользила под мостом в летнем времени-пространстве, и дети уходили восвояси.

Но в один погожий летний день, когда тролль под мостом нежился на солнышке, жмурясь от удовольствия, и слушал, как журчит вода между его копытами, раздался оглушительный гудок клаксона, и нечто прогромыхало по мосту.

— Какой-то олух на новой машине, — пробурчал Тролль. — Вот дуралей. Ведь мог бы все лето провести здесь, внизу, любоваться игрой бликов и света в зеркале реки и подставлять ласковой воде руку или копыто. Что за суетливые болваны живут в этом знойном мирке!

Не прошло и минуты, как он услышал на мосту шаги двоих людей, судя по походке, мужчин. Один из них говорил:

— Видал красный «ягуар»? Ну и скорость!

— Знаешь, кто это? Наш чокнутый психиатр! Ты бы видел его новый офис в самом современном здании в центре города. Вчера вечером он разглагольствовал по телевизору, что заявился сюда выковыривать нас, психов, из скорлупы, вылечивать от неврозов и водворять на место или что-то в этом роде.

— Да уж, — сказал второй. — Что-что, а подать себя он умеет. Носится, как пожарная машина!

— Верит в самовыражение. Никаких фрустраций. Так и сказал. Громко и внятно.

Голоса удалились.

Тролль слушал вполуха с закрытыми глазами, не принимая сказанное близко к сердцу. Впереди его ожидало долгое восхитительное лето в этом городке на среднем западе. Когда же зима заморозит ручей до состояния матового стекла, он беззаботно поплывет на юг, словно пучок мха и тростника, позволяя воде нести себя к морю, и проведет несколько весенних месяцев в ручье под каким-нибудь мостом. Ему не так уж плохо жилось. Он курсировал с места на место, пользовался уважением, и время от времени (тут он облизнулся) ему попадался какой-нибудь разбойник, ворюга, отпетый мерзавец, и тогда общество благодарило его за предложенные и оказанные услуги. Он представлял себя чем-то вроде сита, которое отделяет темные силы от светлых. Душегубов он чуял по походке за сорок шагов. И никому из них не суждено было беспечно пережить лето, которое внезапно оборачивалось погибелью.

Эти размышления заставили его встряхнуться и призадуматься:

— Почему, — недоумевал он, — за весь июнь, за весь июль мне не попался ни один сто́ящий подонок? Скоро август, а я вынужден обходиться лягушачьей мелюзгой да раками. Какой-то голодный паек. Приличным обедом и не пахнет. Где, я вас спрашиваю, где черная плоть и порченая кровь классического негодяя?

Не успел он выговорить сие подобие молитвы, как услышал далекие голоса и решительный, вызывающий топот ног, бегущих по мостовой.

— На вашем месте я бы держалась подальше от этого места, — предупредил женский голос.

— Глупости! — сказал мужской голос. — Я сам разыщу этого так называемого тролля. Обойдусь и без вас.

«Так называемого тролля». Тролль аж остолбенел.

Спустя мгновение из-за парапета моста высунулась голова. Пара безумных черных, словно лакрица, глаз уставилась вниз.

— Тролль! — завопил незнакомец. — Где ты там?

Тролль чуть не бултыхнулся в воду и, пошатываясь, убрался в прохладную тень.

— Так тебя прозвали деревенские простофили? — не унимался наверху странный субъект. — Или же ты сам себе выдумал прозвище, чтобы запугивать прохожих и вымогать у них денежки?

Тролль был так ошеломлен, что лишился дара речи.

— Ну же, подай голос, вылезай, игра окончена. Хватит ломать комедию! — кричал чужак.

Наконец Тролль высунулся из укрытия и взглянул вверх на голосистого типа, парившего в сиянии полуденного солнца.

— А ты сам-то кто будешь? — пробормотал Тролль.

— Я доктор Кроули. Заслуженный психиатр. Вот кто, — выпалил горластый пришелец с пунцовой от висения вниз головой физиономией. — И поскольку эта поза мне не к лицу, почему бы тебе не выйти на свет божий? Поговорим как мужчина с мужчиной.

— Мне не о чем с тобой говорить, доктор Кроули.

Тролль погрузился в воду.

— Тогда хотя бы назови свое имя, — гаркнул психиатр.

— Тролль.

Доктор проигнорировал его:

— Нечего морочить мне голову! Как твое настоящее имя?

— Ладно, я «Летний Тролль из-под Моста»... Или, если тебе нужно мое полное имя — «Летний Тролль из-под Зеленого Замшелого Моста».

— Когда это случилось с тобой в первый раз? — раздраженно спросил доктор.

— Что случилось?

— Ну, это сидение под мостами. В детстве?

— Я всю жизнь просидел под мостами.

— Понятно.

Лицо исчезло. Наверху заскрипело перо. Голос пробормотал: «Всю жизнь просидел под мостами». Обливающееся потом лицо высунулось опять.

— Ты часто убегал из дому от братьев-сестер?

— От каких еще, к черту, братьев-сестер? — изумленно вскричал Тролль. — У меня и дома-то отродясь не было.

— Ага. — Лицо опять убралось. Голос забормотал, перо заскрипело. — Сирота. Социально обездоленный.

Как марионетка с оборванными нитками, доктор свесился с моста:

— Чем тебя привлекают мосты больше всего? Тенями, скрытностью? Укромными местечками? Да?

— Нет, — раздраженно отвечал Тролль. — Просто мне здесь нравится.

— Нравится! — воскликнул психиатр. — Ничего не может просто нравиться. У всего есть свои корни! Ты, наверное, страдаешь комплексом возврата в материнскую утробу, отчужденностью от общества, паранойей, комплексом вожака. Вот! Именно! Ты прячешься внизу и вопишь на каждого встречного. Я тебя раскусил. За этим я и приехал издалека, чтобы изучить тебя и этих деревенских с их суевериями. Но больше всего — тебя!

— Меня?

— Да. Ходят слухи про местного тролля, который донимает каждого встречного дурака вопросами вроде: «Ты с добром пришел или со злом?»

— И что в этом плохого? — потребовал объяснений Тролль.

— Дружище, ведь общеизвестно, что нет такой дихотомии «добро — зло». Все относительно.

— Виноват, — сказал Тролль. — Я смотрю на вещи иначе.

— Ты учитываешь фактор среды, когда требуешь, чтобы люди отвечали, хорошие они или плохие?

Тролль брезгливо фыркнул.

— А наследственность? Ты изучаешь генетику тех, кого ты якобы поедаешь? Ты что же, ешь людей?

— Ем.

— Молчи! Тебе так только кажется. Это продолжение твоей озабоченности исцелением человека от так называемых грехов. Ты воображаешь, будто, пожирая

людей, ты перевариваешь их преступления. На самом же деле каждый раз, когда исчезает какой-нибудь местный воришка, ты внушаешь себе, что ты его съел.

— А кто же еще?

— Без комментариев. Итак, давно ты тут скрываешься?

— Сто лет.

— Чушь! Тебе в лучшем случае лет семьдесят. Когда ты родился?

— Я не родился. Я просто возник. Из перебродившего слипшегося тростника, раков, улиток, травы и кучи мха. Здесь, в тени утеса. Сто лет назад. Вот так-то.

— Весьма романтично, но совершенно для меня бесполезно, — заявил психиатр.

— Кто тебя звал?

— Ну, откровенно говоря, я прибыл по своей инициативе. Ты заинтриговал меня как невротическая манифестация в рамках культурной традиции.

— Док, ты собираешься висеть у меня над душой и уверять, будто я не сделал ничего хорошего? — возопил Тролль, да так, что эхо завыло. — Ты пришел, чтобы я усомнился в своем призвании и затосковал?

— Нет, нет. Я просто пришел помочь тебе подняться и преуспеть в жизни. Чтобы ты мог существовать в этом мире и быть счастливым.

— Я и так счастлив и живу в свое удовольствие. Проваливай!

— Тебе так только кажется. Я буду каждый день приходить к тебе на собеседование, пока не разрешу твою проблему.

— Это твоя проблема. — Тролль затрясся, высекая копытами искры из камней. — Док, в прошлом году по мосту шел очень плохой человек, который убивал и грабил людей. Я спросил: «Ты хороший или злодей?» А он думал, что если скажет правду, то я не догадаюсь, что он говорит правду, и сказал мне с ухмылкой: «Злодей». Через минуту мост опустел, и я принялся за свою трапезу. И ты мне теперь говоришь, что я был не прав, когда освежевал его и обглодал косточки?

— Как! Без того, чтобы изучить его жизнь, истосковавшуюся по любви юность, его изголодавшееся «эго», потребность в любви, утешении и поддержке?

— А я вот ужасно его полюбил. Я прямо-таки наслаждался *им*. Если я тебе скажу, что за свою жизнь я съел на завтрак десяток тысяч таких гадов, что тогда, доктор? — поинтересовался Тролль.

— Тогда я скажу, что ты патологический лжец.

— А если я это докажу?

— Значит, ты убийца.

— Хороший или плохой?

— Что?

— Хороший или плохой убийца, доктор Кроули?

Лицо доктора залил пот.

— Здесь ужасно жарко.

— Твои щеки действительно покраснели. Сколько тебе лет, Кроули? Видно, сердце у тебя пошаливает. Тебе лучше не болтаться слишком долго с грифельной доской. Отвечай на мой вопрос: я хороший убийца или плохой?

— Ни то, ни другое! У тебя было одинокое детство. Очевидно, много лет назад ты нашел здесь убежище, чтобы навязать себя городу в качестве деспотичного блюстителя нравственности.

— Город жаловался?

Молчание.

— Так жаловался или нет?

— Нет.

— Они довольны моим присутствием, разве не так?

— Дело не в этом.

— Они довольны. И за тобой не посылали.

— Ты нуждаешься во мне, — сказал доктор Кроули.

— Да, наверное, — сказал, наконец, Тролль.

— Ты признаешь это?

— Да.

— Ты будешь у меня лечиться?

— Да. — Тролль ушел в тень.

Лицо доктора покраснело и покрылось обильной испариной.

— Вот и славно! Но до чего же тут жарко!

Его очки горели на солнце.

— Глупец, — прошептал Тролль. — С какой стати я бы тут сидел? Даже в самый жаркий день здесь холодно, как в погребе. Спускайся.

Психиатр колебался.

— Пожалуй, разве что, — проговорил он, наконец, — ненадолго.

Его ступни соскользнули с края моста.

Вечером по мосту проходили трое ребятишек.

— Тролль, тролль, — позвали они.

— Тролль, тролль, — пропели они.

— Тролль, тролль, тролль.

— Дай нам камушков, ракушек, лягушек. Тролль, тролль, подари нам что-нибудь хорошее, тролль.

Они ушли, потом вернулись.

И на парапете моста в лужице прохладной водицы лежала влажная ракушка, головастик, грифельная доска, сверкающие очки в серебряной оправе.

Под мостом ручей безмолвно нес свои воды. Когда дети перегнулись через ограждение, чтобы прокричать «Тролль, тролль!», они заметили ленивое, прохладное месиво из зеленых тростинок, зеленой травы и зеленого мха, влекомое течением, медленно, но верно плывущее на юг. А тем временем небеса затягивало тучами, и птицы выписывали в небе круги, и в воздухе впервые запахло осенью.

1950—1991



УИЛЬЯМ САРОЯН

Наджари Левон рассказывает юным американцам, как на старой родине уживались со змеей

Наджари Левон пожаловал к Араму в дом на Ван-Несс авеню за юридической консультацией по личному делу, но поскольку Арам еще не пришел, старика с химерической внешностью попросили устроиться поудобнее и подождать.

На устланном линолеумом полу застекленной веранды он увидел двух маленьких сыновей и двух маленьких дочерей Арама; они во что-то играли и записывали карандашиком счет на дощечке. Он подошел к ним посмотреть.

На большой доске раскручивали металлическую стрелку, и если она останавливалась напротив изображения яркой звезды, то игрок получал десять очков. Но прямо рядом со звездой находилась маленькая зеленая змея, и если стрелка показывала на нее, игрок терял десять очков.

Счет записывал первенец Арама, мальчуган лет десяти-одиннадцати.

— Звезда, — сказала старшая дочурка Арама.

Но рефери возразил сестре, что стрелка встала на черте, причем, ближе к змее, чем к звезде.

— Змея, — объявил он и взялся за карандаш, чтобы занести счет на доску. Его сестра выбила у него из рук доску и карандаш.

— Звезда!

И началась потасовка.

Наджари Левон сказал по-армянски:

— У нас дома в Битлисе жила большущая черная змея — наша фамильная змея.

Драчуны перестали тузить друг друга и прислушались.

— Всякой уважающей себя семье полагалось иметь свою змею. Дом считался неполноценным, если в нем не было змеи, ибо длинная змея, ползающая за стенами, не давала угаснуть семейному очагу.

Мальчик и девочка забыли про ссору, и он продолжил:

— Наша змея была наделена великой мудростью. Она считалась старейшей семейной змеей в Битлисе.

Рефери лег на живот, растянувшись по полу неподалеку от карандашика, выпавшего во время потасовки.

— А вы *видели* змею? — полюбопытствовал он.

Рассказчик взглянул на зеленый карандаш, потом на мальчика.

— Да, я видел змею. Ее нора находилась в каменной стене под потолком комнаты, в которой я спал. Вход был размером с блюдце — в самый раз для того, чтобы змея смогла в него проползти. По вечерам, лежа в постели, я смотрел на дыру и видел, как змея сверху разглядывает меня.

— А насколько она высовывалась из норы?

— Она высовывала только голову, потому что уже было поздно и ей тоже пора было почивать.

— А вы когда-нибудь видели ее целиком?

— Да, разумеется.

— Какого она была размера?

— Ее толщина равнялась поперечнику блюдца. У нее было утонченное, очень чувственное лицо, большие глаза; не маленькие, как у англичан, а большие, как у армян и курдов. И задумчивый рот, как у Джона Д. Рокфеллера, но язык у него, конечно, не такой, как у змеи. Хотя, как знать, ведь в газете я видел только Джона Д. Рокфеллера, а не его язык.

— Вы видели жало змеи?

— И не раз. Она выбрасывала его вперед и втягивала назад, как слова, но, разумеется, на своем языке, а не на нашем.

— Какой она была длины?

— Десять тростей. Рост нешуточный.

— Что она делала там, за стеной?

— Жила. Ее дом находился по ту сторону каменной стены, а наш дом — по эту. Но, конечно, такого деления на «ее» и «наше» не существовало. Весь дом принадлежал нам, и весь дом принадлежал ей, но проживала она за стеной. Зимой я ее не видел и почти забывал о ее существовании. Но однажды весенним вечером я обратил взор на ее дверцу, и она снова оказалась там. Змея заговаривала со мной, но я отвечал: «Давай не сейчас, потому что уже поздно и пора спать, приползай утром, и я дам тебе чего-нибудь поесть». И вот утром…

— Что она ела?

— Молоко. По утрам я наливал ей молока, не в те суповые пиалы, что подают тщедушным людям, а в большую миску для здоровяков. Мама спрашивала, куда я несу молоко, и я отвечал: «Мама, я несу миску с молоком змее». Вся наша семья до единого человека — мужчины, женщины и дети — собиралась в моей комнате посмотреть на змею, ибо если в доме поселилась змея, это — «*баракят*». Все пришли в мою комнату и ждут, когда появится змея. Тридцать три человека — мужчин, женщин и детей, вместо тридцати четырех, потому что зимой умер мой дедушка Седрак.

— Змея появилась? — спросил мальчик, лежа на полу.

— Я взял миску с молоком и поставил в угол напротив ее норы, чтобы змея высунулась в полный рост из норы, спустилась по стене и проползла по полу. Тогда все тридцать три члена нашей семьи смогут узреть ее во всей красе, от головы со ртом, как у Джона Д. Рокфеллера, и с глазами не в пример маленьким глазкам англичан, а с большими глазами, как у армян и курдов. Я поставил миску на пол и посмотрел на нору, но змея не появилась. Тогда я обратился к змее и сказал: «Севавор, я поставил миску с молоком на пол в углу комнаты. Выходи из норы, спускайся по стене, проползи по полу и поешь. Зиме конец. Наступила весна».

— Она спустилась?

— Змея подползла к дверце посмотреть, кто это окликнул ее, кто ее зовет, я или кто-то другой. Так что, когда змея выглянула, я сказал: «Не волнуйся, Севавор, это я, Левон, твой друг. С тобой говорит Наджари Левон». Змея посмотрела на меня, а затем обвела взглядом всех и каждого, кто находился в комнате, но спускаться не стала. Не стала спускаться, потому что нас было не тридцать четыре, а тридцать три. Вот почему змея не стала спускаться. Я сказал: «Севавор, зимой дедушка Седрак умер, поэтому нас уже не тридцать четыре, а всего тридцать три, но две наши невестки беременны, и в августе нас будет больше, чем тридцать четыре, — тридцать пять, а если одна из них родит двойню, нас станет тридцать шесть, а если обе родят по двойне, то тридцать семь. В роду Наджари будет тридцать семь душ. Так что, Севавор, вылезай, спускайся по стене, проползи по полу к миске, что стоит в углу».

— Спустилась?

— Очень медленно. Вот, как движется моя рука, змея выползла из дыры, медленно спустилась по стене, вот так. На одну десятую длины своего черного тулова. Медленно-медленно сползла по стене, на две десятые длины. Ужасно голодная, очень старая и премудрая. На три десятых длины. Очень черная. На четыре десятых длины, пять десятых, шесть десятых. Теперь ее голова лежала на полу. Вот так. Но хвост все еще скрывался за стеной. Весь род Наджари следил и ждал. Змея медленно извивалась по полу, понемногу приближаясь к миске

с молоком в углу. На семь десятых, на восемь десятых, на девять десятых. Род Наджари затаил дыхание, чтобы лучше разглядеть змею рода Наджари, змею племени Наджари, с головы до хвоста. Оставалась всего одна десятая. Достаточно змее выползти навстречу миске с молоком в углу еще на одну десятую, и каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок в комнате целиком увидят змею нашего семейства, нашей фамилии — змею дома Наджари. Черной змее оставалось выползти всего на одну десятую, чтобы добраться до миски с молоком, но она остановилась.

— Почему? — спросил мальчик. И рассказчик ответил:

— Старая змея, которая весной не видит старика, потому что тот умер; старая змея, которая летом не видит старика, потому что он умер зимой; такая старая змея остановится и призадумается. Я сказал: «Севавор, не печалься о дедушке Седраке, умершем холодной зимой. Хорошо, что старик обрел свой покой в снегах; хорошо, что он обрел свое пристанище. Если люди перестанут засыпать вечным сном и находить свой последний приют, дом скоро переполнится и на всех не будет хватать еды. Не надо горевать по старику. Он спит. Он дома. Приди же, отведай молока, что я налил для тебя в миску».

— И она пришла?

Змея не шелохнулась. Черная змея, лежащая головой и двумя десятыми своей длины на полу, висящая семью десятыми длины на стене и одной десятой за стеной, замерла, потому что змея видела рождение моего дедушки Седрака и видела все до единого годы жизни Седрака, но вот старик умер, и змея ползла к миске с молоком в углу, но ей не хотелось ползти дальше, и весь род Наджари затаил дыхание. Я сказал: «Севавор, не беспокойся о старике. Он дома, он спит, маленьким мальчиком он опять бегает по лугам. Иди же, отведай своего молока». И змея медленно, как подобает большой черной змее с глазами, не похожими на глазенки англичан…

— Ну же, ну же, — промолвил мальчик, — не останавливайся…

Престарелый рассказчик взглянул на огрызок зеленого карандаша на полу, затем на мальчика, в упор, немного его напугав, и сказал по-английски:

— *Ваш карандаш*?

В этот момент пришел Арам и спросил:

— В чем дело, Левон?

Старик встал и смачно крякнул, чем был знаменит на весь Фресно, и сказал:

— Арам Севавор, я зашел посоветоваться по личному вопросу. Я прошел пешком всю дорогу от своего дома на Эл-стрит до твоего — на Ван-Нес авеню, мимо депо с красными пожарными машинами, вверх по Ай-стрит, где находится полицейский участок, по Форскамп авеню. Я прошагал от своего дома до твоего, пришел к тебе и вот ухожу, Арам Севавор, восвояси, потому что не могу вспомнить, о чем собирался спросить.

Он вышел на улицу. Мальчик с зеленым карандашом стоял и смотрел, как старик удаляется, унося с собой развязку истории про змею.

1971

Гастон

Как и было задумано, после того, как она поспит, они собирались полакомиться персиками; и вот она сидит напротив совершенно незнакомого ей человека, если не считать того обстоятельства, что он приходится ей отцом. Они снова вместе (хотя она не может припомнить, когда они виделись в последний раз) уже целую вечность, или это было только позавчера? Как бы то ни было, она снова с ним, и он какой-то чудной. Во-первых, у него самые внушительные усы, какие

она только видела, хотя, если ее спросить, так это и не усы вовсе, а пучки красно-рыжей щетины, торчащие из-под носа и вокруг уголков рта. Во-вторых, вместо рубашки, пиджака и галстука он носит фуфайку в сине-белую полоску. Его руки покрыты такой же растительностью, что и лицо, только волоски чуточку светлее и тоньше. На нем широкие синие брюки, но нет туфель и носков. Он ходит босиком, ну и она, конечно, следует его примеру.

Здесь он живет. Она приехала в Париж погостить в его доме, если это можно назвать домом. Он очень старый, особенно для тридцатишестилетнего молодого человека, как он ей представился. Ей же было шесть, и она только что пробудилась ото сна жарким августовским днем. На утренней прогулке она увидела выставленные у магазинчика персики и остановилась поглядеть; он взял для нее килограмм.

И вот они сидят за карточным столиком, а перед ними большая тарелка с персиками. Их семь штук, но один оказался с изъяном. С теннисный мяч величиной и с великолепным румянцем, который переходил в бледно-зеленый оттенок, он выглядел не хуже остальных, но на месте черенка была трещина, проникавшая прямо в сердцевину косточки.

Он положил ей на блюдце самый большой и лучший на вид персик, а себе взял с червоточинкой; снял с него кожицу и съел очищенную щечку. При этом они не болтали наперебой, не строили планов, а просто молча сидели.

Ухватив пальцами недоеденный персик, мужчина заглянул вовнутрь треснувшей косточки. И девочка тоже.

В это время, из дыры высунулись два щупальца; они росли из коричневатой, шишкообразной головки, которая высунулась вслед за ними. Затем за край щели крепко ухватились две длинные ножки и вытянули наружу все, что еще находилось внутри косточки. Существо на мгновение замерло, словно хотело осмотреться.

Мужчина и, конечно, девочка внимательно разглядывали обитателя косточки. Существо застыло на долю секунды, затем окончательно вылезло из косточки и поползло вниз по надкушенной части персика.

Девочка в жизни ничего подобного не видывала: крупное коричневое существо, с головой-набалдашником, щупальцами и множеством ножек. К тому же, очень резвое. Можно сказать даже, деловитое. Мужчина положил персик на тарелку. Существо переползло с персика на дно тарелки, остановилось и призадумалось.

— Кто это, — спросила девочка?

— Гастон.

— Где он живет?

— Он жил в косточке, пока этот персик не был сорван и продан; потом я откусил от него половину, так что, похоже, он останется без крова и жилища.

— Ты его раздавишь?

— Нет, конечно. Зачем его давить?

— Он же противный жучок-паучок.

— Вовсе нет. Это — Гастон, светский щеголь.

— Когда из яблока выползает червяк, все вопят и визжат, а ты нет.

— Разумеется, нет. Тебе понравится, если кто-нибудь начнет вопить каждый раз, когда мы выходим из дому?

— С какой стати?

— Вот именно. Зачем тогда нам кричать при виде Гастона?

— Он на нас не похож.

— Пожалуй, не во всем. Зато он похож на многих других обитателей персиковых косточек. Теперь бедняга лишился дома. Куда ему деваться со своими утонченными манерами и элегантной внешностью?

— Элегантной?

— Да, Гастон самое элегантное существо среди себе подобных, какое мне доводилось видеть.

— А что он говорит?

— Он несколько озадачен. Только что у него дома все было как полагается: там кровать, тут прихожая и так далее.

— Покажи.

Мужчина взял персик, оставив Гастона в полном одиночестве на белой тарелке, срезал кожицу и доел персик.

— Никто-никто бы так не поступил, — сказала девочка. — Его бы просто выбросили.

— Не понимаю, зачем? Отличный персик.

Он раскрыл косточку и положил обе половинки неподалеку от Гастона. Девочка принялась их разглядывать.

— Вот, значит, где он живет?

— Жил. Теперь Гастон выдворен из своего мира и предоставлен самому себе. Видишь, как уютно он устроился. У него было все.

— А что осталось?

— Боюсь, не очень много.

— И что он будет делать?

— Что мы будем делать?

— Во-первых, мы не ставим его давить, — сказала девочка.

— Потом?

— Вернем его обратно?

— Ну, с этим домом уже покончено.

— Ладно, но он ведь не может жить в нашем доме?

— Едва ли это доставит ему удовольствие.

— А он вообще может жить у нас дома?

— Только если в косточке кто-то живет.

— Во всяком случае, он может попытаться. Хочешь персик?

— Хорошо, посмотри, есть у нас персик с дырочкой на макушке? Если найдешь, то, скорее всего, внутри кто-то есть.

Девочка осмотрела каждый персик на большой тарелке.

— Они все с запертыми дверками, — сказала она.

— Хорошо, съешь один.

— Нет, я хочу, как и у тебя, чтобы кто-нибудь сидел в косточке.

— Знаешь, если честно, то персик, который я съел, считается испорченным, и в магазинах предпочитают такие не продавать. Я купил этот персик, скорее всего, по ошибке. Так что теперь Гастон лишился дома, а у нас осталось шесть отличных персиков.

— Я не хочу отличный персик, я хочу персик с человечком.

— Хорошо, я выйду и постараюсь достать тебе такой.

— А я куда пойду?

— Можешь пойти со мной или можешь остаться. Я буду минут через пять.

— А если зазвонит телефон, что мне сказать?

— Вряд ли, но если зазвонит, скажи «алло» и узнай, кто это.

— А если это мама, что ей сказать?

— Что я пошел покупать тебе испорченный персик или что вздумается.

— А если она захочет, чтобы я вернулась, что ей сказать?

— Скажи «да», если хочешь вернуться.

— А ты этого хочешь?

— Конечно нет, но важно, чего хочешь ты, а не я.

— Почему важно?

— Я хочу, чтобы ты была там, где тебе хочется быть.

— Я хочу быть тут.

— Я мигом.

Он натянул носки, надел туфли и пиджак и вышел. Она разглядывала Гастона, который не знал, что делать дальше. Гастон бродил по тарелке, но никак не

мог взять в толк, как быть и куда деваться. Зазвонил телефон, и ее мама сказала, что послала за ней своего шофера, чтобы тот привез ее домой, потому что намечается маленькая вечеринка в честь чьей-то дочки, которой тоже шесть лет, поэтому завтра они вылетают в Нью-Йорк.

— Передай трубку папе, — сказала она.

— Он пошел покупать мне персик.

— Всего один?

— Да, один, с человечком.

— Достаточно было тебе побыть со своим отцом пару дней, как ты уже заговорила, как он.

— Есть персики с человечками внутри. Я знаю. Я видела, как один такой вылез из персика.

— Что — червяк?

— Не червяк, а Гастон.

— Кто?

— Гастон, большой-пребольшой не знаю кто.

— Любой, кому попадется червивый персик, его выкинет, но только не твой отец. Этот нагородит всякой чепухи.

— Это не чепуха.

— Ладно, ладно, не сердись на меня из-за какой-то там омерзительной персиковой букашки.

— Гастон тут, у своего разрушенного домика, и я на тебя не сержусь.

— На вечеринке тебе будет очень весело.

— Хорошо.

— И лететь в Нью-Йорк будет весело.

— Хорошо.

— Ты рада, что увиделась со своим папой?

— Конечно.

— Он чудаковатый?

— Да.

— Немного того?

— Да. То есть нет. Просто он не кричит, когда из персика или еще откуда-нибудь выползает червячок. Он просто внимательно на него смотрит. Но ведь это всего лишь червячок, правда?

— Правда.

— И его нужно раздавить?

— Совершенно верно. Жду не дождусь тебя, моя лапочка. Эти два дня тянутся, как два года. До свидания.

Девочка следила за Гастоном на тарелке, и он ей совсем не нравился. Он стал отталкивающим, каким, впрочем, и был с самого начала. Он был бездомным и ползал по белой тарелке, нелепый и дурацкий, жалкий и никчемный, и все такое прочее. Она всплакнула, но только про себя, так как давно решила, что ей не нравится плакать, потому что как только начинаешь плакать, то, оказывается, есть столько всего, из-за чего хочется заплакать, что просто невозможно остановиться, и ей это совсем не нравилось. Раскрытые створки персиковой косточки тоже никчемные. Безобразные, что ли. Нечистые.

Тем временем он купил килограмм персиков, но не нашел ни одного червивого. Тогда он купил еще килограмм, в другом магазине, и на этот раз ему повезло больше: среди них нашлись два червивых персика. Он побежал обратно домой и ворвался в квартиру.

Его дочурка находилась у себя в комнате, одетая в свое лучшее платьице.

— Звонила мама, — сказала девочка, — она сказала, что посылает за мной шофера, потому что намечается очередной день рождения.

— Очередной?

— Я хотела сказать, в Нью-Йорке их всегда много.

— Шофер привезет тебя обратно?
— Нет, завтра мы летим в Нью-Йорк.
— Да ну!
— Мне было хорошо у тебя дома.
— А мне было хорошо с тобой.
— Почему ты тут живешь?
— Это мой дом.
— Он очень хороший, но совсем не такой, как у нас.
— Да, пожалуй.
— Он немного похож на дом Гастона.
— А где Гастон?
— Я раздавила его.
— Как же так? Почему?
— Все давят букашек и червяков.
— Ладно. Я нашел тебе персик.
— Мне больше не хочется.
— Хорошо.

Он одел ее и занимался упаковкой ее вещей, когда подъехал шофер. Он спустился три пролета по лестницам с дочерью и шофером. На улице ему захотелось обняться с дочерью, но решил, что не стоит. Вместо этого они пожали друг другу руки, как чужие.

Он проводил взглядом большой отъезжающий лимузин, затем отправился в бистро за углом, где имел обыкновение пить кофе по утрам. Он чувствовал себя немного как Гастон на белой тарелке.

«Атлантик мансли», февраль 1962

Дуэль

Паносу Башманяну здорово удавались публичные выступления, хотя искусством метания подков и фехтования он владел еще лучше. Он был также непревзойденный лихач. Прыгнуть с высокой ветки? Пара пустяков. Фехтование заключалось в истинном владении шпагой, чему его обучил один француз с Элстрит, неподалеку от нашего дома во Фресно. Этот француз добился у кого-то разрешения давать бесплатные уроки фехтования, близ Калифорнийской детской площадки, ежедневно с четырех до пяти, а по субботам — весь день.

Однажды появилось объявление, и Панос со своими приятелями португальцами и кузенами-армянами, увидев в нем слово «бесплатный», на следующий день пришел на свой первый урок.

— Я фехтовал всю свою жизнь, — заверил Панос француза, имея в виду дуэли на палках, которыми он увлекался в школе и сражался с каждым желающим. Но француз достал пару настоящих старинных дуэльных шпаг, явно происходивших из его канувшей в небытие парижской жизни. И доказал ему, что фехтование несколько отличается от размахивания помелом и что это изящный, хоть и смертельно опасный спорт, сродни искусству. Очень скоро Панос выбился в отличники, а его любимым выражением стало «К бою!».

Панос был настоящий друг, года на два-три старше меня, и, кроме того, приходился мне двоюродным братом. Для представителя рода Башманянов он был человек исключительно жизнерадостный. Например, его ничуть не воротило от собственного имени, кто бы его ни произносил. «Панос», вообще-то, всего лишь невежественное американское прочтение его вполне приличного армянского имени Степанос. Его первая учительница в школе Эмерсона не смогла осилить это имя, и так Степанос превратился в Паноса, а к восьми-девяти годам он и сам

почти позабыл, что он Степанос. Ему шел тринадцатый год, когда он увлекся фехтованием, и к тому времени он уже прослыл чемпионом по метанию подковы. Он был всегда готов бросить подкову, особенно если ставка один цент. В безрассудстве ему не было равных в целом свете до тех пор, пока однажды, прыгнув в мелкий канал Томпсона, близ Малаги, и едва не переломав руки, Панос вдруг прозрел и понял, что уже который год он рискует жизнью безо всякой пользы. Спустя несколько дней он заявил, словно речь шла о смене рода занятий: «Хватит с меня трюков». И на этом дело было закрыто.

В то время, в 1919 году, во Фресно ораторское мастерство почиталось за высокий талант, и Панос считался лучшим оратором в городе. Он выступал в школах, церквах, на пикниках и празднествах, посвященных Дню независимости. Если случалась какая-нибудь заминка, на него можно было положиться, чтобы заполнить паузу речью продолжительностью от пяти до двадцати минут, безо всякой подготовки. Говорил он не своим привычным голосом, а более высоким, и чем дольше он выступал, тем музыкальнее становилась его речь, словно он гудел или даже говорил нараспев, а иногда и вовсе переходил на пение, дабы привести пример того или этого, что, по его мнению, нуждалось в примерах.

Панос был способен разглагольствовать на любые темы, зная, наверное, что все равно никто его не слушает. Так, во время выступления в парке у здания суда он вдруг сказал: «Вот почему мы празднуем День независимости», хотя перед этим он говорил про фургоны переселенцев. Мало того, тут же раздались аплодисменты. В манере народных трибунов, Панос начинал выступление наудачу, уверенно направлял тему в неопределенное русло, и хотя речь его отличалась ясностью, ничего в сущности не говорил.

После того, как Масур Франсуа (так полагалось величать учителя фехтования) научил его владеть шпагой, Панос во время выступления стал частенько делать классический выпад и отскакивать назад, никак не объясняя своих действий. Он так же резко выбрасывал назад правую ногу, раза три-четыре, и тоже без объяснений. Однажды, когда он проделал это в Лекторском клубе во время речи о гражданской гордости перед женской аудиторией, его слушательницы, жаждавшие просвещения, разразились радостными возгласами, сопровождавшимися рукоплесканиями, которые Панос отнес на счет сказанного им.

— Ты зачем лягался? — поинтересовался я у него по дороге домой.

— Ногу свело. Пришлось потрясти, чтобы сбить судорогу, — объяснил Панос.

— А фехтование?

— Какое еще фехтование?

— Раза три-четыре во время выступления ты делал фехтовальные выпады.

— Ну и как это было воспринято? — спросил он.

— Да нормально, я думаю, — ответил я, — только зачем тебе это понадобилось?

— Так, чтоб приукрасить малость.

— Но ты лягаешься и делаешь выпады уже третье выступление подряд.

— Ногу сводит, вот я и лягаюсь. Мне нужно украшение, ну я и украшаю, — сказал Панос.

— А я думал, ты тренируешься перед поединком, — сказал я. — Как в стародавние времена, на полном серьезе. На рассвете, у реки, за честь.

— Это я и собираюсь делать, — сказал Панос.

— На настоящих шпагах?

— На настоящих.

— Серьезно?

— Я решу, когда будет поединок, — сказал Панос. — Я, может, буду драться до крови, но не насмерть.

— А когда?

— Масур Франсуа говорит, что для этого необходимы два условия, — сказал Панос. — Меня должны оскорбить. Затем я отхлещу обидчика перчаткой по щекам, и он должен принять вызов.

— А перчатка у тебя есть?

— Есть, бейсбольная.

— Ну, если ты стукнешь его по физиономии такой перчаткой, тогда он точно примет вызов, — заверил его я.

— Надеюсь, — сказал Панос.

— Кто это будет? — спросил я.

— А кто ко мне относится с неуважением?

— Мисс Клиффорд подойдет? — спросил я.

То была наша учительница в школе Эмерсона.

— Мисс Клиффорд ко всем в нашем шестом классе относится с неуважением, — сказал Панос. — К тому же, это должен быть мужчина.

— Мальчик, ты хочешь сказать?

— Мальчишечьи оскорбления не в счет, — сказал Панос. — Стукнул по носу, и весь разговор. Если я соберусь драться по-настоящему, то попрошу у Масура Франсуа его шпаги и пущу кому-нибудь кровь, а может, и убью. Так что это должен быть мужчина. Ну, кто говорит гадости в мой адрес за моей спиной? Среди взрослых мужчин?

— Никто, Панос, — ответил я. — Все тебя любят. Ты выступаешь с патриотическими речами. Хорошо начинаешь, хорошо заканчиваешь: «Господин Председатель, госпожа Председательша, уважаемая мать господина Председателя, доктор Роуэлл, господин Сетракян, уважаемые члены Совета по просвещению, дамы и господа, мальчики и девочки», ну и все такое, что говорят в начале. А потом, в конце, ты говоришь молитву, от которой слезы выступают на глазах у многих: «Всемогущий Господь, помоги мне стать таким, как Линкольн, а не как Бут». Панос, а кто такой этот Бут?

— Грязная ползучая гадина. Он застрелил Линкольна, вот кто он такой, — сказал Панос. — Послушай, а про тебя кто-нибудь распространял гадости за твоей спиной? Ведь ты мой младший брат.

— Не думаю, чтобы кто-нибудь, разве только члены семьи, — сказал я. — К тому же, они всегда это говорят мне в лицо.

— Члены семьи тоже в счет не идут, — сказал Панос. — Подумай хорошенько. Кого я ненавижу?

— Никого, Панос. Разве только этого гада ползучего, Бута.

— Он издох давно, — сказал Панос. — Я же знаю, что ненавижу кого-то, только никак не вспомню. Дай подумать. А нет ли кого такого, чтоб мы все ненавидели?

— Только друг друга время от времени, а так что-то никого не припомню.

— Это не то.

— А Масур Франсуа подойдет?

— Он мой друг, — сказал Панос. — Этот маленький француз научил меня всему, что я знаю о цивилизованности и воспитанности.

— Может, ты ненавидишь итальянцев? — спросил я.

— Конечно, нет.

— А немцев? Индейцев? Мексиканцев? Индусов? Японцев? Сербов? Китайцев? Португальцев? Негров? Испанцев?

— Нет. Я всех их люблю.

— Тогда тебе лучше забыть о кровопускании, — сказал я.

— При чем тут забыть-не забыть? Это дело чести, — сказал Панос.

— А что такое честь? — спросил я. — Ну, вот, вообще.

— Честь?

— Да, Панос.

— Н-ну, честь... это ты сам. Каждый Башманян преисполнен самим собой.

— Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них дрался с кем-нибудь на дуэли, — сказал я.

— Я — первый Башманян, который умеет это делать. Найди кого я ненавижу и дай знать, хорошо?

На следующий день он пришел к нам домой, а я уже его дожидался.

— Панос, — сказал я. — Кажется, я нашел того, кого ты ненавидишь.

— Ну и?

— Турок.

— Точно, — сказал он. — Я же знал, что есть кто-то, кого я ненавижу. Вот теперь совсем другое дело.

Он подобрал обломок палки и принялся фехтовать с довольным видом.

— Кто у нас в городе турок?

— У нас есть ассирийцы, сирийцы, персы и, может, несколько арабов, — сказал я.

— Должен быть где-то в городе и турок, — сказал Панос.

— Есть Ахбуд, — сказал я. — Ты знаешь его. Я работаю у него по воскресеньям с шести утра до трех дня за двадцать пять центов и бумажный пакет с едой. Подходит?

— Ахбуд? Звучит по-турецки, — сказал Панос. — Спроси у него и дай мне знать.

В следующее воскресенье я спросил у Ахбуда. Он посмотрел на меня как-то странно и сказал:

— Отполируй, пожалуйста, баклажаны. До блеска.

В конце дня он протянул мне четвертак и спросил:

— Насчет турок ты спрашивал для себя лично или в интересах правительства?

— Для себя лично, мистер Ахбуд.

— Я не турок, — сказал он. — Я араб. — И немного погодя добавил: — Христианин.

— А вы знаете какого-нибудь турка? — спросил я.

— Зачем тебе?

— Мой кузен Панос хочет вызвать турка на дуэль.

— С какой стати?

— Панос любит всех, кроме турок, — сказал я, — а на дуэль вызывают только тех, кого не любят. Есть у нас в городе турки?

— Был один, — сказал Ахбуд, — да умер, от старости.

Я передал эти сведения Паносу, который только сказал в ответ:

— Ты должен разыскать мне турка. Хватит, надоело. У меня идея. Жди меня дома в семь, сегодня вечером я возьму тебя с собой в Большой зал.

— А что там, матч по борьбе?

— Нет, у них там сегодня вечер для новых граждан. Может, среди них найдется турок, наконец.

— Ты собираешься выступать?

— Меня могут попросить сказать несколько слов новоиспеченным американцам, — сказал Панос.

Когда он пришел в четверть седьмого и мы зашагали к Большому залу, я спросил:

— Речь готова?

— Пожалуй.

— О чем на этот раз?

— Если мэр Туми попросит меня подняться на сцену и поговорить минут десять, как это обычно бывает, то я скажу что-нибудь об истинном значении Америки.

— И что же ты скажешь?

— В Америке мы забываем про былую ненависть, — сказал Панос. — Отныне никто никому не враг. Мы все члены одной семьи. Мы все американцы. Как только мы приехали в Америку, мы перестали быть тем, чем были до этого.

Мне это было знакомо по школе Эмерсона, где я слышал это в классе раз шесть или семь.

— Ну, едва ли Башманяны перестали быть тем, чем они были, — сказал я.

Панос достал свою бейсбольную перчатку из заднего кармана брюк, посмотрел на нее, потом на меня.

— В чем дело? — спросил я.

— Ты — первый человек, оскорбивший меня, — сказал он. — Меня, Паноса Башманяна, американского патриота. И ты — мой собственный младший двоюродный брат. Я знаю тебя всю жизнь. И теперь ума не приложу, что мне делать.

— Только не бей меня этой перчаткой, — сказал я, — потому что я ничего не смыслю в фехтовании, и если я тебя оскорбил, то нечаянно. И я извиняюсь.

— Слава Богу, — сказал Панос. — Извинение принимается. Никогда так больше не делай... ты даже представить себе не можешь, что со мною стало, когда ты произнес эти слова.

— А что с тобою стало?

— Во мне кровь закипела.

— Прости меня, — сказал я, — но я в самом деле удивился, когда ты сказал, что в Америке никто никому не враг, ведь ты же сам уже две недели ищешь по всему городу турка, чтобы сразиться с ним, и, может, даже насмерть.

— Ну и что? — сказал Панос. — Как только найдешь турка, дай мне знать, вот и все. А уж я что-нибудь придумаю.

В Большом зале мы сели в первом ряду, и прямо с самого начала у них что-то не заладилось, я, впрочем, не волновался. Без десяти восемь мэр Туми сказал:

— Доктора Роуэлла, который должен выступать на сегодняшнем вечере, задерживают неотложные дела, а мисс Шаке Такмакджян, которая должна была сыграть соло на виолончели, еще не прибыла, так что, к сожалению, наша программа нарушена. У нас есть в запасе несколько минут для того, чтобы наш молодой друг Панос Башманян вышел на сцену и... сказал нам что-нибудь.

Панос вылетел из своего кресла, взбежал по ступеням и встал рядом с мэром Туми как раз в тот момент, когда тот говорил:

— Леди и джентльмены, Панос Башманян!

Перекрестившись быстро, но деловито, как профессиональный служитель Господа Бога, Панос закатил очередную свою публичную речугу.

— Что есть Америка? — вопрошал он своим высоким, специально поставленным для этой цели голосом. Больше ему ничего не требовалось для того, чтобы прославиться и заставить свою речь литься. Вскоре он высыпал еще ворох вопросов без ответов и продолжал свою плавную речь, прерывая ее неожиданными выпадами и подрыгиванием ногой. На двенадцатой минуте показалось, что Панос заканчивает выступление, но тут мэр Туми из-за кулис сказал ему:

— Панос, еще несколько минут.

И нотки заключительной части сменились в его голосе на интонацию нового вступления. Панос только-только разговорился вновь, как мэр Туми сказал:

— Закругляйся, Панос. Он уже идет.

Панос одновременно сделал выпад, дрыгнул ногой, на мгновение умолк, глянув в потолок, и сказал:

— Господь Всемогущий, помоги мне стать таким, как Вудро Вильсон, а не Генри Форд!

Все встали, зал взорвался аплодисментами. Наверное, оттого, что на сцене появился первый гражданин города, доктор Честер Роуэлл. Панос поклонился, но только один раз, спустился со сцены и сел.

По дороге домой я сказал:

— Ты так и сказал им, Панос.

— Что сказал?

— Ты сказал, что мы все братья, все-все, как учили нас Вашингтон, Джефферсон, Джексон и Карузо.

— Кто-кто?

— Я и сам не понял.

— Неужели я поставил Карузо в один ряд с остальными? — спросил он.

— Да. А зачем ты это сделал?

— Не знаю, — сказал Панос. — Но должна же быть причина. А потом ты спел «O Sole Mio», — сказал я.

— Ну вот, я же знаю, что должна быть какая-то причина, — сказал Панос. — Я это сделал для того, чтобы исполнить песню с нашей граммофонной пластинки. Как у меня был голос?

— Хорош, — сказал я.

— А произношение было хорошее, когда я пел итальянские слова?

— Думаю, что да, — сказал я. — Мне твое произношение показалось вполне итальянским. Так, значит, ты не хочешь, чтобы я разыскивал для тебя турка?

— С чего ты взял?

— Так ведь ты сам сказал мне в своей речи, чтоб я больше не искал.

— Я сказал?

— Ну да. Как же ты не помнишь? Когда ты подходил к концу в первый раз, перед тем, как мэр Туми попросил тебя протянуть еще немного. Ты почти запел про всякую там всячину, загундосил себе что-то под нос и вдруг сказал: «Не ищи в этом мире Турка, ибо ты не найдешь его здесь».

— «Не ищи в этом мире Турка, ибо ты не найдешь его здесь?» — повторил Панос.

— Именно.

Мы долго шли молча. Наконец Панос сказал:

— Как ты думаешь, хорошая получилась речь?

— Очень, — сказал я.

— Такая же, как мои другие?

— Даже лучше, — сказал я. — Но теперь с турками покончено, да? Дуэли, кровопускания отменяются? «Не ищи в этом мире Турка, ибо ты не найдешь его здесь». Это же твои слова, Панос.

— Ну и сморозил же я глупость, — сказал Панос. — Что же мне теперь делать с моим фехтовальным дарованием?

Все кончилось тем, что он заставил меня брать уроки фехтования у Масура Франсуа для того, чтобы по очереди исполнять роль Турка в этом мире. И каждый из нас в глубине души побеждал и терпел поражение, чью бы роль он ни исполнял.

Перевод с английского Арама Оганяна.



В лебедином полете

Современная эстонская поэзия

Сегодня у нас в гостях поэтический «Таллинн», и таким образом наш читатель сможет хотя бы частично удовлетворить свой интерес к современной эстонской поэзии. Предлагаемая подборка не дает, конечно, полной картины всего разнообразия и масштабности поэтического искусства земли древних эстов, но и она говорит о многом. Например, о сфокусированности поэзии на жизни, на нынешних проблемах и особенностях социального «зоопарка» (выражение главного редактора журнала «Таллинн» Нэлли Абашиной-Мельц). В этом отношении выразительны стихи Юргена Роосте. Ярко философичны Дорис Караева и Хондо Руннель. Своим немногословием, двух- и трехэтажностью мысли они напоминают белорусского поэта Алеся Рязанова. Подкупает мягкой грустной исповедальностью Линда Вийдинг. Радует то, что в поэтическом марафоне души и тела (сравнение навеяно стихотворением Рязанова: «Марафон... // бягуць // людзі навыперадкі // са сваім целам») «соперники» держатся рядом, не обгоняя друг друга. То есть в стихотворной плоти явственно проступают как некое нематериальное начало то, что мы называем душой, дыханием, так и внешние характеристики поэзии (ее мускулы): ритм, метафора, усложненные конструкции текста, синтаксис или вообще его отсутствие. Налицо раскованность (белый стих), интеллектуальность эстонской поэзии (что делает ее близкой к сугубо европейской), но и та ее традиционность, которая более присуща жителям славянских склонов Парнаса. Во втором направлении исследование души, обдумывание чувств — что не может быть достигнуто никакой эквилибристикой ума — представляется особенно заметным. Когда-то Тацит сказал о племени финнов, к которому принадлежали эсты: «Они достигли самого трудного в жизни — ничего не желать». Он говорил о бедности, беспросветности жизни этих людей в те времена. А сегодня так о себе мог бы сказать с гордостью настоящий философ. Отрешение от земного, сиюминутного в пользу мысли, идеи — такой же заметный пласт эстонской поэзии, как и ее заземленность на социальных проблемах.

Отдел поэзии

Жизнь как таковая

ХАНДО РУННЕЛЬ (Тарту)

* * *

В лебедином полете нам мнится извечная грусть.
Красоту поднебесья, восторг высоты и ужас падения в бездну —
Показать все готова жизнь тем, кто крыльев лишен
Или расстался с надеждой.

Из ниспосланных Богом даров жизнь мы ценим превыше всего.
Что еще может быть нам дороже и так же любимо?
Если счастье? Так и оно тоже Богом ведомо.
Наша воля при этом бессильна.

Перевод с эстонского
Нэлли Абашиной-Мельц.

ЛИНДА ВИЙДИНГ (Таллинн)

Уходящему

поспешать уже надо — времени мало осталось
обойти те края где босой и счастливый несмышленыш бродил
из тех мест где мечталось ты пришел сюда в старость
в заботы свои и усталость
поспешай поспешай а не то не успеешь
время кончится скоро — и песочных не хватит часов
еще раз посмотреть до ухода на все что здесь жалко оставить
наступает пора расставаться
что не сделано было — уже недосуг переделать
и моли не моли время не удержать
уже близок предел головой прислониться к подушке
отправляясь к погосту — самому не дойти
на руках отнесут к монастырскому лесу и зароют в песок
будет место тебе там и тишь и времени
вдоволь достанет насладиться покоем

Перевод с южноэстонского
Нэлли Абашиной-Мельц.

ДОРИС КАРЕВА

* * *

Все то, чего ты хочешь, придет к тебе
тем или иным тайным образом.
Если ты узнаешь его,
оно будет твое.

Все то, чего ты хочешь, придет к тебе,
узнает тебя и станет частью тебя.
Дыши, считай до десяти.
Цена узнáется после.

* * *

Когда страх смерти становится таким огромным,
что убежать уже нет сил,
можно помчаться ему навстречу.
Тогда бросаются в бездну,
головой в газовую печь,
ныряют в зеркала. Кто куда.
Ужас — самое ужасное
притяжение.

* * *

Поэзия — это танец языка.
Танец — поэзия тела.
Тело — язык,
которым говорит все:
слушай, понимай и смотри.

* * *

Бабочка, чей взмах крыльями
порождает шторм, —
разбудила философа,
потрясла сон вселенной,
взлетев передо мной с чистого листа
подобно стихотворению.

* * *

Дом возле моря
всегда помнит, что он корабль,
случайно приставший к берегу.
Ночью он отправляется в плавание
по бесконечным океанам
времен и пространств.
Вкруг него дрейфуют созвездия,
внутри него печалится очаг,
который некому разжечь.
Как собака тоскует по хозяину,
так и дом рядом с морем
ждет своего капитана.

Перевод с эстонского Ларисы Йонас.

ЮРГЕН РООСТЕ

3 принципиальных утверждения на тему человечности

*

я человек 24 часа в сутки
уже только за это мне можно было бы
давать бесплатно деньги

*

задолбался ждать автобуса такси
вечной любви идеальной степени опьянения
катарсиса и армагеддона

*

сдавайся заяц
человек венец творения владыка вселенной
нет места другому

*

на работе
хотят чтобы я был
как заяц с батарейкой duracell

а получается обыкновенная морская свинка

дома хотят чтобы я суетился
как усердный
папа-пингвин

а не как такой посредственный снегирь с клювом

но моё сердце моё
сердце свободно как луковица
внутри сердцевина сверху шелуха

на нежном северном ураганном ветру

Метрика и Этика

Часть 1

философский вопрос
в последних лучах заходящего солнца
болтая тепловатый виски
в старом восьмигранном
засаленном стакане
как в вазе в которой душа
обретает свою настоящую форму и цветет как
урчащий колючий цветок — плотоядное растение
аллилуйя

метрика и этика вместе должны бы образовать
этрику
нечто занимающееся всемирными проблемами нечто
занимающееся гнойниками общества и мужчиной и
брошенной им женщиной и их любовью
которая была молодой как срезанный ивовый прут
и еще источает свой горький сок
аллилуйя

метрика это же пульс жизни ее синтаксис
то как платоническая кардиограмма страстно складывается
в предложения на твоих запястьях и чувствительных местах
пока ты касаешься запястий и чувствительных мест других людей
и каждый пульс это копия того единственного пульса
его эхо и одновременно — неповторимый ритм
ритм тела ритм тел ритм многих голых возбужденных тел
ритм небесных тел и испепеляющие американские горки солнцеворотов

вечно тикающий и щелкающий ритм жизни который одинаково отбивают
атомы углерода годовые кольца на стволах деревьев
лисьи выводки застигнутые половодьем
закостенелое сердце государственного чиновника отстающего от троллейбуса
улетают и возвращаются береговые ласточки — постоянно возвращаются
повторяющийся рост щетины и первые месячные
молодой девушки никчемной девчонки
сезонные рекламные кампании компании кока-кола
истории об убийствах и о супружеской неверности изжеванные желтой прессой
порча окисление гниение вообще всего сущего
похожее на непрерывный безостановочный скачущий электробит
пропагандирующий жизнь как таковую в ее самых грубых формах

это настоящая метрика
аллилуйя

этика это то что я в состоянии делать человеческое лицо
даже тогда когда трон бога пуст тогда когда у меня
нет работы нет дома нет выходных и государственных праздников
этика это то что лев заламывает ягненка что мать какого-либо детеныша
пытается спасти его даже от намного более сильного противника
точнее этика это конечно учение о том
где мы должны проводить границы и черты
учение о том
что иногда ничегонеделание
невмешательство безразличие спасение своей шкуры и молчание
бывает совершенно неэтичным

этика это никчемное учение полное платоновских устремлений
проблеск которого в каждом человеческом существе конечно же уникален
и в этом случае бесспорно верен но который несмотря ни на что
вынудил человечество утвердить себя перед лицом культуры и
законов похожих на нынешние законы
и даже культуру

эта республика на распутье
между ушедшими временами и былыми мирами
аллилуйя

Перевод с эстонского П. И. Филимонова.

«Именно Карский все смелее вводил в научный обиход понятие «белорусский язык»

Беседа с Александром Карским, правнуком знаменитого ученого

— Александр Александрович, когда и от кого Вы впервые услышали, что Вы правнук «того самого» Карского?

— О том, что я правнук академика Е. Ф. Карского, конечно, сказала мне мать, Татьяна Сергеевна Карская, внучка академика (дочь его младшего сына Сергея Евфимовича). Я точно не могу припомнить, когда именно она впервые рассказала мне о прадеде, — должно быть, в раннем детстве, когда мне было лет пять-шесть. Мы тогда жили на Васильевском острове и иногда ходили на прогулку к Неве, подходили к Академическому Дому на набережной, на углу 7-й линии. В этом доме издавна селили действительных членов Академии Наук, приезжавших в тогдашнюю столицу, Санкт-Петербург. Все стены дома увешаны мемориальными досками. Мы заходили в парадную, поднимались по ступенькам на площадку первого этажа — и мама показывала мне дверь, за которой была квартира академика Е. Ф. Карского, куда она в детстве ходила к дедушке. Я, разумеется, был хорошо знаком с Наталией Евфимовной, дочерью Е. Ф. Карского, и ее мужем, академиком В. И. Борковским. Я, когда бывал в Москве, всегда навещал их. За чаем они вспоминали былое, вспоминали разные любопытные мелочи из жизни Евфимия Феодоровича.

— Что побудило Вас написать эту книгу? Со стороны казалось, что все самое главное о Карском уже известно. А тут появляется такая фундаментальная работа, и в ней — много совершенно неизвестных широкому кругу читателей фактов…

— Долгое время и я полагал, что жизнь известного белорусоведа академика Е. Ф. Карского хорошо изучена. Первая его биография, написанная зятем, В. И. Борковским, вышла еще в 1945 году. Были и другие работы, проводились Карские чтения. Я вначале полагал, что добавлю немного, может быть, расскажу о фотографиях, хранящихся в семейном архиве, и поделюсь тем, что слышал от Н. Е. Борковской (Карской) и своей матери. Однако, когда я стал вникать в вопрос, выяснилось, что в биографии ученого много белых пятен. Очень мало было сведений о его детстве и юности, об учебе в Минске и Нежине, о работе преподавателем в Вильне. Да что там говорить — даже имя его матери было неизвестно, знали только, что начиналось оно, скорей всего, с буквы М. И кто-то пустил версию, что звали ее Мария. И об отце ничего не было известно — где, когда родился, какое образование получил, как очутился в Лаше?.. А когда умер? И вообще — где еще служил? И кем? Считалось — был учителем... А когда и где умер? Ничего не было известно! И о братьях Евфимия Феодоровича, о сестрах — также сведения были крайне скупые.



Александр Александрович Карский. Фото Виталия Скалабана.

А отсюда — и жизнь ученого представлялась какой-то схематичной, без зримых деталей, без родственных связей. Занявшись родителями, братьями и сестрами, родственниками, я получил фактуру реальной жизни, с ее драматизмом, неожиданными сюжетами, с житейскими радостями и горестями. Поиски захватили, удача сопутствовала мне — и за последние пять-шесть лет было сделано множество действительно важных открытий. Некоторые — просто сенсационные (Клировые ведомости Будчанской церкви, Свидетельство о смерти Магдалены Онуфриевны, матери ученого, в конце концов — обнаружена могила его отца!). Чтобы выйти на такие открытия, пришлось, конечно, очень много потрудиться в архивах и библиотеках. Изучены тысячи архивных документов, прочитаны сотни томов книг и журнальных подшивок, просмотрено несметное количество старых газет. Работа увлекательнейшая. Единственная неприятность — от нее страшно устают глаза, и в итоге ухудшается зрение. Особенно трудно было вначале, когда нужно было хоть за что-то зацепиться, чтобы начать собирать сведения об отце Евфимия Феодоровича. Пришлось просмотреть все «Минские Епархиальные Ведомости» за 50 лет их издания, да и «Литовские Епархиальные Ведомости» тоже просмотрел на всякий случай. С утра до вечера сидел в журнальном отделе РНБ...

— В Беларуси с огромным уважением относятся к Е. Карскому, его наследие имеет огромное значение для нашей науки и культуры. В первую очередь, конечно же, его трехтомное исследование «Белорусы». Вместе с тем, считается, что Евфимий Карский не считал белорусов отдельной нацией, что в свое время якобы сказалось на его положении в научных кругах. Обвиняли его и в том, что он, будучи за границей, вроде как охотно контактировал с белогвардейцами, а также в том, что он, говоря о жизни в Советской Белоруссии, ставил в пример жизнь западных белорусов под Польшей. Чего здесь больше: домыслов или правды? Вообще, работая над книгой, Вы пытались как-то изменить устоявшийся в нашей историографии образ Евфимия Карского?

— Не считали белорусов нацией до Евфимия Феодоровича. Заслуга его именно в том и состоит, что он выделил этот народ из группы восточных славян, подробнейшим образом изучил его язык, выделил особенности и показал древность языка, его близость к праславянскому. Он первый составил подробную карту распространения белорусского языка, указал его границы, диалекты, переходные области... Конечно, немало потрудились ученые, собиратели белорусского фольклора в первой половине XIX века. Евфимий Феодорович вдумчиво изучил их труды и основывался на них в

своих научных исследованиях. Все сделанное до него обработать, систематизировать — это огромный труд. И к тому же Е. Ф. Карский все сведения проверил лично в ходе своих научных экспедиций. Будучи крупным палеографом своего времени, Е. Ф. Карский сравнивал живую белорусскую речь с древними памятниками — рукописями, первопечатными книгами. Отсюда и проистекает его строго научный вывод о характерных особенностях и несомненной древности западнорусского наречия (такая в то время была научная терминология — и именно Е. Ф. Карский в своих работах со временем все смелее и активнее вводит понятие белорусский язык!). Постепенное изменение старой научной терминологии на более правильную, близкую к современной, — это и есть одна из заслуг академика. Наивно полагать, глядя с высот современного знания, что поменять научную терминологию — простое дело. А в вопросах обозначения контуров белорусской нации не только научные споры шли, но тут примешивалась и политика, и прямые административные запреты (поскольку власть, естественно, опасалась сепаратистских поползновений). Это разного рода чиновники утверждали, что никакого особого белорусского языка нет вовсе, а есть малопонятное косноязычие безграмотных селян. И вся научная деятельность Е. Ф. Карского — это отпор таким высокомерным и невежественным взглядам. О поездках ученого в 1924 и 1926 годах за границу я, если хватит сил и здоровья, конечно, расскажу в 3-й части книги. Е. Ф. Карский всю жизнь занимался наукой и верил в порядочность ученых, в их своеобразную духовную близость поверх границ и идеологий. К нему с большим уважением относились подлинные ученые из разных стран мира: Польши, Чехословакии, Германии, Франции, Югославии и т. п. А вот в СССР в середине 1920-х годов было принято политическое решение одернуть старых академиков с их, как тогда казалось, несоответствующей духу времени идеологией, с их замашками прежней интеллигенции. В Академию Наук власти решили провести людей нового типа, партийных или, по крайней мере, опирающихся на марксизм. А для этого надо было поприжать старых академиков, припугнуть, найти на них компромат, распустить клевету. Все перечисленные вами «грехи» — еще из той обоймы компромата. Все эти наветы я могу легко рассеять: сохранилось письмо Е. Ф. Карского редактору «Правды» (в газете не было напечатано), в котором он достойно парирует злобные и мелочные нападки. Да, в Югославии, на какую-то научную конференцию, вроде, пришли какие-то незнакомые люди — может, и белоэмигранты, кто их там разберет. Е. Ф. Карский поприсутствовал на этом заседании минут 15, а когда увидел, что собрание уклоняется от чисто научных целей, — покинул зал. Видимо, ему просто стало неинтересно... Однако в этом зале, я думаю, был внедренный агент, разведчик, который переслал информацию в Москву. Вроде и прицепиться-то не к чему, а тень



Евфимий Феодорович Карский.

все-таки решили бросить. Еще Е. Ф. Карский пытался через зарубежных коллег найти хоть какую-нибудь информацию о сыне Евгении, мичмане, который в 1917-м или в начале 1918 года отплыл в Англию, а оттуда попал во Францию, чтобы сражаться за Антанту. В итоге он в конце 1919 года оказался во флоте... А. В. Колчака. И почти сразу же, 13 декабря, погиб. Я исследовал этот вопрос, моя статья напечатана в журнале «Кортик» — в октябрьском номере за 2009 год. Е. Ф. Карский так и не узнал о судьбе сына до конца своих дней. А вот власти, конечно, знали, но прямо академика этим не попрекали, просто сочли его неблагонадежным и принялись раздувать всякие мелочи, делая из мухи слона. При очень большом желании можно любой факт представить в негативном свете. Сказал ученый, что видел в Польше добротные дома, телеги с номерами, вообще крепкие крестьянские хозяйства, — значит, восхваляет власть панской Польши. А ведь он просто правдиво, в одной фразе упомянул, что видел, а ранее написал и о гнете, и о полонизации... При этом Западную Белоруссию в пример Советской Е. Ф. Карский нигде не ставит — мне не известен такой пассаж в какой-либо его работе. Это плод распаленного воображения клеветников. Да, однажды академик заступился за простых служащих (секретарш, машинисток), которых выгоняли с работы в период активной белорусизации. Он лично их не знал, но тревожился, что люди останутся без средств к существованию. Ему, ученому-гуманисту, который изучал законы языка и границы его распространения, конечно, больно было узнать, что теперь этот язык так яростно, по приказу свыше, повсеместно внедряют, что кто-то может серьезно пострадать. Конечно, нехорошо, что какая-то секретарша допускала ошибки при написании белорусских слов, но, думается, выдавать ей за это «волчий билет», после которого она может и с голоду помереть, — слишком крутая мера. Вот и все. Но какова сила клеветы! Даже через много лет постоянно приходится что-то объяснять и оправдываться. А тут я еще добавляю суровой исторической правды: сын ученого, Евгений Карский, выясняется, оказался на стороне А. В. Колчака. Хотя у нас в России сейчас личность адмирала всячески превозносят, утверждается, что историческая правда как раз и была на его стороне...

— История состоит из фактов, а наши оценки их могут не только разниться, но и меняться со временем… Хотя, я уверен, мало найдется людей, которые, считая Колчака преступником и узнав от вас о судьбе его сына, станут относиться к личности ученого с меньшим пиететом.

— Я ко всем этим вновь обнаруженным фактам отношусь философски: что было — то было. В любом случае, сообщать в книге надо только правду — проверенные факты.

— Жизнь и творчество многих известных белорусов связаны с Петербургом. Какова вероятность того, что в питерских архивах хранятся документы, представляющие собой большой интерес для белорусской науки и культуры, но до сих пор не известные здесь, в Беларуси?

— Насчет документов в архивах. Вероятность найти что-нибудь интересное, важное, ранее неизученное — всегда существует. Я неоднократно находил собственноручные письма Е. Ф. Карского в Архиве РАН в таких

делах, где и не мог их предполагать: в подготовительных материалах к какому-нибудь собранию ОРЯС или конференции, в папках со всякой всячиной. Причем, в именной картотеке не было карточки на эту единицу хранения — работников мало, некому все просматривать и систематизировать. Для меня такие находки — конечно, небольшие сенсации. Иногда попадаются чистые листы использования, т. е. как все сложили когда-то в папку — так больше никто и не поинтересовался. Так, мне удалось выявить и прочитать переписку Н. А. и П. А. Лавровских (важно для Нежинского университета). Что касается белорусского направления — то я затрудняюсь сказать, насколько все исследовано (помимо сведений о Е. Ф. Карском). Приходилось видеть в Архиве РАН, в Отделе рукописей РНБ некоторых белорусских исследователей, все, что лежит на поверхности, должно быть, уже разработано. А копать глубже у них, видимо, нет возможности (время командировок ограничено). А мне удавалось найти много интересного, например, при кропотливом анализе писем неустановленных авторов. Иногда по почерку, иногда по фактам, упомянутым в письмах, удается установить, кто и кому пишет. Я думаю, трех-четырех таких небольших открытий вполне хватило бы на диссертацию. А у меня в книге рассыпаны десятки таких находок — взять хотя бы письма корреспондентов П. В. Шейна, семинаристов Ральцевича и Станкевича... Вообще так получилось, что в книгу попало много материала, ранее никем не исследованного. Думаю, и для других исследователей еще что-нибудь найдется.

Беседовал Алесь Малиновский.

От редакции

Сегодня мы начинаем публикацию большого биографического труда Александра Карского «Академик Е. Ф. Карский». Несколько страниц из него, в качестве самостоятельного материала, «Нёман» уже напечатал в № 9 за 2009 год под названием «Отец академика». Надеемся, нашим читателям, по каким-либо причинам не знакомым с прошлогодней публикацией, тем не менее захочется разыскать ее. Она содержит немало интересных фактов, ответы на многие вопросы, в том числе и связанные с семьей известного ученого, отец которого носил фамилию Новицкий.

АЛЕКСАНДР КАРСКИЙ

*Академик Карский**

Из главы 1. Начальное образование

В селе Ятра

Причетник Феодор Новицкий был переведен из Бытчи в село Ятра Новогрудского уезда в 1866 году. Вместе с ним в далекое, за 200 верст, путешествие отправились жена с годовалой дочкой на руках и маленький Евфимий, которому исполнилось уже 5 лет.

О жизни Новицких в Ятре каких-либо подробных описаний не имеется. Да и село было совсем не примечательное, находилось оно в 18—20 верстах к югу от уездного Новогрудка, в котором тогда насчитывалось всего около 8 тысяч жителей.

Население села было однородно — бывшие казенные крестьяне, освобожденные реформой 1861 года. В селе насчитывалось 234 двора.

Схему села можно рассмотреть по сохранившейся старой военной топографической карте. Над всей местностью на правом, северном, берегу речки Ятры возвышается холм, на вершине которого стоит церковь. У подножия холма, через дорогу от церкви, показаны два отдельно стоящие строения. Должно быть, это были дом священника и домик для церковного причта. Возможно, в одном из этих зданий находилась и начальная школа. По установленному тогда порядку, школа должна была находиться поблизости от приходской церкви.

По прямой от села Ятра до храма не более полуверсты, но направляющиеся в церковь должны были сделать, огибая извивы реки, небольшой крюк до ближайшего к ним моста. Зимой, конечно, ходили прямо через реку, по льду.

Некоторые подробности о церкви близ села Ятра можно почерпнуть из работы «Историко-статистические сведения о приходских церквах Минской епархии. (Из сочинения Ректора Минской Духовной Семинарии Архимандрита Николая. 1864 г.)», публиковавшейся в 1866 году в ряде номеров «Минских Губернских Ведомостей»:

«Приходские церкви Новогрудского уезда... 48) Села Ятры Рождества-Богородичная, 5-го класса, деревянная церковь, построенная в 1773 г. помещицею Кашицевою. Земли 40 десят. Штатного годичного жалования причту 236 р. и поминальных с имения Ятры ежегодно 19 руб. Прихожан муж. пола 999 душ и женск. пола 965 душ. При ней находится училище для детей поселянских».

Итак, церковь эта была небольшой, деревянной, до 1839 года, по-видимому, униатской. Незадолго до приезда причетника Феодора Новицкого ее внутреннее убранство было существенно обновлено.

Священником в Ятранской церкви в конце 1860-х — начале 1870-х годов был Василий Янушевский. Он же долгое время преподавал в Ятранской школе, и именно у него и начал постигать азы наук будущий академик.

---

* Публикуется в авторской редакции.

Первый учитель

Каким человеком был этот провинциальный священник Василий Янушевский? Некоторое представление о нем может сложиться после ознакомления с корреспонденцией, помещенной в «Минских Губернских Ведомостях» в начале 1868 года:

«18-го Января, в 7-м часов 45-ть минут над пространством Ятранского прихода 2 стана Новогрудского уезда, при тихой погоде оказался ярко-желтый огненный свет, продолжавшийся от 2 до 3-х минут и мгновенным появлением поразивший многих до испуга.

По расспросам оказалось, что таковой же свет виден был всеми бывшими в домах, как при большом, так и тусклом освещении, сделавшемся мало заметным. Люди, бывшие под открытым небом, говорят, видимо было, как с Востока и Запада двинулись с противоположности больше обыкновенной величины и сияния звезды, мгновенно увеличившиеся с искрами при соединении, повертясь меж собою, образовали ярко-желтый огненный свет, струею полившийся из шара большого сияния или огня, ниспадая по горизонту к Западу параллельно на землю, что над горизонтальным положением земли распались с искрами, заменившимися в свет лазуревый. Более наблюдательные говорят, что пред явлением был шум в атмосфере, при ниспадении послышался он как от лопнувшего пузыря…

Как после явления, так и на другой день говорят лишь о сказанном, и все вообще об испуге… Но как подобное явление случилось не только у нас, оно, вероятно, видимо было на большом пространстве, то желательно знать, как оно объяснится исследователями учеными. Последующее конечно следует передать к общему сведению, по интересности для каждого, и нелишне даже сказать необходимо противу разных нелепых толкований.

Священник В. Янушевский».

Из этого текста видно, что священник Ятранской церкви был человеком неравнодушным, наблюдательным, заботящимся о пастве. Да, разумеется, рассказ местами сбивчив и путан — так ведь и описанное явление неординарно, непросто было подобрать для него слова. В этой заметке из белорусской глуши подкупает, пожалуй, вера в ученых, в науку, в то, что каждому интересны и необходимы точные научные объяснения увиденного.

За усердие в обучении детей Василию Янушевскому неоднократно выносились благодарности:

«Училищный совет Минской Дирекции народных училищ… во внимание к постоянной ревности и усердию некоторых наставников и законоучителей, как в прохождении лежащих на них обязанностей по училищам, так и в неослабно деятельном содействии распространению русской грамотности и развитию и укреплению в молодом поколении истин и правил Православной веры…. с согласия господина Попечителя Виленского Учебного округа, довел до сведения Его Преосвященства о плодотворных трудах на пользу народного образования некоторых наставников и законоучителей, к числу которых относятся: …наставник и законоучитель Ятранского училища Священник Василий Янушевский».

А вот какие строки обнаружены в «Отчете по управлению Минскою дирекциею народных училищ»:

«Из учителей, заслуживающих полного одобрения за усердные труды и толковые занятия, сопровождаемые замечательными успехами, совет дирекции считает приятным долгом засвидетельствовать свою благодарность следующим лицам: …г) по народным училищам: …Новогрудского уезда:… Ятранского — учителю и законоучителю священ. Василию Янушевскому».

Несомненно, юному Евфимию повезло, что учителем оказался человек неравнодушный, верящий в науку, сам пишущий в газеты. Об учительской деятельности его отца, Феодора Новицкого, в Ятре никаких сведений, подтвержденных документально, пока обнаружить не удалось. Однако, разумеется, отец следил за учебой сына и в случае необходимости, видимо, дополнительно занимался с ним.

Начальное образование

Проучившись в Ятранской школе два года, Евфимий Новицкий в июне 1871 года, очевидно, получил свидетельство об ее успешном окончании. Ему было уже десять с половиной лет, и к этому возрасту он, с его великолепной памятью, разумеется, должен был прочно усвоить всю программу. Вот какими познаниями, в идеале, должен был обладать ребенок, окончивший сельское начальное училище:

«По Закону Божию православного вероисповедания все повседневные молитвы, Символ Веры и 10 заповедей с указанием как общего содержания каждой молитвы, так и с объяснением отдельных ее слов и выражений, учение о таинствах, о двунадесятых праздниках, о суточном Богослужении, о постах многодневных и однодневных и всю ветхозаветную и новозаветную Св. историю;…по церковно-славянскому языку оканчивающий курс должен бегло, внятно и четко читать Св. Евангелие, часослов и псалтирь и понимать нетрудные и мало отступающие от русского языка изречения; по русскому языку оканчивающий курс должен свободно, правильно и выразительно читать любую книгу повествовательного содержания, свободно, толково и последовательно пересказывать содержание и без грубых грамматических ошибок излагать этот пересказ на бумаге, хорошо знать наизусть и выразительно произносить несколько номеров разного рода стихотворений, свободно и без грубых грамматических ошибок писать под диктовку и знать в общих чертах этимологию и синтаксис русского языка; кроме того, оканчивающий в сельском народном училище курс русского языка должен быть знаком со всеми важнейшими событиями отечественной истории от ее начала до последнего времени, с отечественной и общей географией и важнейшими предметами и явлениями естествоведения… По арифметике оканчивающий курс сельского народного училища должен хорошо знать состав чисел любой величины, скоро и правильно производить изустное вычисление и решение немногосложных задач, письменно решать всякого рода задачи… и хорошо должен быть знаком с употребительнейшими в России мерами веса, длины и другими. По чистописанию программы обязывают заканчивающих курс училища владеть навыками к письму скорому, четкому и чистому. По пению от оканчивающих курс программы требуют умения петь литургию, всенощное бдение, народный гимн и несколько русских народных песен».

В июне 1871 года Ятранский приход посетил Преосвященнейший Александр, Епископ Минский и Бобруйский, совершавший тем летом поездку по вверенной ему Епархии. Короткий рассказ об этом можно прочесть в «Минских Епархиальных Ведомостях»:

«7 июня. В Ятре при входе в церковь Архипастырь был встречен речью, по окончании которой и после молебна Пресвятой Богородице Преосвященнейший осматривал церковное имущество, награждал крестиками детей, отвечавших очень хорошо по Закону Божию. Благословив народ и посетив дом священника, Владыка отправился по приглашению к председателю мирового съезда…»

Разумеется, это священник Василий Янушевский приветствовал речью Архипастыря, он же провел и молебствие. При этом ему, разумеется, помогали причетник Феодор Новицкий и пономарь Семен Малькевич (через два дня посвященный Владыкой в стихаря). А вот на вопросы Преосвященнейшего по Закону Божию среди прочих детей, видимо, отвечал и десятилетний Евфимий Новицкий. Он отлично учился, как раз оканчивал начальную школу — кому же еще было отвечать, как не ему!

Среди семейных реликвий долгие годы хранится изрядно потертый нагрудный латунный крестик. Он довольно большой: высота вместе с колечком 4,5 сантиметра, поперечная перекладина — 2,5 сантиметра. Моя бабушка, Ольга Васильевна, передавая его мне (а было это очень давно, в начале 1970-х), говорила, что крестик этот перешел к ее мужу Сергею Евфимовичу (моему дедушке) от его отца — академика Карского. За долгие годы история происхождения крестика была утрачена,

однако хранился он бережно. Теперь, после обнаружения приведенных выше строк из «Минского Епархиального Вестника», можно предположить, что это и есть та самая награда за хороший ответ, которую Преосвященнейший Александр, епископ Минский и Бобруйский, вручил маленькому Евфимию в июне 1871 года.

Евфимий показал себя очень способным к обучению, и родителям было ясно, что надо искать возможности для его дальнейшего образования.

Глава 2. Минское Духовное училище

Поступление в Духовное училище

Во второй половине августа 1871 года со всех концов губернии отцы привозили в Минск своих малолетних сыновей для того, чтобы определить их в заветный «казенный дом» — на учебу в Духовное училище, или, как тогда еще нередко называли, в бурсу. И Феодор Новицкий тоже отвез своего старшего сына, Евфимия.

Московско-Смоленско-Брестская железная дорога тогда еще не была достроена, объявление о предстоящем открытии правильного движения по ней появилось в «Минских Губернских Ведомостях» только 16 ноября. Ясно, что добираться до Минска пришлось по почтовым дорогам, в повозках, вероятно, через Новогрудок, а далее: Турец—Мир—Новый Свержень—Агатин—Койданов. Весь путь от Ятры до Минска — более 160 верст. Следует заметить, что летом того года по всему краю свирепствовала эпидемия холеры.

Газеты были полны тревоги:

«С 20 Августа в г. Минске появилась холера, от которой по собранным известиям по настоящий день было 29 случаев заболеваний».

«За 7 дней (с 20 по 27 Августа) из 39 заболевших умерло 21…

По официальным сведениям, холера появилась в Минской губернии с 10 июля в Новогрудском уезде. С 9 Августа холера появилась в Минском уезде».

Конечно, Феодор Новицкий рисковал, отправляясь с сыном в самый разгар эпидемии в дальнее путешествие. Но откладывать поездку и таким образом терять целый год было недопустимо. Мальчик отстал бы от своих сверстников, попал бы в разряд переростков, и это могло неблагоприятно сказаться на его судьбе.

Вообще для Феодора Новицкого, причетника из глубинки, определить сына в Духовное уездное училище было разумным, единственно правильным решением. К этому стремились все ответственные родители из духовного сословия. В Минской епархии в начале 70-х годов XIX века было более 540 причтов городских и сельских церквей, а значит, не менее полутора тысяч семейств священно- и церковнослужителей. Семьи тогда были, как правило, многодетные, поэтому каждый год достигали возраста, когда нужно было поступать в училище, около сотни мальчиков. Духовных училищ для мальчиков в губернии было четыре: кроме Минского еще в Слуцке, в Пинске и совсем маленькое в селе Божине. Разумеется, Минское Духовное училище считалось лучшим, да и на самом деле обучение и воспитание в нем были на достаточно высоком уровне.

Видимо, четырех училищ для губернии вполне хватало, особой конкуренции при поступлении не было, каждый год при приеме отсеивали не более десятка, самых неподготовленных. Другое дело — попасть на казенное обеспечение. Количество вакансий было строго ограничено, а сирот и детей из крайне бедных семей было очень много. Видимо, Новицкие мечтали устроить Евфимия в училище на казенный счет и в то же время видели всю призрачность своих надежд. Им предстояло заново перераспределить семейный бюджет и пойти на немалые жертвы для того, чтобы платить за обучение сына.

Поступающим в училище необходимо было подать прошение на имя Председателя Правления, Смотрителя училища Ивана Ивановича Моисеева. К прошению прилагались: выписка из метрической книги и свидетельство о начальном школьном образовании. Видимо, тут впервые всплыл вопрос, почему в метрике у Евфимия фамилия Карский, а поступает он как Новицкий, но Феодор Новицкий как-то все уладил, видимо, написал еще какое-то прошение и предъявил свидетельство о браке. В принципе, в то время было необходимо, чтобы в духовном сословии дети носили фамилию отца.

После того как все неувязки были устранены и документы наконец приняли, Евфимию Новицкому предстояло еще пройти приемные испытания. Для этого он явился в назначенный день в училище и, переходя от одного преподавателя к другому, отвечая на их вопросы, продемонстрировал свои знания.

«Епархиальные известия.

Извлечение из утвержденного Его Преосвященством журнала Правления Минского Духовного Училища, от 4/10 сентября 1871 года.

А. …9. Принять в низшее отделение, как достаточно подготовленных, поступающих из домов родителей:

…Ефима Новицкого…»

В этом списке 77 вновь принятых в училище, фамилии их расположены не в алфавитном порядке, а, видимо, в зависимости от набранных баллов во время приемных испытаний. Ефим (именно так напечатано) Новицкий в этом списке 31-й.

Далее читаем:

«Б. На основании § 41 Устава духовных училищ, члены правления имели рассуждение о принятии на содержание и помещение в корпусе учеников как обучающихся в училище, так и вновь поступивших; по рассмотрении списка учеников, пользовавшихся казенным содержанием, и по внимательном обсуждении прошений о принятии вновь на содержание члены правления по вниманию к сиротству, также многосемейности и действительной бедности некоторых родителей, засвидетельствованной местными благочинными, определили:

…4. Принять на пансионное содержание с помещением в корпусе, с тем, чтобы каждый из нижеозначенных внес в правление по 50 руб. в год…

По низшему отделению.

…**Ефима Новицкого**…»

Из 29 принятых по этой категории Ефим Новицкий в списке 12-й. То есть, у него не было никаких шансов попасть на полное казенное содержание (таких в училище, на всех трех отделениях, оказалось 53) и даже на штатное полуказенное, с ежегодной платой по 25 рублей (11 человек).

Что и говорить, платить за сына по 50 рублей в год Федору Новицкому, при его причетническом годовом жаловании всего в 96 рублей, было очень непросто. Правда, была еще надежда на церковные доходы, и главное, на доход от церковной земли, но надо понимать, что его приходилось делить по установленным нормам между причтом, а часть еще передавать через благочинного в епархию.

Тем не менее, надо полагать, семья была рада, что Евфимий поступил в училище. Это был успех!

Минское Уездное Духовное училище до реформы

В 1871 году Минское Духовное училище располагалось в каменном флигеле, принадлежавшем Минскому Свято-Духову мужскому монастырю. Сама эта обитель открылась 4 января 1870 года. Она занимала участок, примыкавший к Нижнему рынку, ограниченный Косьмодемиановской и Болотной (впоследствии переименованной в Торговую) улицами и Большим Монастырским переулком.

В монастырский флигель училище перебралось в 1870 году, а до того оно ютилось в подвальном, сыром и полутемном этаже семинарского корпуса. О та-

ком улучшении появилось сообщение даже во всеподданнейшем отчете Обер-Прокурора Святейшего Синода за 1870 год:

«Училище переведено в принадлежащий Минскому монастырю двухэтажный каменный дом, который на средства духовенства переделан и приспособлен к помещению классных и спальных комнат, причем, в особом деревянном монастырском флигеле устроена больница».

Плата монастырю за аренду каменного здания была вполне умеренной — всего 450 рублей в год (из средств епархии), а за деревянный больничный флигель и того меньше — 80 рублей (из средств училища). Однако каменный корпус оказался тесноват: «…флигель этот был весьма неудобен для помещения такого многолюдного училища…», — читаем в «Исторической записке о приобретении и приспособлении домов для Минского Духовного Училища».

Действительно, здание, как выяснилось, едва могло вместить сто человек. А из заметки «Сведения о духовно-учебных заведениях Минской епархии и о числе учащихся в оных за 1871 год» узнаём:

«…б) в Минском училище было учеников 190 человек, из коих 175 принадлежат к духовному сословию…».

Как училище вышло из положения, объясняет примечание в журнале Правления училища:

«Так как по маловместительности училищного здания нельзя было поместить всех пансионеров в корпусе, то правление, с согласия духовенства, наняло в городе, на Соборной площади… особую квартиру, состоящую из пяти комнат, где и помещено 40 учеников, которые, впрочем, пользуются общим ученическим столом».

Училище платило за наем этой большой квартиры 150 рублей в год.

Вот что сказано в книге В. И. Борковского о первом годе пребывания Евфимия Новицкого в бурсе: «Начинается полуголодная тяжелая жизнь среди чужих людей в четырех стенах (Евфимия Федоровича определили в общежитие при духовном училище). Дерутся старшие ученики, преподаватели, всю первую треть Ефимий Федорович ходит в совершенно рваных сапогах. В первый год обучения Ефимий Федорович вынужден оставаться в бурсе и во время зимних и весенних каникул». Вышеприведенный фрагмент явно несет в себе отголоски воспоминаний Евфимия Феодоровича, видно, иногда он кое-что рассказывал о своем детстве близким людям.

В 1871 году Духовные училища Минской Епархии руководствовались еще старым, бурсацким Уставом. В Минском училище было три отделения — высшее, среднее и низшее, курс каждого рассчитан на два года. В зависимости от успеваемости и поведения учащихся подразделяли на три разряда. Успевающие ученики, из первых двух разрядов, проучившись положенные два года, переводились в следующее отделение. Попавшие по разным причинам в третий разряд оставлялись для повторного прохождения курса. При развитой системе оставления учащихся на повторное прохождение курса в каждом отделении обучение могло растягиваться и на восемь, и на десять лет. Тех, кому было уже за двадцать, в конце концов просто отчисляли по великовозрастности, выдав на руки, как шутливо говорили, титулку о незаконченном образовании. Новый Устав, опубликованный в 1867 году, должен был изменить такую систему, однако он вводился медленно, поэтапно, каждый год лишь в нескольких губерниях. До Минской Епархии очередь дошла только к 1874 году.

Что касается рукоприкладства, то в старой бурсе, действительно, всякое бывало. В чисто мальчишеском коллективе, конечно, случались и грубые шутки, и выяснение отношений на кулаках. Да и система телесных наказаний в то время не была полностью изжита. Еще сильны были старые порядки, привычки, да и просто было еще время грубых нравов. Впрочем, надо полагать, порядки в Минском Духовном училище были уже не те, что в бурсе, в которой в конце 40-х — начале 50-х годов XIX века учился Н. Г. Помяловский и которую он столь блестяще описал. Конечно, жизнь текла не так благостно, как предписывалось

Уставом, но и не так дико и тягостно, как в знаменитых «Очерках бурсы».

Интересно рассмотреть преподавательский состав училища в годы учебы Евфимия Феодоровича.

В 1871 году Председателем Правления был Смотритель училища, кандидат богословия Иван Иванович Моисеев, служивший в этой должности всего лишь два года. Он же преподавал Пространный Кат**и**хизис (так тогда писали), изъяснение Богослужения с Церковный Уставом и латинский язык.

Членами Правления были помощник Смотрителя, студент (то есть выпускник Семинарии) Иосиф Августинович Высоцкий, преподававший Священную Историю (в должности с 20 сентября 1865 г.), и учитель, также студент, Владимир Антонович Заусцинский, преподававший русский и церковно-славянский языки (в должности с 1 сентября 1867 г.). Кроме них в Правление входили священник Минского кафедрального собора Иоанн Михайлович Проволович (с 11 января 1871 г.), священник Сенницкой церкви Стефан Иоаннович Русецкий и священник Холявщинской церкви Кирилл Смолич (оба с 3 сентября 1871 г.).

Греческому языку учил С. Т. Сулковский (в должности с 16 сентября 1847 г.), а географии и арифметике — И. А. Яницкий (в должности с 1 сентября 1839 г.).

На должность учителя пения, чистописания, чтения по книгам церковной и гражданской печати, а также начал Христианского учения с 11 сентября 1871 года был определен Фаддей Викентьевич Костюкевич.

Вот, собственно, и весь преподавательский коллектив. Высоцкий, Заусцинский и Костюкевич, видимо, были людьми нестарыми, энергичными, мыслящими по-современному. Представителями Николаевской эпохи можно считать лишь двоих старожилов училища — Сулковского и Яницкого. Надо полагать, предметы свои они знали отлично, возможно, были строги и суховаты с учениками, но знания, которые они давали, несомненно, пригодились Евфимию Федоровичу в жизни. А впрочем, ему все, чему он выучился, в дальнейшем пригодилось. Особенно же полезны оказались уроки Владимира Антоновича Заусцинского (иногда напечатано — Заустинский) по русскому и церковно-славянскому языкам.

Евфимий Новицкий отличался серьезным отношением к учебе, трудолюбием, усидчивостью и отличной памятью. Физически для своих лет он был прекрасно развит — высокий, крепкий. Безусловно, он смог себя поставить среди сверстников.

Первые годы в училище

Вся жизнь в училище была расписана по уставу.

Интересную информацию о жизни в училище можно почерпнуть из финансовых документов, поскольку, как правило, «Епархиальные Ведомости» публиковали подробнейшую «Смету доходов по содержанию Минского духовного училища» на предстоящий год, а затем, по истечении года, «Отчет о приходе, расходе и остатке суммы, поступившей в Правление». Так, из смет и отчетов можно узнать, что в 1871 году для учеников регулярно устраивались бани, цирюльник стриг их, получая за это по 3 рубля в месяц, а сапожник тачал сапоги для воспитанников училища по 2 рубля 10 копеек за пару. Думается, именно во столько обошлись сапоги в конце первой трети и Евфимию Новицкому. Деньги, вроде, небольшие, да где ж их взять?

Евфимий Новицкий учился, судя по его успехам, очень усердно. Вечерами, в отведенное для занятий время, просиживал часы при свете свечей и керосиновых ламп над тетрадями и учебниками. Свечи и керосин училище закупало пудами: за учебный год в среднем уходило 5 пудов стеариновых свечей, 13 пудов сальных и 24 пуда керосину. В училище была библиотека, где можно было получить нужные для занятий книги. В начале 70-х годов XIX в. в ходу были следующие учебники: «Практическая русская грамматика» Перевлесского, «Латинская

грамматика» Смирнова, «Греческая грамматика» Кюнера, «Арифметика» Воленса, «География» Кузнецова, «Церковный устав» Нордова.

По итогам первого учебного года учащимся выставили суммарные баллы.

«Список учеников Минского духовного училища, составленный Правлением на основании полученных ими по порядку баллов за ответы в классе и во время испытаний по каждому предмету, также и на основании их поведения, за истекший 1871/72 учебный год…

Низшего отделения

...**Евфимий Новицкий**.........73».

Со своим баллом Евфимий Новицкий в списке 14-й по счету. У самого первого ученика — 84 балла, у второго по счету — 82, затем идут трое с 80 баллами, пятеро с 79, двое с 78 и один с 76-ю. Как видно, в низшем отделении было немало очень способных мальчиков.

Все успевающие ученики были оставлены в том же низшем отделении для более прочного усвоения материала, а 8 самых безнадежных, с баллами от 37 до 20, отчислены.

По итогам следующего учебного года Евфимий Новицкий занимает уже 11-е место в первом разряде низшего отделения и переводится в среднее отделение.

Следующий, 1873/74 учебный год начался с перемен: ушел Председатель Правления, Смотритель училища, а вместе с тем и преподаватель нескольких предметов — Иван Иванович Моисеев. Вместо него с 6 сентября 1873 года исправлял должность Смотрителя Иосиф Высоцкий, а его помощником стал Владимир Заусцинский. Впрочем, они оставили за собой все предметы, которые преподавали.

5 сентября на заседании Правления училища, видимо, последнем под председательством И. И. Моисеева, было принято одно очень важное для Евфимия Новицкого решение:

«…II. …4). Зачислить на полуказенные вакансии, образовавшиеся из разделения каждой штатной вакансии на две, с добавлением по 25 руб. в год от каждого, следующих учеников:

По среднему отделению

…**Ефима Новицкого**…».

Для Минского Духовного училища уже давно были назначены 63½ штатные казенные вакансии, средства на которые поступали от Святейшего Синода. Правление училища на сей раз поступило так: 52 ученика получили полное казенное содержание, а 23 — половинное. И вот Евфимий Новицкий наконец попал в число этих полуказенных.

Жить семье Новицких в Ятре стало чуть полегче.

С 15 января 1874 года в училище появился новый Смотритель — кандидат богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии Аггей Никодимович Горбацевич, до этого более семи лет преподававший латынь в Минской Семинарии. Он же стал и Председателем Правления. Началась подготовка к переводу училища на работу по новому Уставу, с новым штатным расписанием. О грядущих изменения все знали давно. Еще летом 1873 года в «Минских Епархиальных Ведомостях» было опубликовано сообщение о том, что Его Преосвященством Епископом Минским и Бобруйским, получена выписка из определения Св. Синода за № 33 от 4/19 апреля 1873 года о введении со 2-й половины 1874 года преобразований по новым уставам и штатам в духовных заведениях. Отныне классов в училище становилось четыре, с годичным курсом в каждом (Устав § 9), да еще должен был открыться подготовительный класс. По окончании учебного года началось перераспределение учащихся.

«Рассмотрев баллы по успехам и поведению учеников Минского духовного училища за 1873/4 учебный год… члены Правления определили:

1). Следующим образом распределить учеников по классам:

…В). ко II классу причислить следующих учеников среднего отделения:

…Ефима Новицкого…».

В списке из 44 фамилий Новицкий уже восьмой. Интересно, что согласно § 83 нового Устава в классе не должно было быть более 40 человек, но на переходном этапе, видимо, допускался небольшой перебор. Однако это не столь важно. Существенна другая, неприятная новость: под разговоры о реформе заметно, на 10 рублей подняли плату, как теперь стали называть, за пансион.

«IV. Члены Правления рассматривали прошения о приеме учеников на пансионерное содержание и по соображении с помещением в корпусе, равно по вниманию к состоянию родителей, определили:

Принять на пансионерное содержание, с платой по 60 р. в год от каждого, следующих учеников:

…60. **Ефима Новицкого**…»

По новому Уставу

Жизнь в Минском Уездном Духовном училище протекала размеренно и монотонно. Все было расписано по Уставу.

Ученики ежедневно слушали положенные молитвы: утром и вечером, до и после еды, при начале и окончании уроков в классе. В воскресные и праздничные дни они должны были непременно присутствовать при Богослужении, всенощном или утреннем, или литургии, и по возможности участвовать в чтении и пении на клиросе. Строго соблюдались посты.

В обычный учебный день было, как правило, 4 урока, а два дня в неделю — по 3; каждый урок продолжался час с четвертью, промежуток для отдыха — четверть часа. В свободное от занятий время ученики могли отдыхать, гулять, играть и делать физические упражнения, как было сказано, «способствующие развитию и укреплению телесных сил».

Питались ребята в столовой училища. Из ежегодных отчетов об использовании поступивших сумм можно составить представление об их повседневном рационе. Еда была самая простая: щи, каша. Училищный хлебопек делал хлебы, а по воскресеньям и праздничным дням к завтраку выпекал булочки весом по полфунта. Перед постами училище закупало у поставщиков грибы, снетков, бочонки сельдей.

Наставники бдительно следили за внешним видом и поведением подопечных. § 104 Устава требовал: «Ученикам должны быть внушаемы правила внешнего приличия, вежливости, бережливости, опрятности и другие подобные добрые навыки». Существовала в училище и продуманная, издавна отлаженная система наказаний, правда, с введением нового устава жестокие воспитательные приемы стали отходить в прошлое. «В случае какой-либо неисправности, шалостей или проступков учеников назначаются им исправительные взыскания, которые должны быть избираемы со строгою разборчивостью в отношении к их роду и качеству и соображаемы с возрастом и характером исправляемых; во всяком случае они не должны быть грубы, унизительны и жестоки».

Евфимий Новицкий увлеченно учился, не отвлекаясь на пустяки, с учителями и одноклассниками держал себя сдержанно и корректно, поэтому, судя по его итоговым местам в конце каждого года, о каких-либо нареканиях, взысканиях и уж тем паче наказаниях не могло быть и речи.

После прихода нового Смотрителя начались перемены в составе преподавателей и служащих училища. Надзирателем и экономом был назначен Константин Григорьевич Жуковский. В том же 1874 году вместо ушедшего на заслуженный отдых Ивана Андреевича Яницкого, представленного к ордену за 35 лет добросовестной службы, обучать арифметике и географии стал Лев Петрович Успенский, только что окончивший курс в Минской Духовной Семинарии. Выпускники этой Семинарии пополняли состав учителей и в дальнейшем — Федор Васильевич Якубович (с 1875 г.), Иван Поликарпович Строковский (с 1876 г.).

С 1874 года в штате училища появляются 12 служителей (видимо, из монастырских воспитанников). За работу им причиталось всего по 3 рубля в месяц. Повар получал 4 рубля, а хлебопек — 5 рублей.

Плата за пансион в 1875/76 учебном году опять поднялась — до 67 рублей (к 60 рублям прибавились еще 6 рублей за полдники и 1 рубль на приобретение кроватей). Цены постоянно росли, жить становилось все труднее. Это ощущалось даже в монастыре, один из флигелей которого занимало училище: «При настоящих средствах монастыря дальнейшее содержание такого количества бедных и сирот монастырю будет не под силу, так как средства к жизни год от года все дорожают». В 1875 году все учебные классы из монастырского флигеля были переведены, осталось только общежитие, да и то лишь для половины учащихся — 70 казеннокоштных.

Еще в 1872 году для Минского Духовного училища был приобретен за 35 тысяч рублей комплекс зданий на углу Соборной площади и Койдановской улицы, состоявший из большого каменного трехэтажного корпуса и двух флигелей, тоже каменных, двух- и одноэтажного. Была еще конюшня, 8 деревянных сараев, два ледника и даже кирпичная будка для сторожа. На эту покупку 30 тысяч выделила казна, а недостающую сумму духовенство дополнило из местных средств. Однако сразу воспользоваться купленными зданиями было невозможно, поскольку главное строение было отдано предыдущим владельцем в долгосрочную аренду под Минскую Почтовую Контору. Поначалу только квартира смотрителя и старшее отделение разместились в одном из флигелей (двухэтажном). И только к новому 1875/76 учебному году совершился обмен: почтовая контора переехала во флигель, а Духовное училище разместилось в главном корпусе, которое было спешно, за лето, переделано и подготовлено к приему учащихся. Все классы размещались на первом этаже, второй этаж был отведен под ученические спальни (10 комнат). В этом же здании разместились кухня, пекарня и столовая.

Третий класс Евфимий Новицкий закончил блестяще. Вот выдержка из протокола, опубликованного в «Минских Епархиальных Ведомостях»:

«20 июня 1876 года, в 5 часов вечера, прибыли в правление минского духовного училища:

Председатель, смотритель А. Горбацевич, помощник смотрителя Иосиф Высоцкий, члены правления: учитель Владимир Заусцинский, священник Иоанн Проволович, священник Стефан Русецкий.

Рассмотрев баллы по успехам и поведению учеников минского духовного училища за 1875/6 учебный год… определили:

…Б. Перевести из III класса в IV, с причислением

1. К первому разряду:

Евфимия Новицкого…».

Среди 8 учащихся, причисленных к первому разряду, Евфимий Новицкий значится первым. И далее читаем:

«3. Учеников, оказавших отличные успехи по всем предметам, при похвальном поведении наградить книгами:

III класса: **Евфимия Новицкого**».

Количество полных казенных вакансий к началу следующего учебного года увеличилось до 75, училищное Правление 25 поделило надвое, и таким образом и казеннокоштных, и полупансионеров стало поровну, по 50. В то же время плата за полный пансион возросла до 72 рублей, полупансионеры должны были внести по 50 рублей.

Как конкретно распределились вакансии, «Минские Епархиальные Ведомости» в том году почему-то не сообщили. Зато благодаря публикации подробнейшего «Отчета о приходе, расходе и остатке сумм окружного духовенства на содержание Минского духовного уездного училища за 1876 год» известно, как поступали деньги за пребывание Евфимия Новицкого в Духовном училище.

«…7. Сбора за содержание в корпусе пансионеров 5905 рублей 41 копейка.

Сумма эта получена при прошениях:

…И. д. псаломщика **Феодора Новицкого** — 24...».

Затем указано, что сам Евфимий Новицкий внес при двух прошениях 23 и 33 рубля. То есть, непомерно тяжелый для Новицких платеж в том году составил 80 рублей!

В 1877 году зафиксировано еще два платежа Евфимия Новицкого — сперва 20 рублей и под конец еще 4, «…за содержание в училищном корпусе столом и квартирою…».

Сейчас трудно понять, за какую именно треть был каждый из этих платежей. Всего за полтора года внесено 104 рубля. Похоже, что в последние два года учебы приходилось оплачивать полный пансион. Последний платеж в 4 рубля показывает, с какими усилиями, по крохам, наскребались деньги.

Надо заметить, что к этому времени шестнадцатилетний Евфимий Феодорович уже сам частично зарабатывал на свое содержание в училище. Начальство стало разрешать лучшим, наиболее успевающим ученикам из старшего класса отлучаться из корпуса на так называемые «кондиции», то есть на уроки по приглашению, по найму. Как правило, требовалось подготовить маленьких детей, из семей торговцев и чиновников, к поступлению в гимназию или реальное училище. 4 рубля последнего взноса — это, видимо, и есть плата за уроки.

Вот что пишет В. И. Борковский об этом периоде жизни будущего академика: «Несмотря на тяжелые условия, Ефимий Федорович усиленно занимается и в четвертый класс переходит первым учеником. Будучи в четвертом классе, Ефимий Федорович дает частные уроки, чтобы помогать семье, которая благодаря ему смогла, наконец, выполнить давнишнее желание — купить лошадь».

Действительно, отцу, видимо, большое время уделявшему работам на принадлежащих Ятранской церкви землях, лошадь была крайне необходима. В то время хорошая лошадь стоила рублей 35—40.

Пока старший сын взрослел и успешно переходил из класса в класс, в жизни Феодора Новицкого тоже происходили перемены. В начале октября 1875 года он был награжден:

«При освящении Новогрудской Борисоглебской церкви… Посвящены в стихаря и. д. псаломщиков… Ястребской церкви **Феодор Новицкий**».

В сообщение, как несложно догадаться, вкралась ошибка: кто-то, переписчик или наборщик, перепутал Ятранскую церковь с Ястребской. Тем не менее пришлось все проверять и перепроверять, чтобы удостовериться, что в селе Ястрембль (иногда писали Ястребль или просто Ястреб) в то время служили совсем другие лица. Нет никаких сомнений: Феодор Новицкий вплоть до 1879 года места работы не менял. Поэтому можно утверждать, что к родным на каникулы, или, как тогда говорили, на вакации, Евфимий приезжал именно в Ятру. Ездил он, скорей всего, по открывшейся поздней осенью 1871 года линии Московско-Смоленско-Брестской железной дороги. Доезжал до станции Барановичи, которая совсем недавно была крохотной деревушкой, но на глазах разрасталась в крупный железнодорожный узел, а затем ехал на подводе или, может быть, даже шел пешком около 35 верст. Когда купили лошадь, отец, наверно, приезжал встречать сына на станцию.

Другое важное событие в жизни Феодора Новицкого было связано с тем, что в 1876 году начала осуществляться церковная реформа, которая в основном заключалась в сокращении штатов при одновременном увеличении жалованья оставленным на должности священно- и церковнослужителям.

«Выписка из журнала Присутствия по делам православного духовенства Высочайше утвержденного 27 декабря 1875 г.

(К сведению духовенства)

I. Расписание приходов и причтов в епархиях: Литовской, Минской и Полоцкой утвердить.

II. …каждую церковь следует поручать, по возможности, особому священнику с псаломщиком…

…IV. …возвысить оклады, на счет освобождающихся остатков от жалованья по случаю упразднения вакансий в причтах упомянутых трех епархий: сельским священникам, как настоятелям так и помощникам их, до 408 р. … сельским псаломщикам до 122 р. 40 коп. в год».

Теперь, чтобы получить место псаломщика и соответствующее жалованье, Феодору Новицкому предстояло пройти аттестацию.

Русско-турецкая война

В 1876 году все газеты Российской Империи, в том числе и «Минские Губернские Ведомости», помещали тревожные телеграммы с Балканского полуострова. Там, в Боснии и Герцеговине, а также в Болгарии, в обстановке подъема национально-освободительного движения начались столкновения повстанцев с карательными отрядами Османской империи. В мае болгарские инсургенты были разбиты в нескольких сражениях, а в Боснии и Герцеговине бои продолжались, причем, в прессе регулярно помещались телеграммы, сообщавшие о жестоких расправах турецких войск с мирным христианским населением. В Российской Империи, по Высочайшему повелению, был открыт сбор средств в пользу пострадавших.

Во второй половине июня Сербия и Черногория, желая взять под свое управление Боснию и Герцеговину, двинули против Османской империи свои войска, однако вскоре выяснилось, что их сил явно недостаточно и они, несмотря на стойкость тысяч русских волонтеров, вынуждены отступать. К осени положение Сербии и Черногории стало критическим.

Трудно сейчас сказать, насколько внимательно следил в то время пятнадцатилетний Евфимий Новицкий за политическими новостями. В июне он сдавал экзамены за третий класс, а летние каникулы, видимо, провел в деревне, с родителями, поскольку известно, что именно тогда он и помог в покупке лошади. В сентябре 1876 года приступил к учебе в четвертом, последнем, классе Духовного училища, скорей всего, у него просто не было времени и возможности вникать в подробности сражений. Однако, несомненно, учащимся рассказывали об избиении христиан на Балканах, приводились многочисленные факты из газет об осквернении православных храмов, об уничтожении колоколов и святых икон. Все это должно было оказывать сильнейшее эмоциональное воздействие. Во всем обществе, и, разумеется, среди учащейся молодежи рос обостренный интерес к судьбам южных славян, подпавших еще в XV веке под османское иго и теперь стремившихся к освобождению. Стремление к свободе — что может быть достойней и благородней! Быть может, именно тогда у Евфимия Феодоровича возникла мечта увидеть Белград — название этого города часто мелькало на газетных страницах, именно в Белград отправлялись русские добровольцы. Желание это осуществилось только через пятьдесят лет, в другой уже исторической обстановке, и поездка была связана с большими трудностями, грозила неприятностями (об этом — далее, в своем месте).

12 апреля 1877 года Император и Самодержец Всероссийского престола Александр II подписал Манифест:

«Всем Нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое мы всегда принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить положение его разделял с нами и весь Русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова.

…Порта осталась непреклонною в своем решительном отказе от всякого действительного обеспечения безопасности своих христианских подданных и отвергла постановления константинопольской конференции.

Исчерпав до конца миролюбие Наше, Мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным.

Ныне, призывая благословение Божие на доблестные войска Наши, Мы повелели им вступить в пределы Турции.

Александр».

О том, как приняли известие о начале войны в Минске, можно узнать из «Местной хроники» в следующем выпуске губернской газеты:

«В воскресенье, 17 сего Апреля, по случаю празднования дня Рождения Его Величества, Государя Императора Александра Николаевича, Высокопреосвященным Архиепископом Минским и Бобруйским Александром совершена была в Кафедральном соборе Божественная Литургия... По окончании Литургии, в преднесении Чудотворной Иконы Божией Матери, совершен был Его Высокопреосвященством, со всем градским духовенством, крестный ход на Соборную площадь, где при полном сборе всех находящихся в Минске войск и при многочисленном стечении народа, буквально наполнявшего всю площадь, был прочитан Высочайший Манифест о вступлении Российских войск в пределы Турции… Вслед за тем Высокопреосвященным Архиепископом Александром сказана была речь, а потом отслужено благодарственное Господу Богу молебствие, с коленопреклонением, с присоединением молений об успехах русского оружия…

Вечером город был иллюминирован».

Думается, в торжественном действе — в литургии, в крестном ходе, в молебствии на площади — учащиеся Духовного училища обязаны были участвовать. Значит, в Кафедральном соборе и затем на площади был и шестнадцатилетний Евфимий Новицкий. Возможно, четыре дня спустя, 21 апреля, видел он и выступавшие из Минска войска — два пехотных полка, Серпуховский и Коломенский, и 30-ю артиллерийскую бригаду. И конечно, поднявшаяся в обществе волна интереса и сочувствия к южным славянам, вообще к славянству, должна была и его коснуться, подхватить. Вообще этот эмоциональный подъем 1877 года, возможно, и привел его в дальнейшем к избранию славяноведения делом своей жизни, к неколебимой вере в важность и необходимость изучения славянских языков и древних памятников славянской письменности, глубокого исследования самобытной культуры славянских народов, и в первую очередь, разумеется, наиболее близкого ему, родного — белорусского.

Еще один интересный штрих. В том же номере губернской газеты, в котором сообщается о крестном ходе и проводах войск, приводится следующая телеграмма от 13 апреля:

«По слухам, на азиатской границе, под Карсом, произошла схватка».

Это было первое сражение начавшейся войны. Евфимий Новицкий, разумеется, помнил, что в метрическом свидетельстве он записан под фамилией Карский. Фамилия, понятно, возникла не от названия далекой азиатской крепости, но все-таки эта их созвучность не могла не привлечь его внимание; впрочем, и в дальнейшем в нашей семье по этому поводу неоднократно возникали различные предположения. И вот Евфимий Новицкий слышит про Карс, читает о боях под Карсом… Возможно, именно в это время он впервые и задумался над тем, что если ему предстоит когда-либо выйти из духовного ведомства, то при этом придется вернуться к своей первоначальной фамилии, записанной в метрике.

Что ж, после побед русского оружия под Карсом фамилия звучала совсем неплохо.

Выпускные экзамены

Выпускные экзамены в Духовном училище проводились обычно в конце июня.

В 1877 году заведенный порядок был нарушен. И виной тому — сильнейший пожар, причинивший зданию училища немалый ущерб.

«…В воскресенье 19 июня, в 3 часа пополудни, загорелись холодные постройки, смежно расположенные в домах купцов Гурвич, отсюда пожар распространился на Богодельную, Немигскую улицу и на Соборную площадь: теснота улиц и построек давала полный простор распространиться пожару. Пожар угрожал Губернскому Казначейству, Римско-Католическому костелу, губернаторскому дому и лучшей и промышленной части города. Пожар потушен благодаря энергическим распоряжениям полиции. Сгорело жилых строений 42, нежилых 47. Сгорели 2 еврейских школы, дом почтовой конторы, духовного училища».

Окончание сообщения настолько нескладно, что требует пояснений. На самом деле духовное училище пострадало не очень сильно, сумма ущерба была определена в 540 рублей. А вот принадлежащий училищу флигель, в который два года назад переселилась почтовая контора, выгорел дотла.

Об ущербе главному корпусу можно судить по приложению к Акту № 2 съезда духовенства в августе того года. Съезд как раз и занимался всеми вопросами, связанными с устранением последствий пожара. В документе, составленном смотрителем училища 17 августа за № 206, перечислены неотложные работы:

«…1. вставить разбитые стекла; 2. исправить испорченные двери; 3. вделать выгоревшие косяки оконные и сделать новые к ним окна; 4. исправить выломанные замки; 5. исправить раскрытую в одной части крышу; 6. починить испорченную мебель и другие вещи…».

Кое-где требовалось восстановить отбитую штукатурку и произвести побелку. Из-за пожара экзамены в училище были перенесены.

«Извлечение из журнала Правления Минского духовного училища от 5 июля 1877 года за № 18…

II. Члены Правления училища… имели рассуждение о времени и порядке экзаменов ученикам Минского духовного училища по тем предметам, по которым таковые не были произведены до каникул по случаю пожара в училище…

Определили: 1) так как ученикам IV класса не произведены экзамены по 4 предметам, а между тем ученикам этого класса приемные экзамены в семинарию должны начаться с 16 августа, то произвесть им испытания 12 и 13 августа, 14 августа назначить для составления списков и заготовления свидетельств».

Итак, лето у Евфимия Новицкого оказалось скомканным. И впереди было нелегкое испытание: выпускные и приемные экзамены предстояло сдавать подряд, без передышки.

Летом учащимся не разрешалось жить в общежитиях училища — там в это время проходили ремонт и уборка. Думается, что в поврежденном пожаром корпусе, который сразу же стали восстанавливать, тем более нельзя было задерживаться. Поэтому, скорей всего, Евфимий Новицкий уехал на полтора месяца в Ятру. Там, на природе, он отдохнул, набрался сил и как следует подготовился к предстоящим испытаниям.

Сдав 12 и 13 августа выпускные экзамены, Евфимий Новицкий получил свидетельство об окончании училища, содержащее не только оценки знаний, но и сведения о поведении. К сожалению, документ этот пока не обнаружен. Свидетельство давало возможность продолжить учебу по духовному ведомству, и Евфимий незамедлительно подал прошение о приеме в Минскую духовную семинарию.



ЭСФИРЬ ГУРЕВИЧ

Полевая почта 43177 Д[1]

Памяти фронтовых подруг
Наташи Безукладниковой
и Саши Митрофановой-Калинычевой

Зачем я пишу?

Передо мною небольшая пачка пожелтевших, выцветших от времени и ветхих, особенно на сгибах, писем военной поры. Некоторые из них написаны карандашом, местами стершимся, и читаются с трудом. Время от времени, когда наплывают воспоминания, я перечитываю их, точнее сказать, припадаю к ним душою, остро осязая идущие от них горькие запахи и вкус войны, даже ее цвет, преобладающе кроваво-траурный.

Все эти письма адресованы мне на полевую почту 43177 Д. Они — от брата Левы, уже ближе к концу войны, когда он после побега из плена пробился к белорусским партизанам; из Бугуруслана, где находилось тогда Центральное справочное бюро при СНК СССР, — в ответ на мои запросы о родных; от председателя Татарского сельского совета (Смоленской обл.), к которому я обратилась с просьбой сообщить о судьбе моего дяди — Боруха Цемехмана и его семьи; от раненого Левы Белова — из тылового госпиталя.

В той пачечке, бережно хранимой, есть особо примечательные и дорогие для меня реликвии, например, короткое письмо брата, присланное им из пинского госпиталя, где он оказался с воспалением раны, полученной в битве за освобождение Белоруссии еще в мае (датировано 9 августа 1944 г.). На обратной стороне двух небольших госпитальных бланков значится:: Szpital Powietowy w Pinsku. Бланки совсем уже обветшавшие.

Какая это была радостная весточка, несмотря на ранение! Наконец-то после долгих, непрекращающихся поисков брат откликнулся! Жив, хотя и ранен! К тому же бодрый, оптимистичный, пафосный, как и большинство тогдашних молодых фронтовиков!

«Треугольнички», «квадратики» войны представлялись мне крылатыми птицами, несущими то благие, то черные вести. Такой черной вестью было для меня официальное сообщение о том, что мой дядя Борух Цемехман и вся его семья — жена Фрейда, два их сына, выпускник 10-го класса Миша и 9-летний Мулик — вместе с другими жителями еврейского местечка Татарск были сосланы фашистами в лагерь и в 1942 г. убиты. Их имена значатся в скорбном перечне имен погибших в войну евреев, хранящемся в Институте-Мемориале Яд Вашем. Но здесь и сейчас, в самом начале своего повествования мне хочется сказать о них свое короткое поминальное слово, потому что оплаканные загубленные жизни — это прежде всего знак нашей общей военной памяти, преодоления мрака бесследности, страха забытья. К тому же гибель близких людей, непосредственная причастность моей семьи, пусть небольшой, к общечеловеческой в широком смысле трагедии XX века, какой была Великая Отечественная война, естественно, окрашивает настрой и пафос этих воспоминаний.

[1] Журнальный вариант.

* * *

Итак, надеюсь, уже ясно, что за номером 43177 Д скрывался военный госпиталь. Таких чрезвычайных спасателей на дорогах-пожарищах войны было немало, а этот, наш (я же пишу не только от своего имени, а и в память о своих фронтовых подругах, большинства которых уже, к сожалению, нет с нами), назывался СЭГ-290, что означало: Сортировочный эвакогоспиталь-290 Западного, позднее — 3-го Белорусского фронта, следовавший за ним по пятам.

Свою военную дорогу он начал с г. Вязьмы (ст. Новоторжская), где получил первое боевое крещение, а затем были Москва, снова Вязьма, потом Минск, Вильнюс, Каунас, Кибартай и такие города Восточной Пруссии, как Инстербург, Бартенштейн, Тапиау; войну закончил под Кенигсбергом. В каждом из этих пунктов (я не называю промежуточные непродолжительные остановки) наш госпиталь как главная медицинская база фронта развертывал в скоростном режиме свое «боевое хозяйство», чтобы взять на себя основной поток раненых — из санитарных поездов, летучек, МСБ, а иногда и прямо с поля боя, как это было, например, в Минске. Откуда шло поступление, мы узнавали, знакомясь с историей болезни раненого.

Тогда, особенно поначалу, работая в одном из хирургических отделений госпиталя-махины, я из своего далекого от центра управления маленького уголка, естественно, не представляла себе всего его масштаба. Мое представление о нем расширилось позднее, когда появились книги начальника госпиталя Вильяма Гиллера[1] и когда по инициативе созданного в Москве Совета ветеранов стали налаживаться регулярные встречи сэговцев в столице. В Дом медицинских работников в Москве на ул. Герцена, 19 съезжались в те дни из разных концов страны бывшие труженики СЭГа-290 — врачи, сестры, санитарки, работники хозяйственных служб, и этот многоголосый, многоликий и шумный сбор с горячими объятьями, приветствиями, узнаваниями и минутными воспоминаниями: «А ты помнишь?.. Помнишь?..» — создавал особое ощущение силы и значимости нашего общего четырехлетнего Дома военной поры.

В. Гиллер характеризует СЭГ-290 как госпиталь нового типа в том смысле, что он не имел прямых аналогов ни в русской, ни в зарубежной медицинской практике, хотя идею такого рода госпиталей (применительно к полевым) пытался осуществить частично Н. Пирогов в Севастопольскую войну. Отличительная особенность нашего госпиталя заключалась, как я понимаю, в том, что он не только оказывал необходимую помощь раненым, но и выполнял одновременно все важнейшие и необходимые в военных условиях функции: сортировку раненых (в зависимости от тяжести и характера повреждения), их лечение на уровне, приближенном к стационарному, а затем эвакуацию в тыловые госпитали для продолжения лечения. Лечебная функция была важнейшей, во всяком случае, такой я ее воспринимала, поскольку именно она входила в круг моих непосредственных обязанностей как медсестры и попадала в поле моего зрения.

О госпитале написаны статьи, книги, диссертации, последние — на богатом материале медицинской практики в условиях войны. Рядовые ветераны-сэговцы, последние из могикан, иногда и сейчас продолжают подавать свой голос.

У меня в данном случае своя задача — рассказать о том, что видела, чувствовала я, поначалу совсем неопытная рокковская сестра с девятимесячной предвоенной подготовкой, пропуская происходившее сквозь призму собственного восприятия, через свою судьбу и судьбы близких мне людей; к уже известному добавить что-то свое, вглядываясь в прошлое глазами дня сегодняшнего.

Я отдаю себе отчет, что угол моего обозрения до обидного узок. Поглощенная своим трудным повседневным делом, требующим напряжения сил, практически

---

[1] В. Гиллер. Во имя жизни. М., 1957; В. Гиллер. И снова в бой. М., 1979.

не выходя за ограду госпиталя и даже за пределы своего хирургического отделения, я чувствовала себя в тысячной массе сэговцев лишь маленьким винтиком, песчинкой внутри большой махины (достаточно сказать, что в госпитале было 10 отделений разного профиля и хозяйственные службы), действующей безотказно и безостановочно. Тем не менее каким-то непостижимым образом мне передавались дыхание и ритм этого могучего механизма, управляемого, что чувствовалось, единым мозговым центром, излучающим мощную энергетику и волю.

Такими источниками энергии были для нас, сестер, прежде всего начальник госпиталя полковник Вильям Ефимович Гиллер, комиссар подполковник Георгий Трифонович Савинов, главный хирург Михаил Яковлевич Шур. К ним, объективности ради, следовало бы добавить, наверно, и еще несколько видных имен, как медиков, так и хозяйственников, которые были на слуху, но с ними мне не приходилось сталкиваться непосредственно.

Есть еще один момент, ограничивающий, возможно, остроту моего тогдашнего видения: свойственная мне юношеская наивность и одномерность, романтическая настроенность и еще «ортодоксальность» моей веры в святость «верховной», как метко обозначил ее А. Битов, коммунистической идеи, застилавшей все вокруг. Но в данном случае последнее только укрепляло дух и не меняет и не колеблет основные критерии моей сегодняшней оценки событий той Великой войны.

Мои сегодняшние заметки — не воспоминания в чистом виде. Задуманные вначале в расчете на семейный архив — для детей, внуков (в определенной мере инициированные моей старшей внучкой), а также для будущих пра..., они в процессе работы непроизвольно вышли за рамки первоначального замысла и приобрели, как мне кажется, более широкий смысл. Они вылились в итоге в своего рода исповедь с соответствующими размышлениями и отступлениями от хроники событий — о людях, с которыми прошла войну, и даже о литературе. Последние в этом контексте не кажутся мне чужеродными, они органичны для меня как литературоведа, потому что отправная их точка — все та же война, насильственно, властно вбирающая в себя все аспекты человеческой жизни.

Я осознаю трудности и опасности, меня подстерегающие, и все же, несмотря на них, рискую. Надеюсь, мне помогут в этом мои записки того времени, а также военный дневник подруги-однополчанки Саши Митрофановой, который я опубликовала в 1989 г. в белорусском русскоязычном журнале «Нёман» уже после ее смерти.

В самом начале юдоли

Война застала нас врасплох. Она ворвалась в мою жизнь, когда я была студенткой предпоследнего курса филфака МГПИ им. Ленина. Там же, но на физмате, учился мой старший брат Лева, к тому времени сдавший уже последний госэкзамен. Студенты в патриотическом порыве рвались на фронт. Вскоре брат ушел в народное ополчение Фрунзенского района Москвы, сформированное из студентов, аспирантов, профессуры института, а также из рабочих, техников, инженеров завода «Каучук» и других предприятий района.

Мой курс отправился в подмосковную деревню Хотьково на строительство железнодорожной ветки для подвоза гравия к метро. Как ни странно, в этой деревне была нехватка воды для питья, и нам довелось утолять жажду какой-то заболоченной зеленоватой водой. Ходили на работу за 8 км от места расположения, и поскольку в день приходилось протопать в общей сложности километров двадцать и при этом еще дружно поработать — корчевать пни, испытывая нехватку мужской силы. Я, непривычная к такой нагрузке, с трудом дожидалась вечера, чтобы можно было наконец-то лечь, вытянуть отяжелевшие ноги и отдохнуть. Думаю, что если бы нам пришлось все это делать позже, после той

школы стройки, которую мы прошли в Пыжовском лесу, под Вязьмой (о чем — в другом месте), я восприняла бы свое пребывание в Хотьково с бóльшей юношеской легкостью.

Правда, вскоре ситуация изменилась: меня назначили «главным лекарем» нашей студенческой строительной бригады, благо, за пару лет до войны я, учась в институте, одновременно закончила курсы медицинских сестер. Мне поручили организовать передвижной пункт скорой помощи (стационарный находился за несколько десятков километров от стройки): передвигаясь по участкам, где работали студенты нашего института, я должна была служить своего рода медицинской охраной, быть в роли доктора Айболита, только рангом пониже.

Согласилась на это не сразу. Практического опыта не имела, медицинскими знаниями была тоже не сильно обременена, но поддалась на уговоры. Взялась за учебные пособия, справочники, съездила в ближайший Загорск за лекарствами первой необходимости и с чемоданчиком-аптечкой в руке, в белой косынке и ярком сарафане Ярцевского пошива, босиком (погода в то лето выдалась теплая, ясная) стала переходить от участка к участку строительства со своей доброй миссией, как бы подстраховывая братьев-студентов в случае каких-либо непредвиденных травм.

Думаю, что эта миссия имела больше психологический, чем практический эффект. Я делала перевязки при незначительных повреждениях, давала, если кто-то жаловался, порошки от головной боли и «от живота», прикладывала лекарственные примочки в случае необходимости, короче — лечила как могла. Старалась долго на одном месте не задерживаться: постоянно одолевал страх — вдруг в это же время что-нибудь случится на другом участке. К счастью, за весь недолгий час моего первого «сестринства» ни одного тяжелого случая не произошло.

Ребята, как правило, отчаянно пытались меня удержать, придумывая разные предлоги и жалобы: им хотелось и пошутить немного, и передохнуть заодно. Уже издали, завидев мой красный сарафан, они радостно кричали: «Сестричка, сюда!» — и призывно махали руками. Эта моя первая медицинская практика была скорее веселая, чем трудная.

Из Хотьково мы вернулись в Москву, примерно через месяц, в августе, загоревшие и возбужденные. Слухи о бомбежках Москвы подтвердились, хотя, как мне показалось, были несколько преувеличены. Столица жила по-прежнему шумно, но неспокойно, напряженно. С вечера начиналось ожидание воздушной тревоги. Вой сирен раздавался примерно в один и тот же час. Многие еще до ее объявления собирали самые необходимые и ценные вещи, чтобы взять их в убежище, в метро, куда уходили целыми семьями, иногда заблаговременно — занять место. Парадоксально, что когда тревога запаздывала, начинали даже беспокоиться: хотелось скорее пережить мучительное время.

А в институте начались занятия. Поначалу мне казалось просто несерьезным говорить и думать об учебе, когда идет такая страшная война. Да и какие занятия после бессонных ночей — дежурства на крышах, во время которых тушили немецкие зажигалки песком и водою. Но надо было учиться. Как-никак, последний курс…

Мама

Один за другим сдаются города: Минск, Киев, Брянск, Орел, Калуга… Уже заняты Смоленск и Ярцево, город, из которого мы с братом уехали учиться в Москву. Ожесточенные бои идут под Вязьмой — важным стратегическим пунктом на подступах к столице. Оборвана связь с родителями, а также с братом.

И вдруг в один из безвестных дней получаю открытку: незнакомый почерк, почтовый штамп Вязьмы и обратный адрес больницы. Пробегаю глазами и понимаю: это мама рукою сестрички-практикантки подает о себе весточку. Сама она

писать не может, лежит, разбитая параличом, к тому же в постоянной тревоге за нас, детей своих. Но почему Вязьма? Как она там очутилась? И что с отцом?

Радость и горе — все сошлось разом: «Жива, жива, родная! Но такая больная и совсем беспомощная…» Единственно возникшее желание — увидеться во что бы то ни стало. Недолго думая несусь в деканат, пишу заявление об отпуске в связи с непредвиденными обстоятельствами, запасаюсь белым халатом и, не дожидаясь официального разрешения, мчусь на вокзал — в Вязьму.

Это было, помнится, 1 октября 1941 г. Город беспрестанно бомбили. Напряженный голос диктора через короткие промежутки времени оповещал о приближении очередной группы бомбардировщиков: «Граждане, воздушная тревога! К городу приближаются…» — называлось иногда количество самолетов, и следом, после маленького интервала, раздавались удары и взрывы.

Маму я почти сразу угадала глазами и сердцем среди десятка женщин, лежавших в большой палате, хоть изменилась она до неузнаваемости: остриженная, поседевшая голова, глубокие впадины щек, грустные, потускневшие глаза, катастрофическая худоба; бледные иссохшие руки поверх одеяла.

Мое появление в белом халате не вызвало у нее интереса, и только когда я бросилась к ней, целуя ее холодные руки, глаза на бескровном лице засветились радостью, и мы обе заплакали. Успокоившись, она рассказала, что беда приключилась с ней, когда разбомбили наш дом в Ярцево (родители владели только половиной дома). Маму тогда положили в больницу, из которой перед самым захватом города фашистами больных удалось срочно эвакуировать в Вязьму. Об отце с этого времени она ничего не знала.

Маме было худо. А кольцо вокруг города все сжималось. Интервалы между бомбежками с каждым днем становились все короче. Налеты участились настолько, что уже не имело смысла объявлять воздушные тревоги, слышался один только вой сирен. Безнадежно опасная близость врага не оставляла никаких иллюзий. Между тем, приближался день моего отъезда. Я понимала: каждое мгновенье может стать гибельным; уеду, и эта наша встреча станет последней. Но как забрать маму с собой? Как везти ее, неподвижную? И куда определить в Москве, где нет ни родных, ни каких-либо связей? Одни безответные вопросы…

Однако мысль, что оставить маму в Вязьме значит расстаться с ней навсегда, безотчетно толкала к действию. Первый шаг — я побежала к военному коменданту станции Вязьма, то и дело пережидая бомбежку и беспомощно озираясь, где бы спрятаться от звенящих вокруг осколков. Когда добралась, наконец, до цели, волнуясь, коротко описала коменданту свою ситуацию, и — о радость! — получила разрешение на проездные билеты в Москву.

Вечером на подводе, предоставленной главным врачом больницы, с помощью санитаров, уложивших маму на носилки, мы привезли ее к поезду. Началась проверка документов. И тут — о боже! — выяснилось, что для мамы нужен специальный пропуск: Москва на осадном положении! Поникшие, мы вернулись в больницу.

Ситуация казалась фатальной, безвыходной. От пропуска зависела теперь наша судьба. Следующим утром я помчалась к военному коменданту, уже не станции, а города. Только он мог в тот момент нас спасти. По дороге меня не раз останавливала бомбежка. Белые халат и косынка служили мне беспрепятственным пропуском для патрульной службы. Через тройную охрану я пробилась к коменданту и выдохнула-выплеснула ему свою просьбу-мольбу. А он был весь в заботах и тревогах тяжелых дней накануне неизбежного и горького отступления, но… выслушал меня и услышал — душой — мою боль. Я не помню, к сожалению, фамилию вяземского коменданта, в дымке лет стерлось и его лицо; сквозь завалы памяти видятся мне только его глаза — большие, понимающие, грустные, и не истаял светлый благодарный след от встречи с этим человеком, нашим спасителем. Сколько таких ангелов-хранителей было на непредсказуемых пересечениях той Великой войны!

Теперь, когда я вспоминаю эти события и стараюсь взглянуть на себя как бы со стороны, отстраненно, меня вовсе не удивляют безоглядная решимость и упорство, с которыми я искала выхода: разве можно было иначе? Поразительно другое — та готовность помочь, с которой люди шли мне навстречу, сочувствуя и сострадая. И то, что в годину величайшего народного испытания ощущение общности судьбы двигало их поступками, что общие горе, страдания и судьба отдельного человека со всеми его переживаниями сливались воедино, — не дежурные слова пропагандистского толка, не дань старой «союзной» памяти; они подсказаны мне собственным жизненным опытом. Дальнейший ход моей семейной истории только подтверждает их, как бы мы ни переоценивали историю советского времени вообще и Великой Отечественной войны в частности.

…Теперь мне, осчастливленной, с пропуском в руках, оставалось домчаться до больницы, чтобы обрадовать маму. Однако новая бомбежка заставила меня застыть на месте в ожидании хотя бы короткого затишья. Минуты тянулись в тягостном напряжении. В какой-то момент меня сильно подбросило, окутало облаком пыли и дыма, обдало землей, обломками и щебнем. Я прижалась к стене дома, совершенно не думая о том, что он может обрушиться и погрести под собой. И вот тут-то я остро почувствовала липкий страх. Не за себя — это отчетливо, ясно помнится, — просто меня вдруг обожгла мысль: что́, если все сейчас оборвется и мама останется без меня? Но судьба была милостивой ко мне.

Когда мы во второй раз привезли маму к поезду, обошлось без ЧП. Две больничные нянечки помогли мне переложить ее с носилок на вагонную полку, предварительно постелив на нее прихваченный из больницы матрас. Ночь прошла мучительно. Но рано утром к прибытию поезда в Москву на Белорусском вокзале — представьте себе (!) — нас ожидала машина «скорой помощи», вызванная начальником поезда по каналу железнодорожной связи! Трудно поверить, но так *было*! Я пересказала эту историю в своей августовской записи 1944 г. — чтобы не забыть. И поэтому она помнится в деталях. Маму отвезли в клинику на Калужской. На календаре было 5 октября 1941 г. А через два дня в студенческом общежитии на Усачевке из черной тарелки радио передали, что наши войска оставили Вязьму…

Мама пролежала в больнице до последних своих дней, почти год (до 12 сентября 1942 г.). Я старалась навещать ее как можно чаще, но вскоре нам пришлось на время расстаться: студенты института уезжали на трудовой фронт — в Кунцево, на строительство оборонительных рубежей под Москвой.

Испытание октябрем

В Кунцево собралось людское множество: студенты московских вузов, рабочие предприятий и учреждений, домохозяйки. Шли дожди, было мокро, сыро, грязно. Мы рыли глубокие рвы, часто стоя в воде. Нам выдали резиновые сапоги, и мне запомнилось тогдашнее постоянное ощущение сырости в них. Студенты нашего института расположились купно, ближе друг к другу, жили почти коммуной. Главной у нас была Клава Вершинкина, секретарь комсомольского комитета института, человек прямой, честный, искренне преданный делу.

Работа шла в обычном режиме, пока однажды (это было 16 октября) рано утром по дороге к месту работы нас не перехватила женщина, видимо, ответственная за строительство, и, возбужденная, встревоженная, не выкрикнула: «В Москве все бегут. Бегите и вы!» В глазах ее читался страх. И больше никаких объяснений. Нас охватило смятение. Обеспокоенные, растерянные, мы взяли курс на Москву и вернулись в свое студенческое общежитие.

Москва была сильно взбудоражена. Нам было трудно понять, что происходит. Мы не знали о критическом положении дел на фронте, что враг стремительно приближается к Москве и что накануне был дан секретный приказ об

эвакуации правительства и государственных учреждений. В трамвае, метро люди таинственным шепотом говорили, что предприятия брошены, что руководство заводов и учреждений, захватив свои чемоданы, спешно укатило, оставив на произвол судьбы подчиненных. В городе в тот день действительно царили паника, неразбериха, и нам не терпелось узнать, как складывалась обстановка в нашем родном институте.

Когда пришли туда и директора в тот момент на месте не застали, малодушные, мы тут же нашли подтверждение всеобщей паники: «Видите, видите, директор сбежал, а мы хоть пропадай». Однако, как выяснилось чуть позже, наш директор никуда не укатил и своими обязанностями не пренебрег. Но в тот день наши студенты чувствовали себя покинутыми и разбрелись, не зная, что делать.

Панические слухи между тем распространялись с невероятной скоростью. Помню, одна студентка то и дело прибегала с новой вестью. Ей казалось, что если не уехать из Москвы сегодня, завтра будет уже поздно. «Девочки, — в ужасе появилась она в интернате вечером, — все вокзалы оцеплены, молодежь не выпускают. Мы пропали!» — и она истерически плакала», — записала я ее слова по памяти 2 сентября 1944 г., к сожалению, через 3 года после событий 16 октября, но память тогда была свежа и неподдельна, еще не успела обрасти наносным слоем, а события те врезались в нее будто резцом, будто заснятые на пленку.

Многие студенты, поддавшись общему паническому настроению, вечером 16 октября, группками, ушли на запруженные людьми вокзалы, без средств и теплых вещей, в надежде покинуть Москву, чтобы избежать худшего. Мне было их жалко, но сама я не испытывала такого чувства страха (может быть, после Вязьмы?) и со своей юношеской прямолинейностью осуждала их легковерие и малодушие: для меня и для моих близких подруг не было в те дни ничего важнее, чем оборона Москвы.

Поэтому мы, как только прошел первый шок, начали собирать оставшихся в общежитии студентов, чтобы вернуться в Кунцево, откуда, как нам казалось, мы «позорно» сбежали, и продолжать свое дело. В моей памяти так запечатлелось наше возвращение в Кунцево, что спустя три года (2 сентября 1944 г.) я записала: «Позор (?) был покрыт — работали честно, старательно. По ночам в осенней грязной тьме раздавалось какое-то гудение машин и танков. Мы тревожно прислушивались. Нам казалось, что это вражеские. Небо озарялось осветительными ракетами, то и дело пролетали трассирующие пули. Ночью мы просыпались от сильных подбрасывающих толчков: это совсем близко падали немецкие бомбы». И тут же еще одна характерная запись, датированная тем же числом: «Нам казалось странным, что те небольшие, на наш взгляд, рвы, которые мы рыли, могут быть серьезной преградой для противника. Тем не менее никто никогда не заводил нудных разговоров о бесполезности или ненужности нашего труда».

Мы вернулись (уже вторично) в Москву, когда паника середины октября улеглась и наступило относительное военное затишье. Институт наш готовился к эвакуации в г. Чарджоу. В своей патриотической одержимости мы отнеслись к ней (эвакуации) скептически и расценили ее как проявление слабости. Та часть студентов, которая по разным причинам в Кунцево с нами не поехала и праздно, выжидательно околачивалась в институте, теперь оживилась: появилась официальная возможность покинуть Москву, «удрать», как мы тогда осуждающе говорили. Мое (наше) тогдашнее самосознание не допускало «дезертирства», каким казалось нам поведение дееспособных людей, уезжавших из Москвы в час ее смертельной опасности. Было такое представление, что без каждого из нас, особенно молодых, Москва не выстоит, и от этого, естественно, зависит судьба всей страны. Сегодня, возможно, это звучит слишком пафосно, громко, но в действительности свою непосредственную причастность к разыгрывающейся народной трагедии мы ощущали с необычайной остротой, со всем своим молодым запалом, почти как у Мандельштама: «Попробуйте меня от века оторвать», — и безоговорочно были готовы к жертвенности во имя Победы. Пусть этот патриотизм был

воспитан по известным тогда идеологическим канонам и догматическим клише, знакомым нам с младых лет, но в тот момент он наполнялся глубоким смыслом: озверевший фашизм грозил стране, каждому из нас, угрожал всему человечеству, и сопротивление врагу мы считали своим личным долгом. Именно тогда мы осознали себя как значимую единицу, способную принимать самостоятельные решения. Без такой убежденности и веры в справедливость нашего правого дела, без готовности защищать его всеми силами невозможно было одержать трудную победу над врагом. Вера придавала цельность нашему характеру, формировала его внутренний стержень.

Для нас, московских студентов 30-х годов, приехавших в столицу из разных концов бывшего Советского Союза, это был момент выбора, принятия решения в пограничной ситуации, когда все личное, что не укладывалось в рамки военной необходимости, должно было отступить на второй план и безжалостно отсекаться. Так мы считали, я и мои друзья. Правда, для меня-то выбора по существу не было: в больнице на Калужской лежала прикованная к постели мама. И тем не менее, я убеждена, что, не будь этого горького обстоятельства, я поступила бы только так и не уехала бы тогда из Москвы ни при каких обстоятельствах, даже при возможности эвакуироваться. Для меня и для моих подруг это был наш личный категорический императив, веление совести. Я и до сих пор считаю, что самые яркие — по чистоте помыслов и чувств (если не считать рождение детей) — страницы моей обычной в целом биографии вписаны войной.

Первое время после эвакуации института наша группка оставалась в опустевшем его здании. Группировались вокруг Марии Александровны Верпаховской, лаборантки кабинета марксизма-ленинизма. Она была нам как мать: кормила, успокаивала, поднимала дух. Ко мне она относилась с особенной теплотой, зная мою непростую ситуацию с мамой. Я чувствую себя виноватой, что не разыскала ее после войны (это нетрудно было сделать). Видно, захлестнули эгоизм молодости, опьянение ею и концом войны, увлеченность своими новыми делами и заботами. К сожалению, признание запоздалое…

А тогда мы обивали пороги московских райвоенкоматов в надежде найти конкретную точку приложения своих молодых сил.

Школа милосердия в Лефортово

В конце праздника Октябрьской революции я и Наташа Безукладникова, моя самая близкая подруга студенческих лет, а также Женя Шадская, Саша Митрофанова, Люда Рудаева, позже — Тамара Толоконникова (все из МГПИ) по направлению Фрунзенского райвоенкомата оказались в СЭГе-290, который стоял тогда в Москве, в Лефортово, и занимал старое, еще Петровской кладки здание, освободившееся после эвакуации в тыл обитавшего там ранее стационарного госпиталя.

СЭГ к этому времени успел уже побывать на ст. Новоторжская, под Вязьмой, где его во время прорыва гитлеровцев нещадно бомбили, несмотря на развевающийся над ним флаг Красного Креста. Тогда, по словам В. Гиллера, перед ним как начальником госпиталя стоял невероятно трудный выбор: либо неминуемый плен для нескольких тысяч осевших здесь раненых и обслуживающего персонала, либо срочная, в считанные часы, эвакуация, казавшаяся невозможной в условиях, когда все дороги запружены наступающим врагом, и, таким образом, вынужденный отход без приказа на то высшего начальства. Гиллер выбрал и неимоверными усилиями, вернее, сверхусилиями, осуществил второе. Как выяснилось потом, все это происходило примерно в те же дни начала октября, когда я вывозила маму из охваченной войной Вязьмы. И поскольку здесь и тогда впервые незримо переплелись наши пути-дороги, мои и госпитальные, я хорошо представляю себе масштаб трудностей в претворении этого выбора. В Москве госпиталь поначалу разместился в Амбулаторном переулке, но после разру-



Подруги. Слева направо: Саша Митрофанова, Эсфирь Гуревич, Наташа Безукладникова.

шительной бомбардировки перебрался в более надежное лефортовское здание. Отсюда я и начинаю вести отсчет моей общей с госпиталем военной дороги.

В декабре 1941 г., когда вражеские войска стояли на ближних подступах к столице, СЭГ задыхался от наплыва раненых: они поступали не только с Западного, но и других фронтов. Каждые день и ночь здесь безостановочно разгружались санитарные поезда, проводилась сортировка раненых (в зависимости от характера повреждений устанавливалась очередность приема: красный талон бил тревогу и будто подгонял — быстрей, быстрей!), непрерывным потоком шел врачебный осмотр раненых, определяющий дальнейший процесс лечения. Поток был такой, что раненых некуда было размещать, несмотря на двухъярусные кровати; к приему приспосабливались подвальные и подсобные помещения, а также близлежащие клуб и школа. Задействованы были, конечно, и длинные госпитальные коридоры, сплошь уставленные на полу носилками. Помню, как сестры ухитрялись балансировать между ними, неся перед собою на подносах гору бутербродов с колбасой и сыром, чтобы накормить этих израненных и измученных людей, поливших своей кровью поля сражений. Казалось, госпиталь стал безразмерным. Справиться с таким потоком раненых нам помогали завод «Серп и молот», главный шеф госпиталя, а также добровольцы-домохозяйки и школьники. Последние наиболее ощутимо облегчали ситуацию в момент кормления раненых, кроме того, выполняли их просьбы, читали им сводки Совинформбюро, писали от их имени письма.

Длинный госпитальный коридор, уставленный носилками, запомнился мне еще по одной причине. Здесь, в этом открытом глазу узком пространстве, вместилище человеческой боли и страданий, берет начало одна из самых романтических в нашей госпитальной жизни (насколько мне известно) историй, счастливая и грустная одновременно.

Но печальное было еще далеко, а тогда…

Представьте себе высокую статную девушку (у нее была какая-то особая родовитость, русская стать), сдержано-улыбчивую и вместе с тем горделивую, в белом халате и косынке с красным крестом милосердия, которая осторожно пробирается между расставленными на полу носилками, с трудом удерживая на

весу полный бутербродов поднос и одаривая ими на ходу проголодавшихся страдальцев, при этом ласково и мило улыбаясь. Белое доброе видение в кровавом кошмаре войны… И если раненые в тот момент не были полностью во власти своей боли и не потеряли способности воспринимать красоту, они не могли ее не заметить.

Федя, Федор Иванович Калинычев, раненный в грудную клетку, в своем «наполье» не остался равнодушным. Тогда он успел обменяться с Сашей (так звали эту девушку с горделивой осанкой) лишь несколькими незначительными фразами. Потом ей выпало отправлять его в тыловой госпиталь, и на прощанье он нешуточно сказал ей: «Я тебя все равно найду, где бы ты ни была. Мы с тобой обязательно встретимся». Так, по рассказу Саши, началась история их «судьбы сплетенья».

Федор стал частенько писать ей из тылового госпиталя, завязалась переписка. Когда его комиссовали, он стал присылать ей письма уже из Москвы вместе с рассказами, которые начал сочинять между делом, занимаясь в Военно-юридической академии. Саша подключила к переписке и меня как близкую подругу, к тому же лучше, по ее мнению, сведущую в литературных вопросах, что было, по-моему, весьма сомнительно. Вскоре он стал присылать свои рассказы мне как «неофициальному рецензенту». Правда, через какое-то время эта моя роль закончилась, так как Федор Иванович литературным занятиям предпочел научную карьеру. Рассказы, к сожалению, у меня не сохранились, и он о них позже не вспоминал, но помню, они не были связаны с военной тематикой, сюжет их строился на моральных конфликтах.

Так на моих глазах зародилось-вспыхнуло, а потом на протяжении войны разгорелось большое и неподдельное чувство между двумя людьми, открытыми для любви друг к другу. Но о дальнейшей истории их отношений — в своем месте, по ходу повествования.

А сейчас вернемся к декабрю 1941-го и последующему пребыванию СЭГа-290 в Лефортово.

Дни проходили в лихорадочном темпе. Ноги после работы гудели как телеграфные столбы. Стоило только присесть, как сразу от усталости одолевал сон. Помнится, что когда зимой 1941 г. свободную от работы смену повезли на просмотр документального фильма о разгроме фашистов под Москвой, я глядела на экран в состоянии стыдливой дремоты: старалась не показывать вида, но голова непроизвольно клонилась вниз. И еще о том же. Когда после ночной смены я навещала маму в больнице, то, зачастую, сидя возле нее, бессильно сопротивляясь, засыпала. Она гнала меня отсыпаться, но я упрямо не слушалась: обычно даже пятиминутный сон-«перекур» придавал бодрости.

Первые три месяца в Лефортово мы прослужили санитарками, и, считаю, с большой пользой для себя и дела: осваивались в новой обстановке и, не имея медицинской практики, присматривались к кругу сестринских обязанностей. Постепенно нас, обладательниц дипломов рокковских сестер, стали переводить на соответствующую ступеньку выше, что, естественно, не избавляло полностью от дел, закрепленных по обыкновению за санитарками: они, особенно во время большого наплыва раненых, были не в состоянии справиться со своей нагрузкой. «Сестра, утку! Сестра, судно!» — то и дело слышалось в палате, и в самом этом обращении была заложена надежда на помощь, которую по определению ждут от *сестры*. Раненые в данном случае не делали разграничения между санитарками и сестрами: те и другие выполняли одно дело, от тех и других они ожидали милосердия.

«Потерпи минуточку...»

Моя по-настоящему медицинская практика началась в перевязочной, и оказалось, что даже такая элементарная процедура, как перевязка, не была для меня простым делом, если речь шла о серьезном обширном ранении. Повязки чаще

всего выглядели засохшими, пропитанными кровью, и снять их «через боль», не боясь причинить ее раненому, я как сестричка-новичок не решалась. Приходилось отмачивать их риванолом или перекисью водорода и осторожно, бережно отрывать бинт слой за слоем, обычно приговаривая при этом: «Потерпи, голубчик, потерпи минуточку».

Мои утешительные слова вовсе не были дежурными. Я действительно испытывала щемящую жалость к этим беспомощно распластанным передо мною, будто распятым, людям, страдающим от боли и собственного бессилия. К тому же мое отношение к раненым окрашивалось еще и кровным чувством любви к брату, который ушел в ополчение и от которого не было никаких вестей. Он ведь мог оказаться на месте каждого из них, и в каждом мне чудилась его судьба, в их лицах виделись его черты.

Опытные сестры действовали смелее и с бóльшим умельством: один рывок — и рана открыта! У меня сразу так не получалось. Понятно, что такая осторожная замедленная обработка раны при массовом потоке ждущих неотложной помощи людей тормозила общий лихорадочно-ускоренный темп работы, и каждый раз мне приходилось в напряжении находить свою меру времени, чтобы, с одной стороны, минимизировать болевые ощущения раненого, а с другой — не затягивать процедуру. Я чувствовала себя поначалу крайне неуверенно, не то что, например, Женя Корякина (Шадская), по натуре более решительная, уверенная в себе, без комплексов. Да, здесь чрезвычайно важно было преодолеть барьер робости перед чужой болью и кровью, потому что сам процесс перевязки не таил в себе особых трудностей. Обычно после врачебного осмотра и тщательной обработки раны (если не требовалось срочного оперативного вмешательства) она засыпалась белым стрептоцидом или сульфидином. Сульфамиды давались и внутрь. Затем, если рана была чистая и не вызывала опасений, накладывался циркулярный гипс.

О, эта процедура была особая на общем фоне — она требовала дополнительной сестринской подготовки и даже определенных физических усилий, когда речь шла о ранениях тазобедренного и коленного суставов, на чем и специализировалась наша третья хирургия. В таком случае гипс охватывал всю ногу до самой грудной клетки, что создавало надежную иммобилизацию конечности. Мне подобного рода гипсовых повязок самостоятельно накладывать не приходилось, я в некоторых случаях только ассистировала.

У нас в отделении был свой отменный «мастер гипсовых дел», фельдшер (ст. лейтенант) Женя Варсанофьева, которая своей походкой больше походила на мужчину, особенно, когда она, коротко подстриженная, с оспинками на лице, сняв свой халат после работы, оставалась в гимнастерке с тремя звездочками на погонах. Свою работу она выполняла так совершенно, будто это было произведение искусства, чем, естественно, вызывала всеобщее восхищение и уважение. Мне довелось несколько раз быть ее помощником, и на моих глазах проходило это «священнодействие». Она совершала свои гипсовые «туры» с каким-то необычайным умением, тщанием и изяществом одновременно, любовно оглаживая и будто обласкивая влажный бинт, особенно на костных выступах, словно ощущая под руками их живое пространство и обживая его. Казалось, у нее в руках не просто мокрый гипсовый бинт и она делает не обычную медицинскую процедуру, а выполняет еще какую-то свою сверхзадачу, заботясь о создании формы, достойной человека, бессильно отдавшего себя во власть врачевателя. А когда процедура подходила к концу и перед «ваятелем» «во всей красе» лежал человек, одетый по грудь в блестящее от влаги одеяние, мастер наносил последний, окончательный штрих — вырезал в гипсе, на пятке, маленькое окошечко, чтобы доктор мог наблюдать за поведением раны по особым, известным ему признакам. Завершив все и вытерев капли пота на лбу, Женя победно оглядывала свою работу и уже несколько отстраненно любовалась ею. Я любовалась вместе с нею.

Перевязочные сестры занимались не только перевязками. Нам доверяли также ставить капельницы и переливать кровь, для чего надлежало предварительно определить ее группу у раненого, и всем этим мы овладели довольно быстро. В экстремальных условиях войны ускоренно набирали опыт, знания. Совершенствовались и сестры, и врачи. Я уже тогда понимала, что некоторые операции, которые делали врачи нашего отделения, например, Николай Николаевич Письменный, не только сложные, но и достаточно необычные, смелые, и уже в силу этого рискованные, не укладывающиеся в циркуляры, что угадывалось по жарким обсуждениям, которые зачастую возникали у перевязочного стола до операции, во время консультаций с участием специалистов во главе с главным хирургом Михаилом Шуром. Я знала, что Николай Николаевич думает в таком случае прежде всего о раненом, как отвоевать, спасти ему ногу, не делая инвалидом, если есть хоть маленький шанс для этого. Он руководствовался народной мудростью: «Семь раз отмерь…»

Разумеется, доктор выбирал не самый легкий и простой путь, когда в том или ином случае решался на резекцию коленного сустава вместо ампутации. Резекция требовала, конечно, более высокой квалификации, опыта, мастерства хирурга, проходила со значительно бо́льшим напряжением; да и процесс лечения, выхаживания и срок эвакуации раненого значительно затягивались. Но зато какой выигрыш, какой подарок преподносили ему золотые руки хирурга, оставившего его «на своих двоих»!

Я назвала Николая Николаевича потому, что мне приходилось с ним работать, но и в других специализированных отделениях делались сложнейшие и тончайшие операции (особенно в нейрохирургическом, глазном), которые были в то время прорывом в военно-полевой хирургии. Условия столицы позволяли такую нелегкую, но спасительную «роскошь».

Сестра палатная

Однако хирургический аспект нашей службы вскоре отодвинулся у меня на второй план, поскольку я начала работать в палатах. Здесь был уже другой круг сестринских обязанностей, и несколько иной характер приобретали человеческие отношения: общение продолжалось значительно дольше (иногда до двух месяцев) и становилось в определенной мере фактором лечебного процесса, так или иначе влияя на него.

Из медицинских обязанностей, приходящихся на ночное дежурство, несколько неожиданным показалось мне тогда вычерчивание температурных графиков, которые вывешивались на спинке кровати, у ног раненого, к врачебному обходу.

Практическую трудность представляли обязанности, связанные непосредственно с уходом за ранеными, особенно в периоды «перенаселенности», когда на одну сестру и санитарку их приходилось иногда до ста (!). Впрочем, даже в относительно «умеренное» время требовалось непременное участие сестры, чтобы по утрам, до врачебного обхода, вместе с санитаркой умыть, перестелить и накормить раненых, большинство которых — с тяжелыми циркулярными гипсами. Чтобы очистить кровать такого раненого от крошек, его приходилось поворачивать с боку на бок, и, конечно, делать это было лучше вдвоем, потому что одна из нас протирала спиртом спину во избежание пролежней. А что такое пролежни, я почувствовала сердцем, когда ухаживала за мамой, навещая ее в больнице.

Особо тяжелые раненые — обычно послеоперационные — становились нашими первоочередными подопечными. Вывести их из такого состояния можно было только ценою дополнительных усилий, вопреки всей нашей занятости: их надо было отпаивать, чтобы избежать обезвоживания, кормить с ложечки, терпеливо уговаривая, как ребенка, а когда они шли на поправку — усерднее и питательнее. В последнем случае мы, не жалея ног, бегали на центральную кухню за

«доппайком», не всегда, правда, успешно. Чаще всего накормить вдоволь выздоравливающего, т. е. с превышением нормы, удавалось за счет тяжелораненых, которые отказывались от еды. Мы хорошо понимали, что как бы мастерски ни была сделана операция, окончательный ее результат в значительной мере зависит от нас — от нашего ухода, пунктуальности, чувства ответственности, от доброго сестринского сердца, которое должно слышать чужую боль, от наших теплых, почти материнских, рук и ласкового слова, которое тоже таит в себе врачующую, исцеляющую силу.

Естественно, что атмосфера, в которой то и дело слышались стоны, предсмертные хрипы, запахи камфары, лежалого тела, действовала на многих из нас угнетающе, хотя был и свой запас прочности — сознание важности и острой необходимости того, что делали. В этом прежде всего и заключалась светлая, жизнеутверждающая сторона нашей службы. К тому же включался и живительный резерв молодости. Подозреваю, что романы, которые зачастую «крутили» молодые сестрички с офицерами воинских частей, расположенных вблизи нас, бегая на свидания через всевозможные лазы в ограде, в какой-то мере были здоровой реакцией на реальность — как противовес ей, гнетущему ее воздействию.

И все же, вдумываясь в пережитое, я прихожу к заключению: главной трудностью нашей было не то, что приходилось работать по 18 часов, иногда чуть ли не сутками, без выходных (первый появился в конце войны, под Кенигсбергом); что в пору строительства подземного госпиталя в Пыжовском лесу нам пришлось валить деревья, таскать их на своих девичьих плечах, рыть еще не оттаявшую ранней весной мерзлую землю. Самым трудным, во всяком случае, для меня, было повседневное, ежечасное, ежеминутное погружение в кровавую бесчеловечную атмосферу войны.

Лефортово осело в моей памяти и острой горечью утраты. Здесь, с ощущением круглого сиротства, в сентябре 1942 г. на так называемом Немецком кладбище, неподалеку от госпиталя, я похоронила маму. Об остальных родных я тогда ничего не знала, и если бы не Наташа, с которой мы особенно сблизились в госпитале, я плохо представляю себе, как бы справилась со своим горем.

Наташа взвалила на себя все похоронные заботы, особенно нелегкие в военной Москве. Чтобы не оставлять меня в одиночестве, взяла с собой в город, где предстояли оформление и подготовка этих печальных дел. Нам здорово помогла махорка, которую мы время от времени получали в солдатском пайке и, как правило, отдавали санитарам. Наташа раздобыла несколько пачек, и благодаря этому нам удалось достать гроб, машину, венок. У гроба в тот скорбный час кремации были только я и Наташа, человек, заменивший мне в то время всех родных.

Родной она оставалась мне и после войны, всю жизнь в течение полувека. Ночной поезд «Минск—Москва» соединял нас не меньше раза в году, как бы снимая расстояние между столицами. Я приезжала в командировки либо в Ленинку, либо в ЦГАЛИ, а начиная с 60-х годов, — еще и на встречи сэговцев, но никогда не останавливалась в гостинице, потому что этого не допускала Наташа, даже тогда, сразу после войны, когда она занимала половину крохотной комнатушки, отгороженную тонкой стенкой от соседки, в большой коммунальной квартире в Новоконюшенном переулке. Мы обе понимали, что иначе, занятые каждая своим делом, не сможем пообщаться по-настоящему и наговориться всласть, как того хотелось. Поэтому рядом с Наташиным диванчиком, впритык к тумбочке и единственному стулу (для второго места не было), ставилась раскладушка, и далеко за полночь, не замечая времени и убогой тесноты, мы приглушенно, боясь помешать соседке, говорили о том, что нас тогда волновало. Казалось, все как прежде: нам ведь не раз приходилось спать на двухъярусных нарах и есть из одного котелка. Потом у Наташи появилась приличная по московским меркам квартира, она забрала к себе мать из Перми, и в свои приезды я имела удоволь-

ствие познакомиться с Марией Антоновной, учительницей по профессии и природе своей, по-русски гостеприимной и открытой душою.

Как я узнала, она была родом из богатой, известной в Перми семьи, а муж ее, отец Наташи, — красный военком, убитый белыми в 1918 г. Возможно, именно это последнее обстоятельство и определило мировоззрение Наташи: она принадлежала к поколению, что было заворожено революцией, ставшей для нее религией, идеей светлого будущего, в котором виделось воплощение извечных человеческих устремлений и жажды добра, справедливости, братства. В этой своей вере она не допускала никаких сомнений и колебаний, хотя чувство справедливости, рассудительность создавали иногда конкретные конфликтные ситуации, из которых она выходила побежденной. В 1937 г., например, ее исключили из комсомола (потом восстановили), что Наташа болезненно переживала. Кроме того, ее угнетало социальное происхождение матери, которое приходилось утаивать по негласному закону того времени и прикрывать приметной комсомольской активностью.

В институт Наташа приехала из Перми, после окончания рабфака, и на старших курсах, живя в одной комнате в общежитии на Усачевке, мы сдружились. В ней чувствовалась какая-то недевчачья жизненная основательность, умудренность, цельность характера, и поэтому в нашем студенческом кругу она слыла мерилом морального поведения, «высшим арбитром» в разных житейских ситуациях. И еще. У нее был редкий талант переживать за других и радоваться их успехам, жить интересами близких и друзей. Она устремлялась на помощь им тут же, по первому сигналу нужды, не дожидаясь просьбы, по внутреннему зову. Это был надежный друг, на которого можно полностью положиться, которому можно довериться без риска быть преданным. В семье, по воспоминаниям ее племянницы Татьяны Безукладниковой, она считалась «командиршей», но «доброй и справедливой». Я, правда, командирских замашек в общении с ней не замечала, зато доброту и совестливость почувствовала с самого начала. В душе ее было столько тепла, чуткости и сочувствия, что их хватало и на родных, и на близкое ей окружение. Примечательно, что коммунистические убеждения Наташи со временем не менялись, и это, несмотря на наши идейные расхождения, нисколько не влияло на личные отношения. Память о войне, особенно о трудных днях в Лефортово, крепила нашу дружбу всю оставшуюся жизнь. И еще одна деталь. За все годы 50-летней дружбы между нами никогда не промелькнуло даже тени «межнациональных отношений».

Но я далеко шагнула вперед, оторвавшись от военных событий той поры под наплывом воспоминаний о Наташе. Что ж, эмоции непроизвольно (и, думаю, оправданно) нарушают последовательность повествования, задуманного по законам хронологии — в интересах целостности общей картины «моей войны».

А тогда, уже к началу 1943 г., советские войска решительно двинулись в наступление: была прорвана блокада Ленинграда. Свершилась Сталинградская битва… Освобожден Ржев… Наш госпиталь действовал уже в составе 3-го Белорусского фронта (а не Западного, как ранее) под началом нового главнокомандующего И. Д. Черняховского. Впереди нас ждали Вязьма, Пыжовский лес…

«Пыжград» в отсвете Боярки

Пыжовка — так называлось место под Вязьмой, куда наш госпиталь прибыл из Москвы, минуя некоторые небольшие пункты передислокации. Судьба снова вернула меня в горькопамятную мне, охваченную огнем Вязьму, откуда я вывозила в 1941 г. парализованную маму перед самой сдачей города врагу. СЭГ-290 тоже возвращался в город во второй раз с не остывшей еще памятью о ст. Новоторжской, где его сильно бомбили и откуда он в хаосе спешного отступления с трудом пробился в Москву.

На этот раз персонал СЭГа разместился в 12 км от Вязьмы, в Пыжовском лесу (3,5 км от Пыжовки), и это был один из самых трудных и, возможно, наиболее запечатлевшихся в памяти периодов госпитальной жизни по своей необычности и «экзотичности», потому что пришлось предстать поначалу в несвойственных нам ролях — землекопов, лесорубов, пильщиков, кровельщиков, строителей… На заброшенных котлованах предстояло своими руками, при участии лишь небольшой группы санитаров и студентов, приданной в помощь, построить подземный госпиталь — землянки для раненых, операционные, перевязочные и все многочисленные подсобные помещения с техническим оснащением, необходимые для нормального его функционирования. Был еще один важный объект строительства, который хотелось бы особо выделить, — железнодорожная ветка для подвоза поступающих раненых от станции к госпиталю и в обратном направлении — при их эвакуации.

Весь персонал — врачи, сестры, санитарки, хозяйственные работники, вооруженные топорами и пилами, валили деревья в еще не проснувшемся от зимней спячки Пыжовском лесу (это было ранней весной, в марте 1943 г.), тащили их на своих плечах до строительной площадки на обработку — очищали от сучьев, обжигали комли, распиливали на доски (была налажена своя лесопилка), корчевали пни, рыли еще мерзлую, не оттаявшую землю. Помню, как было поначалу тяжело в предрассветной мгле подниматься с нар в настывшей брезентовой палатке, отапливаемой перед сном железной печкой: зябко, сыро, серо. Наскоро ополаскивали лицо и руки заледеневшей водой, закручивали портянки, натягивали набрякшие сыростью, отяжелевшие кирзовые сапоги — и в лес, заиндевевший, безмолвный (без птиц), застывший в своей зимней еще красоте.

Валить деревья по молодости лет казалось не так уж трудно, даже интересно: делается подруб топором с одной стороны, а с другой — дерево подпиливается и наклоняется в сторону подруба. Надо только предварительно удачно выбрать место для падения дерева, чтобы ничто ему не помешало. И тем не менее мне кажется симптоматичным, что самый яркий, кульминационный момент, когда подпиленное дерево шумно падало, обдавая лесорубов снежными брызгами, отпечатался в моей эмоциональной памяти в большей степени практически-утилитарно, чем торжественно-поэтически: высокие ели и сосны представлялись мне не столько в своей природной красе, сколько в виде опорных столбов в землянках или строительных досок. Думаю, что в данном случае сказалось мое общее психологическое состояние, в значительной мере угнетенное войной: она отодвинула в моем мире поэзию природы куда-то на задворки.

А вот — в противовес моей — совсем другая картина нашей лесной работы, нарисованная по свежим следам, предстает в дневнике знакомой уже нам по Лефортово Саши Митрофановой. Ее психологический настрой, в отличие от моего, окрашен иными личными обстоятельствами: в душе расцветала любовь, и не было, благодарение судьбе, потерь близких. Да и по природе она, сибирячка, видно, другая: смотрит на мир победительно, умными и одновременно веселыми глазами, будто не замечая, игнорируя дисгармонию войны. 2 апреля 1943 г. она записывает (я в тот период никаких записей еще не делала): «Я сейчас у Наташи в бригаде свайщиков. …Если бы не насквозь мокрые ноги, было бы совсем замечательно… В лесу заготавливаем сваи. На них настилают пол. Берем топор и пилу и уходим далеко в лес по тропинке. Идем и *чувствуем себя богатырями. Только мы и великаны-деревья* (курсив мой. — *Э. Г.*). Работа увлекает меня. Становится весело. Потом мы с Наташей подпиливаем их, и большие красивые ели и сосны, тихо охнув, падают, мягко опершись на ветки. Два разнородных чувства волнуют тебя в эту минуту: чувство удовлетворенной гордости за совершенную работу и чувство грусти, что погибло такое красивое дерево»[1].

---

[1] «Нёман», 1973, № 3, с. 122—123 (публикация моя. — Э. Г.).

Саше в ее мировидении помогало и присущее ей чувство юмора; оно отстраняло, отвлекало, высвобождало в определенной мере от гнета войны, облегчало восприятие жесткой реальности с ее непредсказуемыми стрессовыми ситуациями. В подтверждение приведу еще одну запись из ее дневника, сделанную годом позже, 13 апреля 1944 г.:

«…Идем мы с Наташей дня два тому назад по лесу. Утро было замечательно красивое… Солнце только что взошло. …Запах наступившей весны теперь уже отчетливо чувствуется в воздухе. Я обогнала Наташу далеко и кричу:

— Наташа, как хорошо! — и получаю полусердитый ответ:

— У меня чавкает в ботинках.

— Наташа, ты только посмотри кругом. Слышишь, как поют птицы?

— Да ботинки совсем развалились.

— Ой, Наташка, с тобой не поговоришь.

Я смеюсь и сержусь, что она не хочет знать, что творится кругом. И сегодня утром, когда мы вновь шли с ней по лесу, кругом было еще, кажется, лучше. Природа с каждым днем расцветала. Но я воздержалась восхищаться вслух и, умудренная опытом, спросила:

— Наташа, ну как, ноги сухие?

И получив утвердительный ответ, вздохнув широко всей грудью, сказала:

— Да, теперь замечательно, портянки совсем сухие.

И мы обе рассмеялись».

Такие комически окрашенные зарисовки встречаются в Сашином дневнике довольно часто.

В моей памяти о Пыжовке самым физически трудным остался момент, когда нужно было взваливать дерево на свои плечи (после первичной его обработки) и нести на строительную площадку, где, в зависимости от предназначения, обработка продолжалась. С шутками и под команду старшей — «раз, два, три — взяли!» — под дерево выстраивалось по несколько девчат с одного и другого конца. Тяжесть самого подъема я будто ощущаю и сегодня, потому что моих девичьих сил было мало для этой работы.

Новым и необычным для меня делом было гудронирование крыш. Сначала их покрывали дранкой (от нее отдавало запахом свежей стружки), забивая маленькими гвоздиками, потом гудронировали, т. е. заливали черной маслянистой жидкостью — гудроном. Его варили в чанах на кострах и ведрами подавали наверх. Дополнительно гудрон покрывали еще дерном, чтобы обезопаситься, т. к. застывший гудрон отливал на солнце и своим блеском мог привлечь вражеских бомбардировщиков. У меня не было узкой «специализации» в этом рабочем процессе, мне довелось испытать ее вкус как на крыше, так и внизу, у черных кипящих чанов.

В совокупности чрезмерные физические нагрузки оказались небезобидными для меня: я заболела тяжелой желтухой (гепатитом), которую врачи напрямую связали с перенагрузками. Меня положили в терапевтическое отделение. Однажды, когда я в положении больного прогуливалась в больничном халате по госпитальному двору (это было летом), на меня, пожелтевшую и осунувшуюся, наткнулся начальник госпиталя и, видимо, впечатленный моим жалким видом, распорядился выдать мне бутылку портвейна, чтобы я могла каждодневно к обеду принимать порцию для стимулирования аппетита. Вряд ли стоило бы рассказывать здесь об этой своей болезни, если бы от нее не тянулся след к моей пыжовской гауптвахте, о которой хочется упомянуть, чтобы показать, что воинская дисциплина поддерживалась у нас в госпитале по всей строгости. Да и шутки ради, какой бывалый солдат (все-таки четыре года службы!) не сидел на гауптвахте!

А случилось это так. После болезни, по заключению врачей, мне был положен десятидневный отпуск, разумеется, без права выезда. А к тому времени я получила радостную весть из Бугуруслана, что мой отец, о котором я до того ничего не знала, эвакуирован в г. Моршанск Тамбовской области. Разумеется,

очень хотелось с ним повидаться, тем более что выдалась такая непредвиденная возможность (10 свободных дней!), хотя осуществить ее в тех условиях было не так просто, потому что, ко всему прочему, не успела я выписаться из терапии, как по Западному фронту вышел указ — отменить все отпуска, и пришлось добиваться его с большим трудом. Во всяком случае, еще не имея разрешения на поездку, я начала к ней готовиться: сушила на солнце сухари из сэкономленного белого хлеба, который мне давали как больной, и складывала их в мешочек, сшитый из марли. Встреча наша, к обоюдной радости, состоялась. Но со всеми сопутствующими ей трудностями военного времени. Кроме сухарей я везла ему махорку (отец мой нещадно курил) из солдатского пайка, своего и Наташи, которую мы обычно отдавали санитарам. Подарок по тем временам бесценный.

К моему возвращению в госпиталь как раз вышел указ о введении в армии погон, но на первую после приезда проверочную линейку и строевые занятия, которые проводились у нас регулярно для неработающей смены, я вышла в старой форме, не успев еще обзавестись погонами. Было, помню, неожиданностью услышать команду начальника госпиталя: «Кто без погон — шаг вперед!» Вышло несколько человек, и нас, проштрафившихся, отправили на гауптвахту на двое суток — сняли ремни, пилотки. В таком униженном виде нам надлежало убирать территорию вокруг госпиталя — дали в руки метлы, совки, ведра. Я считала наказание несправедливым, незаслуженным, но приказ командира апелляции не подлежал. Наташа навещала меня после работы оба дня, чтобы не падала духом. Каждый раз в трудную минуту я убеждалась, какой она чудесный человек.

Вообще, во время строительства госпиталя, когда в период некоторого затишья на фронте раненые еще не поступали, тяжесть армейской службы давила более сильно. Например, девчатам выпадало иногда стоять на посту, в том числе и в глухие ночные часы, когда воздух наполняется разными таинственными, подозрительными звуками и в каждом из них чудятся угроза, опасность. Сима Островская, человек особенно впечатлительный и чуткий, описывает такой эпизод. Однажды ей пришлось стоять часовым с двух до четырех часов в темную дождливую ночь. «Слышу шаги. Говорю: «Стой, кто идет?» Отвечает: «Разводящий и поверяющий». Оказалось, поверяющими были начальник госпиталя Гиллер и замполит Савинов. «Подошел Гиллер, осветил фонариком и спрашивает: «Сима, страшно?» Отвечаю: «Да, товарищ начальник, страшно». — «Отменить девушкам ночные дежурства! Ставить часовыми только днем, и патрулями». Надо отдать должное начальнику госпиталя, он пожалел своих сестричек, солдат и строителей в одном лице.

Когда строительство землянок закончилось, началась подготовка к приему раненых: мылись свеженастеленные деревянные полы, пахнущие смолой, а также маленькие, словно рисованные, оконца, на которые вешались занавесочки, сшитые из марли. Тумбочки празднично украшались букетиками полевых цветов (уменьшительные суффиксы здесь напрашиваются сами собой: без раненых лесные домики, боязливо выглядывающие из-под земли, и палаты в них выглядели ненастоящими, будто сказочными).

Но все это было уже потом. А поначалу — тяжелый, без отдыха, труд, иногда до изнеможения, для меня во всяком случае. Вся напряженная атмосфера строительства нашего подземного госпиталя с железнодорожной веткой, особенно в пору весенних дождей, весьма обильных на Смоленщине, с их пронизывающей сыростью в лесу, слякотью и грязью в котлованах, живо напоминала мне страницы ожесточенной стройки в Боярке из необычайно популярной в свое время книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Начиная с середины 30-х годов и все советские годы она с невиданным успехом обошла весь мир.

Именно строительство узкоколейки и на этом фоне — Павка Корчагин в своей примечательной одежде: на одной ноге калоша, на другой — рваный сапог, а на шее грязное полотенце вместо шарфа — больше всего запало мне тогда в память из этой книги. Помнилось: осень, дожди, слякоть, сырые сапоги,

вязнувшие в тяжелой липкой глине, затем зима со своими стужами, когда корчагинцам приходилось буквально вгрызаться в землю, чтобы в жесткие сроки — три месяца, — без технического оснащения, вооруженным только лопатами, ломами, пилами, топорами, построить узкоколейку для подвоза дров к мерзнувшему городу. И аналогия с Бояркой возникала сама собой.

Для строительства и в Боярке, и в Пыжовке никакой альтернативы не было: умри, но сделай к сроку! Правда, в Боярке, как я убедилась позже, перечитав роман, условия жизни были жестче, чем наши, хотя сравнение здесь, разумеется, не совсем оправдано и носит весьма относительный характер: сказываются ведь как эффект художественной концентрации материала в романе, так и специфика исторического момента первых революционных лет. И тем не менее, зная приверженность Н. Островского к жизненным реалиям, не могу удержаться от параллели, чтобы самой не утратить меру объективности, описывая трудности нашего строительства в Пыжовке.

Вспомним, как питалась в «Как закалялась сталь» «братва» строителей: утром пили чай, «в обед ели убийственную в своем однообразии чечевицу, полтора фунта черного, как антрацит, хлеба. Это все, что мог дать город». Нам, госпитальным строителям, получавшим воинский паек, было грех жаловаться и стыдно признаваться, не хватало хлеба при дневной норме — 800 граммов (!). Помню, утром съедалось почти все, кусочек оставлялся к обеду, которого с трудом дожидались; ужинали уже без хлебной прикуски, при том, что в обед нам зачастую давали гречневую кашу с американской тушенкой — вкус по тому времени особенный! Манящий аромат тушенки, доносившийся с полевой кухни до строительной площадки, предательски, раньше срока, будил наш здоровый аппетит. Не удивительно, что при той физической нагрузке, которую мы несли, да еще на свежем воздухе, нашим молодым организмам нормированного военного пайка не хватало.

Война создавала множество ситуаций, подобных описанным в романе Островского, когда приходилось действовать «через не могу», пересиливая непреодолимую, казалось, стену обстоятельств; она требовала невозможного, и как-то само собой, естественно, на пыжовскую реальность падал отсвет этой знаменитой в то время книги, на которой воспитывалось мое поколение.

Пыжовский обелиск

Между тем, подземный лесной госпиталь (мы называли его иногда величественно «Пыжградом», когда хотели «увековечить» свой труд, придать творению наших рук значимость, оттенок монументальности) стал вскоре показательно-образцовым в системе фронтовой медицинской службы. Это был на самом деле бесперебойно действующий автономный городок со всеми необходимыми для успешного функционирования подсобными отделениями, электростанцией, автопарком, лесопилкой, столовой, клубом и упоминавшейся уже железнодорожной веткой для подвоза раненых. Госпиталь привел в восхищение англо-американскую делегацию, которая его посетила. Еще бы! Порядок в нем был отменный!

И первое время, в период наступления на Смоленском направлении, на него обрушился неимоверный поток раненых. Поскольку в моих записях пыжовский период отражен ретроспективно и довольно скупо, я снова воспользуюсь дневником Саши Митрофановой, подтверждающим в данном случае мою эмоциональную память. Вот Сашина запись от 2/IX — 43 г.: «Так много работы, что не замечаешь сна: он приходит как-то между прочим, мгновенно. Кажется, что ты не уходишь из этой круговерти носилок с тяжелоранеными. В землянке на 200 человек все 400. И еще несут и несут, класть уже некуда. Носилки с ранеными подвешивают к столбам, ставят на подставки и на полу. Негде пройти, негде ступить. Вокруг стонут, просят пить, поправить повязки. Сестры мечутся, не успе-



Эсфирь Гуревич (1943 г.).

вая выполнить все просьбы. Работаешь в каком-то угаре. Нервы натянуты до предела. И в то же время даже сама не знаешь, откуда берутся силы».

Да, поток раненых поначалу казался нескончаемым.

Однако случилось так, что в непредсказуемо меняющихся военных обстоятельствах СЭГ-290 не использовал на полную мощность свой большой потенциал, на который он был рассчитан: позже не было уже такого непрерывного наплыва раненых, как раньше. Перед операцией «Багратион» наступило некоторое затишье на фронте. Раненые продолжали поступать, но главным образом из стоящих впереди МСБ или полевых госпиталей, уже прооперированные и транспортабельные, и летом, в июне 1944 г., мы начали готовиться к передислокации.

Последний день перед отъездом из Пыжовки помнится мне до сих пор. Раненые уже эвакуированы, в госпитале царит предотъездное настроение. И тут появляется неожиданно… Федор Иванович Калинычев — тот, который лежал у нас раненым в Лефортово и обещал Саше Митрофановой — помните? — найти ее хотя б и на краю земли. Его, оказывается, комиссовали, и выполняя свое обещание, он приехал, чтобы предложить ей свою руку и сердце. На следующий день, перед нашим отъездом, они и расписались в соседнем сельсовете. Этим необычайным в тот час событием и окрасился наш последний день пребывания на Вяземской земле.

Однако ночь перед этим заслуживает, мне кажется, быть отмеченной особо. Наше отделение ночевало в каком-то помещении, похожем на сарай, устланном соломой. Лежали вповалку, в одежде, конечно. Рядом со мной, с одной стороны, и с Шурочкой, с другой, примостился Федя. Для них символично это была первая брачная ночь, неправдоподобно целомудренная. Я пишу об этом в противовес тому, что широко муссировалось (и муссируется) о грубых любовных играх в войну, чтобы сказать: рядом с последними на правах непреходящих моральных ценностей оставались, как и прежде, возвышенность, чистота, высокий строй мыслей и чувств, верность и преданность. Каким благородным рыцарем представлялся мне Федя, это славный крестьянский сын! Да он и был тогда таким рыцарем!

И все же, думаю, целомудрие исходило прежде всего от нее, Саши, от ее безупречной девичьей чистоты и скромности, которые многим казались неуместными в военное время. У нее был свой девичий кодекс чести, достоинства и порядочности, которого она строго придерживалась. Это меня больше всего привлекало в ней. Тогда она сильно выросла в моих глазах как нравственная личность. А Федя, этот рыцарь «без страха и упрека», скрепив печатью свой брачный союз, вернулся в Москву. Мы же, распрощавшись с Пыжовкой, отправились дальше, к следующему пункту назначения — в Минск, через Гусино, Шеревичи…

Но след нашего пребывания в Пыжовке остался навсегда: у Пыжовского леса, на окраине деревни Борзя, установлен гранитный обелиск, свидетельствующий, что медики военного госпиталя 290, обитавшие здесь с 13 марта 1943 г. по 19 июня 1944 г., вернули в строй десятки тысяч солдат и офицеров. Кстати, символическая закладка обелиска состоялась на этом месте в мае 1973 г., в одну из послевоенных встреч ветеранов-сэговцев со студентами Вяземского медицинского училища, над которым они шефствовали. Эти давние контакты сохранились и до сих пор, и не как формальный атрибут памяти, а сущностный для обеих сторон: студенты подпитывают ветеранов своей юностью, молодой энергией, оптимизмом; последние, в свою очередь, благотворно влияют на будущих медиков, передавая им эстафету милосердности.

На земле, где плачут теперь колокола Хатыни

Приказ о передислокации в Минск застал нас во время кратковременного пребывания в Шеревичах, небольшом населенном пункте на пути к нему. Радостная весть эта коснулась меня лично. В Минске до войны жили мои родные — дядя Моисей с женой Анной, эвакуированные в Новосибирск.

К месту назначения мы ехали на грузовых машинах, весело, с ветерком, подставляя ему свои разгоряченные лица.

Мы приехали в Минск на второй день после его освобождения. Помню, как при въезде в город нас поразили руины, черные провалы окон в зданиях, кучи кирпичей на месте разрушенных домов, запах дыма и гари. Среди развалин и уцелевших строений выделялось уцелевшее высокое здание Дома Правительства Белоруссии, сиротливо выглядевшее на фоне общей разрухи.

Местом нашего размещения были выбраны здания Клинического городка на тогдашней окраине Минска (теперь город неузнаваемо разросся по обе стороны), где до нас находился немецкий госпиталь. Про это говорили покинутые в спешке медикаменты, бинты, вата, а в одном из зданий — немецкие раненые, оставленные на произвол судьбы. Им наши врачи сразу начали оказывать помощь. Здания были заминированы. Скорее всего, гитлеровцы просто не успели их уничтожить, а возможно, не теряли надежды еще вернуться снова. Пока саперы занимались своим делом, мы получили приказ быстро раскинуть вдоль зданий палатки для приема раненых. Последних было много, и они все прибывали прямо с поля битвы.

Потом раненых разместили в светлых палатах разминированных многоэтажных зданий, а тех, которые не вмещались, — в палатках, за которыми виднелся лес. То был, как я узнала позже, любимый минчанами парк Челюскинцев. Кроме того палаточный городок был развернут на пустыре за соседним, почти сожженным, зданием Академии наук Белоруссии, от которого остались только колонны.

Помню хорошо нашу первую ночь в Минске. Света нет — фашисты взорвали электростанцию. Подъездные железнодорожные пути тоже взорваны. Город дважды бомбили. Тяжело гудела и вздрагивала земля, осветительные ракеты высвечивали за деревянным, в зеленую краску, забором, отделявшим клингородок от Академии наук, уцелевшие колонны этого здания. В сполохах огня они казались мне вратами какого-то древнего храма. Кто мог подумать тогда, что в этом самом здании мне посчастливится потом поработать без малого полстолетия!

Бомбежки были не только в первую ночь. Они будили раненых, приостанавливали работу в перевязочных и операционных. После бомбежек, естественно, наплыв раненых заметно увеличивался: среди них были и гражданские — женщины, дети, много партизан. Мы оказались, таким образом, на переднем крае.

Тогда в Минске мы достаточно остро почувствовали, какой прожорливой и ненасытной может быть война, даже когда она, сдается, уже неудержимо победная. Казалось бы, Минск освобожден, наши войска, вступив в него на рассвете

3 июля 1944-го, к вечеру его полностью очистили, но мир и тишина на измученную землю сразу не приходили, маховик войны безжалостно продолжал действовать, требуя новых человеческих жертв. Враг не хотел сдаваться, несмотря на очевидное поражение, в агонии он люто нападал и ранил.

Как выяснилось, отдельным подразделениям из окруженной в минском «котле» 105-тысячной немецкой группировки был отдан приказ прорваться к столице, поскольку, по утверждению гитлеровцев, она была взята не силами Советской Армии, а партизанами. Обманутые своим командованием, немцы безрассудно рвались в город. На восточной его окраине завязались бои.

Разумеется, сущность того, что здесь происходило, до нас, рядовых, доходила в общих чертах. Прислушиваясь к недалекой винтовочной и автоматической стрельбе, не успевая принять все возрастающий приток свежих раненых, мы угадывали тревожную ситуацию: что-то было неладно. До нас, например, дошел слух, что госпиталь получил приказ отступить на 6 км, взять с собой только самое необходимое. Был ли такой приказ на самом деле? Вскоре прибывающие раненые рассказали, что гитлеровцев уже отогнали. Однако ситуация все время менялась. К ночи враг опять начал рваться к городу, и снова был отброшен. Оборонять Минск тогда пошли наши санитары, кое-кто из хозяйственного взвода и некоторые офицеры-врачи. Их вооружили винтовками и автоматами, выданными госпиталю комендантом города.

А раненые поступали бесперебойно, прямо с поля сражения. Врачи не отходили от перевязочных и операционных столов, сестры еле успевали обрабатывать прибывающих. Иногда легкораненые сами забегали в перевязочную с просьбой скорей перевязать их, чтобы они могли сразу вернуться на линию огня.

Да, в Минске, в четвертое военное лето, сэговцам пришлось нелегко, и это ощущение не только мое. О минских «сюрпризах» вспоминали и некоторые из моих однополчан на традиционных послевоенных встречах 9 мая в Москве. А вот и тогдашнее свидетельство, подтверждающее воспоминания полувековой давности, в дневнике все той же замечательной фронтовой подруги Саши Митрофановой: «В эти дни мы не знали устали — сутками стояли у стола (перевязочного. — *Э. Г.*) по несколько суток. О ходе времени мы догадывались по тому, как зажигался и гас свет. Это была сумасшедшая работа, которую мы делали автоматически, как заведенные. Бойцам-санитарам доставалось *еще хуже* нашего. Днем они таскали раненых в перевязочную, затем по палаткам; ночью, вскинув на плечо винтовки, шли оборонять Минск… Впрочем, доставалось и врачам, и сестрам… *Ни в Пыжовке, ни Шеревичах* (под Гусином. — *Э. Г.*), где мы простояли 15 дней, *нам не было еще так тяжело, как здесь, в Минске* (курсив мой. — *Э. Г.*). Несколько палаток были с такими тяжелоранеными, которые не могли даже назвать свою фамилию. Им сестры наклеивали надписи на руки. Умирали десятками. Операционные четыре стола не пустовали ни минуты, непрерывно делались операции. Срочных было столько, что даже тех, кто с осколком в животе, приходилось откладывать на вторую очередь… В перевязочной Письменный (врач-хирург. — *Э. Г.*), несмотря на такой сумасшедший темп работы, все равно поторапливал своим ласковым: «Шурочка, ну, поскорее следующего»… Мы даже… злились на него: видит же, что еще не кончили перевязывать, нет, торопит». (Запись за июль 1944 г.)

Надо сказать, что на нашем последующем военном пути были и моменты, возможно, не менее трудные, чем в Минске, в смысле условий работы, но такого близкого, непосредственного участия в военной ситуации нам принимать уже не приходилось.

Среди минских впечатлений запомнилось мне такое. Группа наших врачей и сестер была выделена для оказания помощи советским военнопленным, которых немцы бросили в городской больнице. Я не была в той группе, но помню, какими расстроенными и подавленными вернулись оттуда ее участники. Они рассказывали, что истощенные, вконец измученные душой и телом люди не

сразу поверили в свое освобождение. Некоторые из них, совершенно обессиленные и потерявшие все надежды, находились в прострации, не узнавали своих, просили отравы. Мы знаем, что, к сожалению, на этом страдания выживших не закончились.

Однако ж память, отягощенная картинами столь сумрачной окраски, сохранила в своей кладовой и впечатления более светлые, радостные, которые тоже были частью пережитой реальности. Я имею в виду праздничный день 16 июля, когда в Минске проходил парад партизан. Мы же находились на территории «партизанской республики», и это чувствовалось не только в том, что среди раненых было много партизан. Их живое присутствие ощущалось и за пределами госпиталя: они разместились совсем неподалеку на пустыре, за Академией наук, в районе Ботанического сада и парка Челюскинцев,.

Но кроме интереса общего — увидеть славную партизанскую армию на ее праздничном смотре — с парадом у меня была связана надежда, вернее, несбыточная мечта, фантазия: вдруг я встречу там своего брата, который, как я узнала недавно, после долгого безмолвия, из его весточки, воюет среди белорусских партизан. По теории вероятностей он, возможно, и мог оказаться на параде.

В день митинга-парада, отработав ночную смену, я, Наташа и Саша устремились на ипподром, где происходило торжество. Я с волнением вглядывалась в лица встречных партизан — последние были на конях и пешими, в разношерстной одежде, с красными повязками на рукавах, многие с медалями на груди. Я долго кружила среди этого многоголосого и разноцветного множества, но брата своего, конечно, не нашла. Чудо не свершилось, мечта не сбылась. Было обидно и грустновато. И, тем не менее, брали верх общий праздничный настрой, радость предчувствия близкой, окончательной победы и ощущение всепоглощающей силы молодости.

Вскоре фронт стал стремительно двигаться вперед, и белорусская столица понемногу отодвигалась в тыл. Но Минск, палаточный городок вдоль зданий клингородка и на пустыре за Академией наук заняли в моей памяти и сердце свой особый, автономный и самый теплый уголок, т. к. волею судьбы я снова вернулась в этот город сразу после демобилизации, и памятные места с сопутствующими им переживаниями во взаимодействии с новыми жизненными реалиями ожили и высветились ярче, а последующие долгие годы жизни в нем прочно закрепили тогдашние мои впечатления будто бы на кинопленке.

К ним прибавилось потом и знание многострадальной исторической судьбы «мученицы-Беларуси», как в прошлом, так и в войну, когда она потеряла свыше двух миллионов человеческих жизней, недосчитавшись каждой четвертой, когда судьбу сожженной Хатыни разделили больше шестисот белорусских деревень и когда — в отпор — она стала, собрав свои силы и дух, отважным воином и исполином-партизаном.

Минск и вся белорусская земля стали мне щемяще родными. Сюда тянутся сегодня мои мысли, чувства и сердце, здесь живут мои кровные и друзья.

А тогда СЭГ-290, свернув свое хозяйство за сутки, направился в сторону Вильнюса.

Дорога на запад

Дорога в Восточную Пруссию, стратегически нам предписанная, лежала через Вильнюс, Каунас, Кибартай — маленький литовский городок на самой границе с Германией. В Вильнюсе мы задержались недолго, и город запомнился мне как-то издалека, острыми шпилями костелов, башней Гедимина, рекой Вилией, что виднелась неподалеку, а также тем, что в сравнении с Минском он был более уцелевшим.

Мы разместились в здании Университета, пострадавшем, но не так сильно: были выбиты стекла, и высокие лепные потолки (лепнина во многих местах отвалилась) смотрелись как-то не к месту. Ближе познакомиться с Вильнюсом и впечатлиться им довелось уже после войны, когда в группе сотрудников Института литературы им. Янки Купалы АН БССР я по внутриакадемическим связям посетила Институт литературы Литовской АН. Мне вспомнилось тогда наше военное пребывание в стенах Вильнюсского университета, не оставившее у меня, в силу кратковременности, богатых впечатлений. Но даже короткие пристанища военных лет не забываются, и Вильнюс того времени еще не раз вставал в памяти в час семейных поездок на отдых в Прибалтику с остановками в столице Литвы.

В Каунасе госпиталь оказался в августе 1944 года и обосновался в здании местного мединститута. Город при въезде удивил нас тем, что на окраинных улицах его была посажена картошка. Августом 1944-го помечены и первые мои военные записки.

Почему именно здесь и тогда меня потянуло к ним? Скорее всего, потому, что раньше мне было не до того, повседневная военная реальность, ошеломляющие события накрывали «с головой», не было возможности отвлечься от них и взглянуть на все чуть отстраненно. Ведь каждая фиксация, запись — уже в некоторой степени отстранение, маленькая остановка, проявленная реакция… Но сознание необычайности и важности происходящего, к которому ты непосредственно причастен, желание запечатлеть его, не упустить, видимо, жило во мне и ждало момента. И это случилось, когда 8 августа я сделала первую свою запись: «Сегодня мне в руки попал дневник умершего раненого. Правдивый, искренний, он вызвал у меня чувство горького, запоздалого уважения к его автору и сочувствия к его родным». Добавлю, что впечатление об искренности я вынесла, видимо, только при самом беглом знакомстве с дневником, потому что его надлежало тут же отправить вместе с документами родным. Сами даты, проставленные в дневнике, действовали на меня притягательно: за ними мне виделись предсмертные шаги человека.

Однако толчок был дан, и свои заметки, правда, с большими интервалами, я продолжала иногда до 1 сентября 1946 г., — как самоотчет, как способ «стать лучше, осознать себя, свое несовершенство» (8 августа 1944 г.). В самом деле, я давала себе зарок «не кривить душой — ни в чем», и если не выдерживала его, бранила себя, осуждала («ты гадкая»), а когда была довольна собой, похваливала («ты молодец»). Думаю теперь, что были в этой самооценке какая-то детская наивность и простодушность, но вместе с тем диалог с самой собой, строгая самооценка подсознательно помогали противостоять разрушительному воздействию войны на человеческую душу. Кроме того, в самой тайнозаписи проявлялась и жажда чего-то абсолютно своего — личного, неприкосновенного внутреннего пространства — при всем том, что у меня были такие близкие подруги, как Наташа и Саша, с которыми шел постоянный взаимообмен мыслями и душевными переживаниями. Значит, чего-то еще не хватало…

В Каунасе поначалу было очень «завозно» и, как обычно казалось в таких случаях, неподъемно. 15 августа записываю: «У меня целых семь палат. Бегаю, как зачумленная, из одной палаты в другую. Удивительно, раненые здесь намного спокойнее, чем в Минске и Вильно. Может, такое происходит от того, что к нам они поступают прямо с фронта и на них сильнее действуют смена, контраст обстановки… Иногда мне кажется, что больше уже не хватит ни сил, ни выдержки, но уже одно слово благодарности поднимает настроение». И дальше, в подтверждение: «Сейчас у меня лежит один раненый-москвич… Его благодарность трогательна. Когда он узнал, что его возьмут на рентген, он забеспокоился: вернется ли он снова ко мне в палату? И успокоился, получив утвердительный ответ. Однако вскоре опять заволновался: ему должны были накладывать циркулярный гипс, и снова тот же вопрос. «Я не буду брать с собой вещи, — решил он, — и скажу, чтоб везли на старое место». Такое расположение раненого, естественно, приносило внутреннее удовлетворение.

В Каунасе, тем не менее, выпадали и более затишные периоды, дававшие нам кратковременные передышки, а раненые получали возможность немного задержаться в госпитале для долговременного лечения и не отправляться еще «свежими» после операции, как это вынужденно бывало в периоды большой «перенаселенности», в тыловые госпитали.

Поэт и раненые

На фоне каунасских будней ярким и впечатляющим событием был приезд Александра Твардовского на встречу с госпитальными ранеными. Как же иначе: приехал сам автор любимого «Василия Тёркина», бывшего у всех на устах! Радость и оживление окрасили привычную атмосферу дня. Зал был переполнен ранеными — ходячими и привезенными на колясках, которые стояли в проходах; пришли, конечно, и свободные от дежурств работники госпиталя. Я, предварительно договорившись со сменщицей, была в их числе, уже заранее настроившись на поэтическую волну.

Поэт сразу вошел в контакт с аудиторией. Она почувствовала, что он свой, такой же, как и они, фронтовик, изведавший вместе с Тёркиным трудные солдатские дороги. Ведь он писал, по его же словам, и в лютый мороз, и в сильный дождь, укрывшись плащпалаткой, на камнях и на ветру, под гром пушек и канонады, как бы оспаривая известное: когда говорят пушки, музы молчат.

Вот что я записала по свежему следу, 18 октября 1944 г.: «Только что, взволнованная, пришла с вечера встречи с Александром Твардовским… Настроение приподнятое. …Прочел несколько отрывков из своей поэмы о Тёркине («Переправа», «Тёркин обогревается в хате», «Тёркин в Доме отдыха», «О любви»). Удивительная простота, естественность поэтического слова, непринужденный юмор, в целом — красота народной поэзии, мелодия народного языка покорили всех. Да и сам по себе он привлекал своей чрезвычайной простотой. Говорит легко, свободно, как пишет, без рисовки и искусственности». Внешне он тоже виделся мне простецким — «симпатичный, белокурый, чуть курносый. Глаза какие-то светлые…» Не знаю, как я могла это разглядеть, сидя где-то на задних рядах. Но, видимо, народность, звучавшая в его слове, была настолько органичной, что она непроизвольно влияла и на мое восприятие авторской внешности.

И далее: «Твардовский отвечал на вопросы. Я тоже осмелилась послать ему записочку-вопрос, который мне кажется сейчас не совсем уместным в той аудитории и обстановке: кто из поэтов ему творчески близок? И он назвал Михаила Исаковского и неожиданно для меня — Самуила Маршака. Близость последнего Твардовскому сдается мне сейчас достаточно интересной для исследователей творчества обоих поэтов.

Во всех восторженных впечатлениях была одна диссонирующая нота. Суть в том, что Твардовский пришел на встречу не один, а вместе с раненым писателем-фронтовиком Евгением Воробьевым, который находился в госпитале на излечении. Он сидел за столом рядом с именитым поэтом в коричневом госпитальном халате и с перевязанной шеей. Вероятно, Твардовский приехал на встречу, чтобы заодно проведать своего собрата по «Красноармейской правде», специальными корреспондентами которой они служили. Мне казалось тогда, что поэт должен был представить аудитории Воробьева, который, конечно, не был так широко известен, но заслуживал тем не менее также внимания и большого уважения как военный корреспондент, публицист, писатель. Получилось же так, что мощная фигура поэта заслонила собою все остальное. В этом, наверно, были его сила и право. «Но все же, все же, все же…» Мое тогдашнее субъективное ощущение, судя по записи, сродни этим словам самого Твардовского, хотя, возможно, «речь не о том».

Девичник

На четвертый год войны, когда стали все отчетливее вырисовываться общие контуры Победы, душа моя понемногу начала оттаивать. Я знала уже, что брат мой жив и он в партизанах. Первую весточку от него после долгого и мучительного «безвестия» (очень емкое слово Л. Чуковской) я получила еще в Шеревичах, и она отозвалась во мне каким-то странным образом. Вот как я описала свое тогдашнее поведение в тот момент спустя несколько месяцев, 29 ноября 1944 г.

«Узнав знакомый почерк, я схватила конверт, но не разорвала его, а закружилась, как волчок, держа его в руке. Девочки удивленно смотрели на меня, на мой дикий танец, потом стали торопить: «Ну, читай же, читай!» Я же не могла прийти в себя от радости: пишет, значит, жив! А это главное! Но после такой бурной реакции я внезапно почувствовала слабость и, обессиленная, села. Наконец разорвала конверт и сначала быстро пробежала все глазами, а затем уж, немного успокоившись, прочитала внимательно. Брат писал из партизанского отряда, но никаких точных ориентиров не давал. И вот в Каунасе как раз получаю то письмо из пинского госпиталя, чудом уцелевшее из всей военной переписки с братом, о котором я упоминала в самом начале своих воспоминаний. Из него я узнала, что произошло уже соединение Красной Армии с белорусскими партизанами и он, уже в своей гражданской роли учителя, оказался в Пинске. А в госпиталь попал из-за воспаления старой раны. Короче говоря, в Каунасе, в моменты небольших передышек, можно было позволить себе немножко расслабиться. И неожиданно для себя самой я отметила свой день рождения.

Задумка принадлежала Наташе и пришлась ко времени и месту: в жизни, тем более в периоды такого «высоковольтного напряжения», особенно нужны праздники. В тот каунасский день в предчувствии торжества я действительно находилась в приподнятом состоянии духа, да и девчата в отделении были настроены на праздничную волну. Сдав свою дневную смену, я в возбуждении не чувствовала, как обычно после работы, разливающейся по всему телу усталости. Наташа и Саша все приготовили. На столе стояли какие-то консервы, квашеная капуста, сало, отварная дымящаяся картошка, сливочное масло, бутылка вина. Откуда появились эти яства, не знаю (за исключением вина и сливочного масла, которые были из нашего с Наташей вознаграждения за донорство. Вторая бутылка хранилась неприкосновенным запасом для моего брата: вдруг он чудом навестит нас!).

Как всегда в таких случаях, сначала звучали поздравления и тосты, потом пили чай с белым хлебом, намазанным маслом, а сверх еще и повидлом, откуда-то взявшимся. Кто-то принес коробочку конфет ирисок. В общем — настоящий пир по тому времени! В тот вечер девчата, дружно и тепло поздравившие меня, казались все милыми и добрыми, будто распахнувшими мне навстречу свои души. Они заставили меня читать вслух свои поздравления, написанные каждой в отдельности и вложенные в конверты, сопровождая их возгласами одобрения. Начальство не приглашали, и потому все чувствовали себя нестесненно, свободно. Вот некоторые фрагменты из записанного мною спустя 20 дней, в декабре 1944 г., об этом девичнике. «Наташа, моя милая, добрая Наташа, взяла на себя роль хозяйки вечера. Она суетилась, то и дело вскакивая с места и предлагая еще закуски, чаю, пролила вино; провозглашая тост, пожелала, чтобы каждая из нас отмечала свои очередные дни рождения «дома, в кругу родных и близких». И далее: «Немного выпили, повеселели, смеялись по каждому поводу и без него, негромко, вполголоса, чтобы не помешать раненым, пели песни, рассказывали байки. Разошлись поздно, в приподнятом настроении…»

Больше всего растрогал меня Сашин подарок — «Драмы Чехова» с любимыми моими «Тремя сестрами». «Я знала, как дорога ей эта книга, купленная в Каунасе с определенной целью — перечитать «Три сестры»: Федя восторженно писал ей о постановке пьесы во МХАТе, которую посмотрел недавно. Саша все больше раскрывает свою душу».

Это трудное слово Победа!

Между тем, в студеном январе 1945-го вместе с продвижением фронта и мы двинулись из Каунаса дальше, по направлению к Восточной Пруссии, и первой остановкой на этом пути был Кибартай. Небольшим мостиком он был отделен от немецкого города Эйдткунен. Возле мостика — пограничный столб с Гербом Советского Союза, на другой — зловещая для нас черная надпись: Германия. Раздел, как нам сказали, сохранился с 1939 г. За столбом — чужая и ненавистная нам тогда земля. Какая она? Я помню этот знаковый для нас момент пересечения границы: он остался отчетливой заметой в памяти.

События на фронте стали развиваться стремительно. 22 января отмечаю: «Сегодня за день было несколько важных сообщений: взяты город Гумбинен и ряд других немецких городов. Не сегодня завтра мы снова двинемся вперед, по прямой к Берлину… Сердце радостно и болезненно бьется от мысли, что конец войны совсем близок». Правда, в наступлении на Берлин наш фронт непосредственно не участвовал, но продвижение его по Восточной Пруссии шло успешно.

Тем не менее победная дорога тоже не была простой и легкой, как может показаться, и физически, и психологически: частые передислокации в суровых зимних условиях требовали большого напряжения и сил. И мы почувствовали это сразу, уже в Кибартае, где непредвиденно задержались, поскольку другие госпитали ушли вперед, а на нас, как на единственную в тот момент оставшуюся базу фронта обрушился весь поток раненых.

29 января отмечаю: «Пишу посиневшими закоченевшими руками, одолженными чернилами. Мои почему-то замерзли. Устала до последнего предела. Кажется, что если бы присела, уже не поднялась бы. Работая же и двигаясь по инерции, этой мертвой усталости как-то не замечаешь. Наоборот, настроение все время бодрое, хорошее…

…Стоят сильные январские морозы. Раненых полно. Чтобы их немного обогреть, создать им тепло (буквально) и уют, мало и 24 часов в сутки. Приходится все делать за счет сна. Поспать пять часов — просто роскошь. Сегодня я работала более полутора суток подряд. До этого спала не более трех часов. И сегодня после работы пошла вместе с другими заготавливать дрова. Не могу же я отправляться спать, если в палатах холодно».

К счастью, задержка в Кибартае была не столь уж длительной, и уже 4 февраля записываю: «Сегодня, наверно, последняя ночь в Кибартае. Снова свертываемся. Ориентировка на Тапиау… Очень может быть, что пока доберемся туда, надо будет отправляться прямо в Кенигсберг. …Я очень не люблю последние дни перед передислокацией. Раненые остаются как-то на втором плане, все подчиняется интересам и темпу эвакуации: быстрей! быстрей! В палатах становится неприбрано, неуютно, неприглядно. Не люблю!»

Конечно, частые передислокации несли определенные издержки раненым: срок их пребывания в госпитале укорачивался из-за необходимости отправки в другие госпиталя, не участвующие в наступлении. И оттого, что приходилось расставаться с ними, еще не окрепшими, наше сочувствие к ним обострялось.

Между тем, по мере продвижения вперед наше ожидание конца войны становилось все нетерпеливее. «Еще один-два переезда — и все: конец людскому горю, страданиям, конец моей фронтовой жизни», — записываю я 5 апреля 1945 г. в Бартенштейне, перед дислокацией в Тапиау, что 40 км от Кенигсберга. И позже, уже в самом Тапиау, на более близком приближении к цели, — 28 апреля: «Радостные события на фронте. Наши уже в Берлине! А сегодня военные сообщения о том, что наши войска соединились с войсками союзников!»

При этом поток раненых не снижается, напряжение не спадает, Берлин еще не взят. Наконец, 2 мая: «Войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов заняли Берлин. Радость неописуемая. Весь наш госпиталь дрожал от салютов. В воздухе взвивались осветительные ракеты. Совсем близок долгожданный конец!»

И наступило 8 мая. Моя запись от 9 мая (3 часа ночи) передает, видно, события прошлого дня, дня капитуляции Германии: «Трудно сразу представить, что война кончилась. Нет больше кровопролитных боев, не гибнут больше люди… Кончилась война!!! О, Боже! …Вчера целый день в ожидании этой радости. По слухам, в 3 часа дня ожидали выступление т. Сталина, но оно не состоялось. Мы продолжали ждать. Хотя я была после ночной смены, но спать не хотелось. И вот уже ночью, в мое дежурство, заговорило радио как раз во время подписания акта о капитуляции, и к тарелке быстро сбежались с разных сторон все кто мог. Смысл акта был сразу понятен, и у всех загорелись глаза, просветлели лица. …Я сразу побежала в палаты, чтобы сообщить раненым эту потрясающую новость. Ради нее я позволила себе даже разбудить их. Дала им выпить в честь Победы по стакану… кваса. Потом побежала наверх, где дежурила Наташа, чтобы обнять ее. Скоро мы с ней пустимся в обратный путь к своей родной земле».

По наивности мы считали, что раз война закончилась, нас сразу же отпустят домой. Однако демобилизация явно затягивалась, к нашему большому огорчению, но мы старались утешить себя: осталось потерпеть уже немного, еще чуть-чуть, и это сглаживало трудности, которые то и дело возникали. 27 мая 1945 г., в Тапиау, записываю: «Дежурю ночью. Раненые наконец успокоились. Уложить их спать (словно маленьких! — *Э. Г.*), выполнить врачебные назначения и все возникающие перед сном дела не так уж просто. Мой пост самый тяжелый, но я уже привыкла к нему и не хотела бы менять его на более легкий». Да, трудности воспринимались теперь как кратковременные, но чувство долга по отношению к раненым оставалось прежним.

И при всем этом как только война кончилась, мы начали вести «счет потерянным дням» — так велика была жажда новой, мирной жизни. Буквально через 10 дней после победы, 18 мая, записываю: «Нетерпеливое ожидание, счет потерянным дням все увеличивается. …Напряжение нарастает». И ровно через месяц, 18 июня — почти повтор: «В работе забываешься, но когда вспоминаешь, что война кончилась, а ты продолжаешь заниматься не своим делом и вычеркивать из жизни дни и недели, становится тяжело. Четыре потерянных года, самых лучших! Сколько же еще можно терять?» И далее: «…Ходят упорные слухи, что 23 июня ожидаются какие-то изменения: либо наш госпиталь переедет на новое место, ближе к Родине, либо появится правительственный указ о демобилизации… Скорей бы что-нибудь определилось!»

Слухи подтвердились лишь частично, о чем свидетельствует запись от 24 июля: «22 вечером передали по радио проект закона, предложенный на XII сессии Верховного Совета о демобилизации личного состава действующей Красной Армии старших возрастов. Мне и моим друзьям он ничего не даст». Зато потом подтвердился слух о том, что сэговцев направят на Дальневосточный фронт. Какую-то часть госпитальных работников, около 125 человек, главным образом, профессиональных медиков, на самом деле отправили на Дальний Восток. Им пришлось лечить пленных японцев, выполнявших тяжелую работу в тайге. В этой группе из хорошо знакомых была и старший лейтенант Вера Тазбина, которая работала старшей операционной сестрой и отличалась от нас, рядовых сестер, высокой квалификацией. Теперь она живет в Нью-Йорке и полна воспоминаний о прошлом.

Казалось, что в практической нашей жизни мало что изменилось: «По-прежнему своим чередом — работа, строевые занятия, приказы, и даже прибавилась еще зарядка. …В общежитии все разговоры вертятся вокруг дома и близких (18.V.45 г.)». Было предчувствие, что годовщину начала войны придется встречать в госпитале.

Однако новое в нашей жизни появилось: под Кенигсбергом заговорили о выходных днях! Какими необычными и потому бесценными подарками они оказались для нас! Вот тут-то мы и почувствовали — война кончилась!!! Даже сам выход за госпитальную ограду приносил наслаждение: мы же по существу

были заперты в госпитальных стенах, выход в город из госпитального пространства без увольнительной категорически запрещался, где бы мы ни стояли.

Когда появились выходные, Саша, самая деятельная в нашей неразлучной тройке, не преминула ими воспользоваться и в один из июньских дней организовала поездку к морю, к заливу Фриш Гаф с последующим посещением выставки 1-го Прибалтийского фронта в Лабиау. К заливу мы ехали на открытой машине, и это уже было наслаждением от давно не испытанного ощущения простора и предвкушения встречи с морем. 12 июня, на следующий день, я восторженно записала: «Пыли не было, ветер ласково трепал волосы, воздух был так чист и свеж, что хотелось дышать глубже, подставлять под него всю себя. Хотелось так ехать долго-долго, куда-то на край далекого удивительного мира».

Поездка к заливу была моей первой, весьма запоздалой встречей с морем, и я, отталкиваясь от литературных ассоциаций, восторженно ждала чего-то особенного, величественного, необыкновенного. Как ни странно, поначалу такого не произошло. И, думаю, потому, что берег был обезображен грязными следами войны: изрядно замусорен, захламлен, вода вблизи была зеленовато-мутная. Кроме того, мы застали залив в момент, когда он был очень уж лениво-спокоен. Но стоило взгляду оторваться от берега и устремиться вдаль, к линии горизонта, где море сливается с небом, как картина менялась, раздвигалась, ширилась, возникало ощущение простора, необъятной, безбрежной шири, раздолья, особенно острое у нас после долгого пребывания в огороженном госпитальном пространстве. И тогда мне вспомнилось давнее детское ощущение горизонта. Мне сказали однажды: «Смотри, вот горизонт», — указав далеко на черту, будто отделяющую небо от земли, и я увидела тогда за чертой безграничную голубизну неба; меня, девочку, охватило непонятное мне чувство бескрайности, бесконечности, вечности, ощущение недоступной моему пониманию загадки бытия. Водная гладь залива голубела-синела теперь от линии горизонта.

Вторая поездка в Кенигсберг, — вызванная интересом к нему и его историческим памятникам, не обошлась без приключений: на обратном пути на КПП нас забрали в комендатуру, поскольку мы просрочили, и довольно изрядно, время, указанное в увольнительной. По правде говоря, нам с самого начала было ясно, что в отпущенный госпитальным начальством срок мы не уложимся (сама дорога не такая уж близкая), но, почувствовав свободу, мы решили: нас поймут и строго судить не станут, война-то кончилась! И в самом деле — пронесло! Наши молодые веселые лица и огромные букеты цветов, которые мы собрали недалеко от берега, отвели от нас возможные неприятности.

В Кенигсберге поначалу нам повезло. Мы попали на улицу, где высились аж три памятника: «железному канцлеру» Бисмарку, королю Пруссии Вильгельму Первому и герцогу Бранденбургскому, последнему герцогу Восточной Пруссии. «Грузная воинственная фигура Бисмарка в длиннополом сюртуке опирается на опущенную вниз шпагу. Левая часть лица прострелена. На памятнике начертано: «Самому высокочтимому рейхсканцлеру от жителей Восточной Пруссии», — таким я увидела памятник и так перевела надпись на нем, как свидетельствует о том июльская запись 1945 г.

Памятник Вильгельму стоял возле разрушенного и когда-то, видно, величественного здания, напоминающего замок с высокими каменными стенами, крутыми ступенями многочисленных лестниц, устремленных ввысь. Вокруг — роскошная когда-то зелень, теперь оборванная и пожухлая. Сам Вильгельм не показался нам представительным — «низкорослый и толстый». Памятник герцогу Бранденбургскому, стоявший невдалеке, почему-то моего короткого описания не удостоился. Нам хотелось разыскать в Кенигсберге и памятники великим немцам — Гете и Шиллеру. В поисках первого у меня состоялся примечательный разговор с местной жительницей, стоявшей невдалеке с велосипедом. На своем чрезвычайно слабом, со школьной скамьи, немецком я обратилась к ней с вопро-

сом: «Где находится памятник Гете?» — «Гете?» — переспросила она, и, подумав, махнула рукой вдоль улицы. Мы обрадованно двинулись вперед и пришли к памятнику… героям всех войн.

Больше искать памятники мы не стали, потому что заметно притомились, да и время поджимало. По этой же причине не ознакомились и с Кенигсбергскими фортами, которые, по утверждениям знатоков, были отменно укреплены и славились удивительной механизацией. Зато не удержались от соблазна покататься на качелях, а затем и на обнаруженной в одной бухте речного порта лодке, испытывая блаженство от того, что гребешь и катишься по спокойной водной глади, вдыхая полной грудью свежесть и чистоту воздуха. Пристав к удобному местечку, с удовольствием сняли с себя военную одежду, искупались (впервые за четыре года!) и ощутили бурлящую в себе молодость. Потом аппетитно закусили предусмотрительно захваченным Сашей «обедом», который показался нам необыкновенно вкусным и, как мы шутили, «состоял из белого, черного и серого хлеба с песком, без песка и с солью» (запись 18 июля 1945 г.). День, проведенный в Кенигсберге, на природе, помнится мне до сих пор, и мы были обязаны прежде всего Саше: она умела украшать жизнь, извлекать из нее радость.

Саша и Федя (эпилог)

А время тем не менее шло, и нам казалось, что Армия вполне могла бы обойтись без нас. Но «прошел июнь, начался отсчет июля, а мы все на том же месте и в том же положении. Начальник уехал в рекогносцировку, и с его приездом что-то должно проясниться», — сетую я 7 июля и одновременно надеюсь на лучшее.

Пока же записываю: «Готовлюсь к докладу о Горьком. Хочется, хоть на время, оказаться в своей роли. Вот если бы он (доклад) стал моим прощальным выступлением». Однако вечер сорвался. «Это отбило у меня всякую охоту делать что-нибудь подобное», — обиженно фиксирую я 13 июля. И потому, когда к предстоящему госпитальному празднику — четырехлетию организации СЭГа мне поручили подготовить «журнал» с художественно-литературным уклоном о комсомольцах-сэговцах, я отнеслась к этой идее «без жара и энтузиазма», как записано у меня. И вдобавок: «Все делается для показухи, никому здесь это по-настоящему не интересно».

Между тем понемногу некоторые сестрички начали покидать госпиталь. Еще в мае записываю: «Вчера улетела первая ласточка — Тося Пичугина… Многие хотели бы оказаться на ее месте…» Каждый такой отъезд, как говорили, в порядке исключения, вызывал у меня бурю переживаний: «Когда же наступит наш черед и мы будем собираться в обратный путь?»

Вскоре пришел день (это было 18 июля), когда я и Наташа провожали на Кенигсбергском вокзале свою любимую Сашу Митрофанову, первой из нашей «троицы». О ней похлопотал Федя. Он добился через Главное санитарное управление фронта ее вызова в Москву, где ее должны были демобилизовать. «Саша счастливая, — записываю я спустя два дня после проводов, — она сама это признает, она верит в свое счастье, помогает ему, и оно улыбается ей».

И это на самом деле было так. Федя приезжал к ней из Москвы не только в Пыжовку (о чем уже шла речь), но и в Каунас. Правда, он тогда появился не в обещанный срок, а позже, что, естественно, не на шутку заставило Сашу переживать, хотя виду она старалась не подавать. Когда прошел сентябрь, за ним октябрь, а его все не было, она сказала мне и Наташе, что перестала ждать, но то была неправда: она продолжала верить ему, и он действительно явился 5 ноября, накануне октябрьских праздников. Тогда, в Каунасе, я записала: «Любовь у них настоящая». А теперь Федя ждал ее в Москве.

На вокзале сначала произошла тревожная заминка: комендант, проверяя документы, неожиданно сказал, что она должна поехать в Гумбинен, где нахо-

дился наш резерв, чтобы там в общем порядке проходить демобилизацию. Но Саша как-то сумела его убедить (или очаровать?), и он оформил ей все необходимые документы, «предоставив даже место в особом (женском) вагоне» (так у меня записано).

Расставание с Сашей было для меня грустным. Именно к концу войны, в Восточной Пруссии, мы с ней особенно сблизились. А ведь поначалу наши отношения складывались нелегко. Мне казалось на первых порах, что Саша ведет себя как-то неестественно, наигранно, слишком «красиво». Это впечатление создавалось прежде всего ее необычной манерой говорить, кажущейся театральной и оттого раздражающей. Я как-то откровенно сказала ей об этом. Она с обидой ответила, что вовсе не «играет», не притворяется, и то, что кажется притворством, на самом деле природно, вполне искренно. В этом я убедилась некоторое время спустя, тесно общаясь с ней в госпитале, а затем уж и после войны, не прерывая дружбы. Она действительно была внутренне неподдельно «красивой» и внешне не похожей на других, осанистой, привлекательной, в ней чувствовалась «порода».

В ноябре 1944 г. записываю: «Саша — чудесная девушка. Умная, честная, с твердыми жизненными принципами и убеждениями. Кроме того, она еще и по-женски обаятельна, в ней есть чуть заметное кокетство с примесью юмора и иронии. И жизнерадостность. Она умеет вызывать к себе расположение. У меня с ней неровные отношения: то стычки, то полный мир. Причем, мира меньше, чем противоречий. «Почему это?» — спросила я Сашу. «Не знаю, — ответила она. — Я даже писала об этом Феде».

Саша была всего на несколько лет старше меня, но при всей своей кажущейся театральности, патетичности, она превосходила меня своей жизненной умудренностью, большей гибкостью и чуткостью к нюансам, оттенкам. В целом же нас объединяла общность взглядов на жизнь, на роль в ней каждого из нас.

Она раскрывалась мне постепенно, все сильнее притягивая своей душевной щедростью. У меня сохранились такие поздние записи о ней: 8. IV. 1945 г.: «Саша Митрофанова заслуживает гораздо большей теплоты и привязанности, чем те, с которыми я отношусь к ней. С кем, кроме нее и Наташи, я могу так откровенно говорить? Кто еще может так меня понять?» И позже, 13 июля 1945 г., после поездки в Кенигсберг: «У нее какой-то природный талант делать жизнь более наполненной, краше. Кажется, что она живет и одновременно играет, причем, игра так тесно переплетается с жизнью, что их не разделить… Теперь я понимаю, что у нее все не наиграно. Она действительно *такая* и часто бывает лучше, красивее, чем кажется. Иначе говоря, мы думаем о ней хуже, чем она того заслуживает». И вот тогда, на Кенигсбергском вокзале, мы расставались с ней с самыми светлыми надеждами и теплыми чувствами, сродненные войной.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мои воспоминания окрашены еще и печалью, потому что в памяти встает 1973 год, 9 октября: я еду в Москву на похороны Саши. Смерть настигла ее тоже на войне, только другой, которая была для нее отзвуком чужой. Что же случилось? Думаю, об этом уместно сказать именно здесь и сейчас: так ведет меня цепочка памяти.

После войны наша тройка прочно держала связь, хотя я осела в Минске, и у каждой, естественно, была своя жизнь. Высокое служебное положение Федора Ивановича (он руководил юридическим отделом Верховного Совета СССР) нисколько не отразилось на поведении друзей и наших отношениях с ними. Их жизнь складывалась счастливо до тех пор, когда неожиданно, от инфаркта, едва переступив 50-летний порог, умер Федя. Высокочтимое начальство, как водится, обещало поставить памятник своему заслуженному работнику, но шли годы, а памятника все не было. И тогда Саша приняла решение — заработать деньги, чтобы самой отдать долг любимому человеку. С этой целью она, будучи преподавателем русского языка иностранным студентам в Академии общественных наук, едет в Дамаск — обучать русскому языку сирийских студентов. Одновре-

менно она воспринимает свою работу как выполнение высокой просветительской миссии. К великому сожалению, осуществить эту миссию она не успела, став случайной жертвой бомбежки перед самым началом учебных занятий во время израильско-арабской войны 1973 года.

Хоронили ее в Москве торжественно, с почестями, из Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Посмертно ее наградили орденом Дружбы народов. Теперь Саша и Федя покоятся рядом на Ваганьковском кладбище под неусыпной опекой их единственной дочери Татьяны Федоровны. Так преждевременно-печально завершилась эта счастливая, в сущности романтическая история военного времени.

«Сюрприз» Кенигсбергского вокзала

Но вернемся к Кенигсбергскому вокзалу 1945 г., который надолго застрял в моей памяти, потому что там и тогда наши лучшие чувства — любви, дружбы, чести, достоинства — были до боли сердечной оскорблены, а светлая любовь Саши и Феди запятнана: неожиданно за спиной мы услышали грязные слова, брошенные кем-то (и не одним) нам вдогонку. Вот что я записала с горечью, возможно, излишне драматизируя, после проводов Саши 20 июля: «Кругом мат, косые взгляды, похабные реплики, недоверие, насмешки… Отвоевавшийся солдат считает своим правом осыпать военную девушку градом оскорблений и колкостей. Даже не очень чувствительный человек может сгореть со стыда от таких слов и захлебнуться от возмущения. А каково нам выслушивать эти гадости? За что?»

На самом деле, наша троица, вместе взятая и каждая из нее в отдельности, таких упреков абсолютно не заслуживала. Наташа, самая старшая из нас, считалась просто эталоном поведения. Со своей недоступностью и неподкупностью в отношениях с представителями мужской половины рода человеческого она, будущая учительница в самой педантичной своей форме, доходящей иногда до смешного, вообще не допускала никаких послаблений в этой сфере. А чтобы «подбивать шансы», как это называлось тогда в госпитальной среде, флиртовать с ранеными, и говорить не приходится, упаси боже! Так, в частности, проявлялся и ее абсолютизм в главном — в коммунистической вере.

Надо сказать, что мы почувствовали себя несколько изолированно в ближайшем окружении именно в Восточной Пруссии, к концу войны, когда нравы, на мой взгляд, стали более свободными, менее строгими: мы не бегали, как другие, через дырки в госпитальной ограде на свидания с молодыми людьми из соседних воинских подразделений, и нам не приходилось поэтому придумывать разные объяснения по поводу поздних, после отбоя, возвращений в госпиталь. Многим нашим девчонкам безупречная девичья чистота казалась просто излишней. У меня, например, сохранилась такая, характерная для моей позиции запись, сделанная весною 1945 г. в Тапиау: «Живем с Наташей в комнате для сержантов. Я заранее чувствовала, что нам будет трудно среди распоясавшихся и огрубевших девчат… Каждый раз больно коробит их грубая развязность, вульгарность и нетребовательность к себе. Но что поделаешь? Осталось потерпеть уже недолго».

Наше окружение, естественно, было неоднородным. Наверно, и в госпитале в целом, и в нашем отделении в частности правил поведения, подобных нашему, придерживались многие, думаю, большинство. Я говорю лишь о случаях, затрагивающих меня непосредственно.

Мы все наслышаны о ППЖ и прочих любовных приключениях, которые, как говорилось, война «спишет». Но, думаю, не «спишет», потому что в любой ситуации человек ответственен за себя, за свои поступки. На войне было все, что случается и в мирной жизни, только трагическое и героическое время обостряло человеческие чувства и взаимоотношения, в одних случаях поднимая их на пик, возвышая, очищая и романтизируя, в других — деформируя, опошляя, унижая и

ломая человеческие судьбы. И в госпитале можно было видеть проявления любви в самых разных ее смысловых значениях.

В Инстербурге, например, в период огромного наплыва раненых, когда мне довелось несколько дней вместе с группой сэговцев поработать в соседнем госпитале Бурдина, мое внимание привлекла операционная сестра, которая работала завораживающе красиво: умело, легко и быстро. Она и внешне была достаточно хороша. Вот, кстати, что я записала тогда, 12 февраля 1945 г.: «Какая она замечательная работница! Ловкие движения рук, быстрая реакция и при этом умение руководить процессом. Она успевала перевязывать на шести столах и в то же время выполнять функции операционной сестры. Ее энергия и ловкость удивляли и восхищали меня, и я почему-то подумала, что она, по-видимому, одухотворена каким-то большим внутренним чувством: не может быть, чтобы ее здесь никто не любил. И оказалось, что я не ошиблась. Когда потом в разговоре я высказала коллегам восхищение ее работой, мне непрошено сказали, что она — фронтовая жена начальника госпиталя, и при этом добавили пикантную подробность: у него есть законная жена, которая шлет ему посылки с надушенными платочками, и взрослая дочь. А Саше (так звали нашу героиню) всего 23 года. Что у нее впереди? Как сложится ее судьба?

Все сказанное выше объясняет, почему нас, с нашим опытом жизни, меня как младшую среди троих в особенности, так сильно расстроило услышанное на Кенигсбергском вокзале. Как бы отвечая на наш совместный вопрос «За что?» и обращая его уже к своей собственной персоне, я с возмущением вопрошаю в тогдашней записи: «За то, что за все 4 года не позволила себе ни одной вольности, ни одной предосудительной слабости?»

Я старалась не прислушиваться к словам «недостойных ценителей нравственности», как я называла наших обидчиков, но против воли их обвинения меня больно задевали и вызывали необычайно бурную реакцию. «Мне хотелось кричать от обиды, бунтовать, опровергать. «Не-прав-да! Гады, гады, гады», — неслышно кричала я им в ответ.

Я вовсе не стараюсь изобразить себя какой-то недотрогой, непогрешимой схимницей, девушкой «не от мира сего», хотя я на самом деле слыла «монашкой», потому что придерживалась строгих принципов поведения. И в студенческие годы не предавалась бурным порывам молодости, жила больше разумом, может быть, потому, что судьба не давала любви затмить его: видно, не пришло еще время. Годы учебы провинциалки в столичном институте в основном были трудовые, школярские: я больше любила сидеть в институтской библиотеке или в «Ленинке». Походы в театры, музеи этому особенно не мешали. Всем своим небогатым опытом жизни я не была готова к вокзальному происшествию, и моя острая реакция на него, зафиксированная по свежему следу, в разноголосье войны звучит теперь как один из ее голосов.

Сегодня я думаю, что экспрессия, я бы сказала, болезненность моего восприятия объясняется в данном случае прежде всего оголенностью «морального нерва» и тем, что я была тогда наивным Панглосом, убежденной идеалисткой, романтически настроенной и неискушенной в жизни. «Наивная честность» — так я могу определить сейчас мое тогдашнее отношение к жизни, пользуясь выражением Лидии Гинзбург, которая считала это качество своим недостатком. Оговорюсь тут же, что я вовсе не соизмеряю себя с нею по масштабу личности, но мы выросли на одной почве и приблизительно в одно время. Признаться, я и до конца дней в определенной степени остаюсь идеалисткой с неистребимой верой в добро и доверчивостью в отношениях с людьми. Я по-прежнему считаю идеал в жизни — труднодостижимый, но притягательный — вектором движения вперед, к самоусовершенствованию; это почти то же самое, что высокая планка художественности в искусстве (если сопоставлять его с жизнью). Жизнь без идеала по существу бессмысленна. Правда, на современном фоне такой взгляд воспринимается как анахронизм.

Прощаясь с госпиталем…

Теперь, наверно, пришло время снова вернуться к восточнопрусскому периоду, заключительному для нас испытанию на прочность, моральную и физическую, через которое нам выпало пройти. Уже тогда можно было разглядеть кое-что из того, что́ изменила в нас война, какими мы пришли к ее концу, хотя следы ее будут проступать еще и по сей день. Очевидно, что в данном случае я имею основание говорить только о себе, тогдашней.

Делая свои записи, я уже тогда с недоумением заприметила, что война каким-то образом изменила, даже в некоторой степени деформировала мое восприятие природы, искусства, мои привычные реакции на них. Почему, например, я плакала, когда смотрела жизнеутверждающий фильм «Три танкиста» или выступление ансамбля Усачева? В самом деле, почему? — задавала я себе вопрос. Вот что нахожу в записи от 31 мая 1945 г., сделанной в Тапиау: «Была в городском театре на выступлении ансамбля Усачева… Вспомнила Москву, ее театры, и мне почему-то хотелось плакать…» И, удивляясь себе самой, продолжаю: «Плакать во время веселого концерта? Непонятно… К концу я все-таки заплакала… Мои соседи непонимающе смотрели на меня».

Думаю, что я выплакивала тогда горечь войны, скопившуюся за все эти годы, безжалостно вырванные, украденные у молодости, самой светлой, романтичной поры нашей жизни. Бередили душу, скорее всего, и неопределенность, туманность собственного будущего, которое предстояло строить не имея фундамента — дома, без матери. Сжимало сердце от того, что юность моя, наивно верующая в существование гармонии мира и человека, собственными глазами увидела, как эта гармония была разрушена злою, бесовскою силой. Поэтому даже в моменты радости сердце не перестает болеть. К примеру, слушаю по радио трансляцию парада в Москве 24 июня 1945 г. — диктор передает атмосферу праздника: «Люди с радостными, счастливыми улыбками». Моя же запись заканчивается фразой: «Сердцу радостно и больно».

Судя по заметкам в дневнике, дисгармонию мира воспринимаю по-разному: в одних случаях чувства обостряются до крайности, в других — происходит торможение. Последнее я наблюдала за собой, когда госпиталь стоял в Каунасе. Мы расположились в помещении, где минеры обнаружили тиканье мины. Поглощенная своей работой, я даже не заметила, что вокруг снуют саперы, к чему-то прислушиваются, что-то ищут. И вот как эта ситуация выглядит в записи 15 августа 1944 г.:

«Вчера ночью после работы я хотела кое-что записать, хотя чувствовала себя очень усталой. Но пришла Саша, и мы с ней долго проговорили. Я узнала от нее, что мы, оказывается, живем на минах: где-то в стене здания слышится тиканье, но минное устройство обнаружить не удается. Саша говорила об этом с чувством реальной опасности. Не знаю, что со мною происходит, но я не испытываю даже малейшего страха. Разумом как будто осознаю опасность, но до чувств не доходит… Я чересчур спокойно веду себя во время бомбежек и иногда очень инертно реагирую на вещи, от которых раньше пришла бы в страшное волнение…» «Что это? — спрашиваю я сама себя, — спокойствие наученного опытом человека или апатия от усталости? Скорее всего, последнее», — заключаю я и тут же в противоположность себе привожу реакцию другой медсестры, С. К.: «Она ходит сейчас с постоянной тревожной думой, что в один прекрасный момент мы можем взлететь на воздух. Я об этом не думаю. Зачем? Чему быть, того не миновать, как говорила моя мама». Думаю, что, несмотря на ссылку в адрес мамы, не она, а война сделала меня на время фаталисткой, затормозив мой естественный рефлекс страха, в то время как в другом случае она до предела его обострила.

Не случайна, видно, и запись от 5 ноября 1944 г.: «Что-то в душе моей заледенело. Когда растопится этот лед?» На раненых, правда, этот душевный холод не распространялся (сестринский долг деформации не подлежал ни при каких условиях).

И в восприятии природы не все оставалось как раньше: война отодвинула ее на другой план, во взаимоотношениях с нею возникли некий разлад, отчуждение, исчезла прежняя близость, стало как-то не до нее. В этом смысле симптоматична, мне кажется, запись, сделанная 28 октября 1944 г. в Каунасе в период массового поступления раненых: «Золотая осень кончилась. Листья опали, деревья стоят оголенные, без золота. Мне жаль той красивой поры, хотя сейчас некогда любоваться природой. Работы по горло. Давно уже не было такого потока. Вспоминаются по аналогии горячие московские денечки. *Но что такое со мной творится? Где мой прежний жаркий пыл?* …Гиллер бы сказал: наступили привычка к раненым, усталость от трех лет непрерывной работы… Нет, у меня *не в этом дело. Что-то другое*» (курсив мой. — *Э. Г.*) Что же?

Конечно, усталость несомненно нарастала с ходом времени, и Гиллер был бы прав, утверждая это, но смутно угадывалось мною и «что-то другое», а что — несколько прояснилось в последующей короткой зарисовке, сделанной уже после Победы, 27 мая, в ночное дежурство: «Ночь сейчас чудная, тихая, лунная. Напротив окна — небольшой водоем. Луна как будто упала в него, но не утонула, а лишь немножко расплылась. Смотрю на чистое светлеющее небо, еще яркую полную луну, вдыхаю свежесть раннего рассвета и думаю: *когда это все станет по-настоящему моим — небо, луна, воздух?*» (курсив мой. — *Э. Г.*). Природа, как видим, живет своей отдельной, отчужденной жизнью, вызывая ощущение обделенности, потому что *настоящая* естественная близость с нею возможна только в *настоящей,* то есть *нормальной мирной* жизни, а жизнь на войне — *противоестественная*, аномальная, в нарушение всяких норм и пределов. С другой стороны, здесь чувствуется обостренное до боли восприятие природы и ее красоты. Разлад с нею — симптом не безобидный, ибо в ней, природе, человек ищет и находит спасение, она нужна его душе, и такой симптом неблагополучия я заметила в себе еще в Пыжовке.

Уже само приближение мира, предощущение его поднимали душевный настрой, оттаивали, оживляли естество. Я сама себе удивилась, когда в новый, 1945 г. в Тапиау, почувствовала вдруг сильное желание пойти на новогодний вечер, предварительно поменявшись дежурством со сменщицей. Всласть натанцевалась там и, довольная, поздно вернулась в общежитие. Тут же и зафиксировала это примечательное для меня событие, первое за всю войну! «Я танцевала с каким-то давно не испытанным удовольствием и наслаждением, легко поддаваясь музыке, ритму ее, ноги послушно мне подчинялись. Права Елена Федоровна (медсестра, старшая по возрасту. — *Э. Г.*), заметив: «Ты сегодня всю душу вкладывала в танцы». Почему у меня такое хорошее настроение? …Наверно, только потому, что чувствую сердцем близкий конец войны. Оно предсказывает, что танцую в последний новогодний праздник на войне». И 24 января снова вспоминаю о том же, правда, с упоминанием о Наташе Ростовой: книжность неизменно присутствовала в моем восприятии окружающего.

Естественно, Победа нас окрылила. Но чтобы почувствовать ее в полной мере, начать новую жизнь, надо было прежде всего распрощаться с госпиталем, где все напоминало о войне с ее гнетущими реалиями. А пока мы оставались на службе, все в том же госпитальном пространстве, между тем, как прямая надобность в этом уже отпала (так нам казалось). Для нас продолжалось вычеркивание из жизни дней и недель, и это было особенно обидно в наши юные годы, когда весь мир, сдается, принадлежит тебе. И не терпится после всего пережитого оказаться в новой для тебя жизненной роли, влекущей и одновременно пугающей, так как она со многими неизвестными. Всякое промедление воспринималось как досадное и обидное торможение, каждая отсрочка вызывала неизменный вопрос: когда, наконец, начнутся жизненные перемены?

«Каждый прожитый здесь день оставляет новую отметину на сердце и в общем счете потерянных лет. Сколько еще таких дней впереди? Утешаю себя тем, что уже немного», — записываю я 7 июля 1945 г. в Тапиау.

И действительно, время, когда мы перестанем быть людьми военными, медленно, но верно, приближалось. 20 июля, перед последней передислокацией, фиксирую: «Почти все свернули, ждем эшелона. Уезжаем в Бобруйск (место формирования госпиталя в 1941 г. — *Э. Г.*). С ним связана надежда на практическое решение нашего вопроса. Сейчас первый час ночи. На нашем чердаке жарко и душно… Усталое тело просит отдыха, а мысли не дают уснуть…»

Хотя в Бобруйске нас действительно отпустили «в свободное плаванье», демобилизация мне и Наташе предстояла в Москве (во Фрунзенском военкомате), откуда началась в 1941 г. наша военная дорога. Произошло это только 22 августа 1945 г., спустя более чем три месяца после окончания войны, и было поистине выстраданным событием. Отсюда такая радостная запись о свершившемся, сделанная, правда, через неделю, уже в Минске, куда я приехала после демобилизации и где к тому времени обосновался мой брат: «Ноги несли меня из военкомата непривычно легко, хотя на них были все те же тяжелые армейские сапоги. На лице играла счастливая и, наверно, глупая улыбка. Мне тотчас захотелось снять с плеч погоны, словно они давили громадной тяжестью».

Давящая тяжесть погон в данном случае — это прежде всего неподъемный груз войны, а также, думаю, в некоторой степени — и след оскорбительной сцены, разыгравшейся на вокзале в Кенигсберге. Тогда она свежо маячила перед глазами и больно саднила, но вскоре осталась «за кадром». На переднем плане виделось другое — пафос Великой Победы и служение ей.

В Москве, таким образом, была перевернута последняя страница жизни на войне, моей и моих друзей, там же и начатая. В Минске начиналась новая, мирная глава моей собственной жизни, на которую неизбежно падал отсвет только что отгремевшей невиданной битвы. Сродненные войною, мы до поры до времени продолжали жить в тесной нерасторжимой связке.

Но все, что имеет начало, неминуемо обречено на конец. Только человеческая память, передающаяся из поколения в поколение, живет и конца не имеет. И война 1941—1945 гг., которую мы пережили, — *Великая, Отечественная*, унесшая неисчислимое множество людских Книг жизни, заслуживает навечно остаться в этой памяти.

Поэтому я вспоминаю и пишу, пока ручка-перо еще подвластна моей руке.



ЕЛЕНА АГИНА

Когда культура станет культом

«…Если мышление утратит чистоту и бдительность, а почтение к духу потеряет силу, то вскоре перестанут двигаться корабли и автомобили, не будет уже ни малейшего авторитета ни у счетной линейки инженера, ни у математики банка и биржи, и наступит хаос».

Конец века XX и начало следующего, увы, многократно подтверждали глубокую и горькую правоту этих строк, принадлежащих Герману Гессе, одному из самых уникальных и знаковых писателей Европы прошлого века. Провидческая «Игра в бисер» сегодня не менее актуальна, чем во время ее создания между двумя мировыми войнами. Вот только отдаем ли мы себе отчет, насколько все сферы нашей сегодняшней жизни, само существование наше, день завтрашний наших детей и внуков как в масштабе цивилизации, так и каждого народа и государства «…нуждаются в общей основе интеллектуальной нравственности и честности».

К чему это я? Новый проект «Нёмана» «Культурный мир», в котором мне предложили участвовать, превратился для меня в довольно долгое — почти полтора месяца — путешествие по селам и весям Гомельщины. Район наш аграрный, и где, как не здесь, налицо весь спектр как достижений, так и проблем нашей районной культуры.

С чего начать? Да, пожалуй, с начала: само собой получилось, что еще на стадии обсуждения в райотделе культуры и районной библиотеке, куда, когда и к кому ехать, наступило 3 июля. И тогда же, в рамках празднования Дня Независимости, в Доме культуры деревни Берёзки состоялась презентация коллективного сборника литобъединения «Пралеска», которое работает при центральной библиотеке Гомельского района. О самом литобъединении, имеющем давнюю, еще с 60-х годов прошлого века, историю, чуть позже. Что касается сборника, то я уже была с ним знакома: и как один из авторов, и как человек, внесший определенную лепту в его оформление. Вместе с Евой Дудоргой, руководителем литобъединения, не один вечер просидели перед монитором компьютера в поисках идей. Забраковав очередную картинку, Ева Антоновна грустно пощелкала клавишами, и вдруг на экране возник шедевр. «Вот, — говорит, — красотень какая…» — «Еще бы, — подскочила я, — это же Муха! Альфонс Муха. Самый блистательный художник периода венского модерна, оказавший влияние на все направление!» Так и украсили его «Времена года» и другие работы обложку и страницы «Пралескi». На обороте титульного листа сборника, как положено, выражена благодарность спонсорам и лично председателю Гомельского райисполкома Александру Михайловичу Ситнице. Это не дежурная вежливость. Александр Михайлович в самом деле поддержал выход сборника, помог с изданием. И этот проект — не единственный, который он помог осуществить. Не без его участия был издан и фотоальбом Евы Дудорги «Вчера. Сегодня. Навсегда». Да, руководитель ЛитО «Пралеска» не только одаренный прозаик, но и очень неплохой фотохудожник. Я не к тому, что таланты у нас редкость, — этого-то как раз хватает. А не хватает порой талантливым (именно талантливым!) людям самой малости — понимания и поддержки тех, от кого нередко зависит их творческая и человеческая судьба. Я потому об этом так подробно, что за свою 30-летнюю творческую жизнь в литературе и изобразительном

искусстве слишком редко встречала исключения, не подтверждающие печальный афоризм: «Чиновники и культура — две вещи несовместные…»

Но с приходом к руководству районом Александра Михайловича у нас наметилась очень радующая тенденция. Впрочем, тогда, на презентации «Пралескі», встречаться с руководителем района я, честно говоря, не собиралась — ничего интересного от этой встречи, по привычке, не ждала, и с другой стороны, боялась разрушить при ближайшем рассмотрении тот тонкий флер позитива и симпатии, который у меня волей-неволей, но стал появляться в отношении нашего председателя райисполкома. Но имя и телефоны на страничке рабочего блокнота все-таки появились. Ну так, на всякий случай…

А встретилась я с Александром Михайловичем, уже практически завершив работу над этим очерком, где-то в последних числах июля. В тот день над Гомелем после полуторамесячного пекла разразилась гроза. В районной библиотеке мы как раз просматривали отобранные фотоматериалы, когда небо стало фиолетово-черным, как ночью, замелькали синие вспышки. И чернота эта пролилась сплошными, стеной, потоками воды…

Впрочем, стихия бушевала недолго. Уже в полдень небо расчистилось. Асфальт высыхал на глазах, хотя в низких местах города еще много часов спустя неслись, переливаясь на тротуары, потоки воды и медленно, в фонтанах брызг, ползли троллейбусы и автомобили.

Глотнув еще пропитанного озоном воздуха, я повернула к райисполкому: примет так примет, нет так нет. Представилась в приемной, и буквально через две минуты Александр Михайлович Ситница, председатель Гомельского райисполкома, пригласил меня в кабинет.

Взглянув на мой рабочий блокнот, только улыбнулся — живая беседа лучше. И беседа действительно была живой и непринужденной. Говорилось о многом. И новыми издательскими проектами Александр Михайлович поделился, и о проблемах управления и культуре взаимоотношений общества и власти поговорили, и об образовании — былом и нынешнем. И о книгах, конечно. О том, как читали в наши студенческие годы, что называется, взапой. И о том, как трудно было эти книги достать. Теперь книги вроде бы не проблема, но вот насчет чтения… Мелькнуло в разговоре имя моего любимого Ремарка. Ну, за Ремарка можно простить многое. Даже легкую тень отчужденности, которой он отгородился, как матовым стеклом, лишь только речь зашла о проблемном и наболевшем. Например, о Центральной районной библиотеке. Размещается она уже давным-давно в нескольких комнатках РДК, который и сам нуждается в ремонте. Практически ни на что нет места. В читальном зале три стола, в комнатушке размером примерно 2×3 метра работают четыре человека: директор, заведующий отделом маркетинга, краевед и библиограф. Между столами едва можно протиснуться. Библиотека эта одна из старейших. Отметила свое 90-летие. Уже и столетний юбилей, что называется, «на носу»… Нет, Александр Михайлович все понимает. Вот только за городом новое здание строить — несерьезно, кто ж за город поедет — в библиотеку. А старых приемлемых вроде не осталось. Но деваться-то некуда — надо же райбиблиотеке хоть к 100-летию обзавестись нормальным местом жительства… Много о чем еще говорилось. И вдруг, среди прочего: «…знаете, тут конезавод в районе хотят создать, обратились недавно, а я ездить верхом не умею, но лошадей обожаю». И глаза горят, искрятся, как у мальчишки.

И подумалось мне тогда: если человек зачитывается Ремарком и обожает лошадей, все у него получится.

* * *

Июль, несмотря на одуряющую жару, промелькнул незаметно — что называется, «с подорожной по казенной надобности» колесила я по Гомельскому району где на общественном транспорте, где — на личном моих респондентов, где-то с рейдом

районной библиотеки на «бусике» райотдела культуры, а где-то и на своих двоих. Как, например, в Рудню Маримонову. Вышло это, впрочем, по моей собственной инициативе. В Рудню, конечно, можно без проблем добраться и на автобусе, и на маршрутке из Гомеля. Но до Гомеля из моих Старых Дятловичей четыре рейса в день на громыхающем всеми костями, прокаленном солнцем, допотопном «Икарусе» с «гармошкой». Да из Гомеля до Рудни. А потом то же самое в обратном порядке. При условии, что не опоздаешь на последний рейс на Дятловичи. Короче — уйма времени и прорва неудобств. Потому, сверившись со старой лесхозовской картой, которая бог весть с каких времен прижилась среди моих книг, выяснила, что до Рудни от Дятловичей, если по прямой, или, как здесь говорят «наскосяк», полями-лесами, то всего и будет километров 15. А может, и меньше — всегда ведь верится в лучшее. Оказалось — не меньше, дорога-то гравийная после поворота с шоссе на Михайловск петляет вокруг дамбы искусственного озера, да еще развилки то вправо, то влево — и ни единого указателя, даже самодельного, даже у деревень! Вышел — и не знаешь куда. Да, это не автострада Гомель—Брянск с ее идеальной разметкой, массой всевозможных знаков и нарядными заборчиками в деревнях и поселках вдоль трассы, которыми так восхищались мои коллеги-россияне, приезжавшие в Гомель на писательское мероприятие. Здесь же у малолюдной, глухой деревни выяснить, например, что попала я ни много ни мало в деревню Войтин (а мне надо было взять гораздо правее), удалось только поплутав среди разбросанных по нескольку домиков (справа — лес, слева — поле) и обнаружив деда на лавочке у ворот и пса, который меня и облаял громогласно. Для порядка. Правильно, ходят тут всякие… А хозяин подробнейшим образом объяснил, как мне выбраться из моего, в прямом смысле слова, заблуждения. Так что в Рудню Маримонову, пробежав пешочком да по жаре эти 15 км с гаком, пришла я изрядно усталая. Но все компенсировалось встречей с теми, ради кого я проделала этот путь, а именно с членами любительского объединения «Таварыства імя Е. Р. Раманава». А наслышана я была о них уже давно — Татьяна Александровна Мочалова, зав. отделом маркетинга Гомельской РЦБС, выписывая мне адреса и телефоны тех сельских библиотек, которые надо было посмотреть, настоятельно обращала мое внимание на Рудню: «Вам обязательно нужно познакомиться с нашим Вовой — Владимиром Николаевичем Александронцем». В Рудне, на встрече с членами Романовского товарищества, я снова услышала: наш Вова. Тамара Петровна Бондаренко, библиотекарь Руднемаримоновской сельской библиотеки, с улыбкой рассказала: как-то, несколько лет назад, приехала в школу какая-то комиссия, показали все, как полагается, и вдруг чиновная дама из комиссии аж задохнулась от возмущения: в классе за дорогим компьютером, один, без присмотра, сидит какой-то мальчонка и по клавишам щелкает. «Ребенок один за компьютером?» А мы ее успокаиваем: «Все в порядке — это не ребенок, это наш Вова». Вот так вот. А теперь будьте внимательны: в 14 лет — основатель местного краеведческого музея, сумевший своей идеей увлечь и педагогов, и работников культуры, и председателя сельсовета. Создатель и руководитель «Таварыства імя Е. Р. Раманава», редактор его регулярно выходящего с 2008 года информационного бюллетеня, студент исторического факультета ГГУ им. Ф. Скорины, стипендиат фонда «В поддержку талантливой молодежи» (2004 и 2006 гг.), член президиума Гомельского областного отделения Белорусского Фонда Мира (с 2007 г.), краевед Гомельской РЦБС. И все всерьез, не показуха. И на встрече со мной члены Романовского товарищества увлеченно рассказывали и о музее, и о «Піліпаўскіх вечарах», и о любительском коллективе народного творчества «Рамонкі» (художественный руководитель В. Л. Задорожный, ну да, тот самый, из знаменитого самодеятельного хора «Сож», что в Новой Гуте), и, попутно, обсуждали с Семеном Сергеевичем Чечиковым, председателем Руднемаримоновского сельсовета и тоже членом объединения, новые идеи и свои повседневные дела. Господи, сколько еще можно сказать, и обо всех… об одной Гуте и ее знаменитом хоре материалов хватит не на один очерк. Хотя с Новой Гутой как раз все понятно: знаменитое хозяйство, знаменитый коллектив… О них, впрочем, речь еще впереди.



«Піліпаўскія вечары» в Рудне Маримоновой.

А завершая о Рудне, если вообще можно что-либо завершить, вспоминается вот что. Уже после поездки туда говорила я о Владимире Александронце с Юрием Фатневым, писателем, которым могло бы гордиться любое европейское государство (хотя сегодня на Гомельщине вряд ли отдают себе в этом отчет). Так вот Юрий Сергеевич поинтересовался, откуда наш «чудо-мальчик», из какой, то есть, семьи. Оказалось — из обычной, рабочей. Дай бог ему сохранить свой юношеский максимализм и веру в то, что благая идея просто не может не пробить себе дорогу, и ту искристую энергию, которая и притянула к нему стольких людей.

* * *

А вообще-то знакомство мое с районной культурой началось в Еремино, причем, на Купалье. Во второй половине дня пошел дождь и чуть было не испортил весь праздник. Но, хоть и подмокший, костер все-таки разгорелся, да и концерт мне, честно говоря, понравился. Пока самодеятельные артисты готовились к выступлению, я в кабинете директора Ереминского СДК Алексея Алексеевича Воробьева просматривала альбом, в котором дипломы и грамоты, фотоснимки выступлений народного самодеятельного ансамбля «Колос», фольклорного коллектива «Чапурушечка», ансамбля народной песни «Здравица», а также гордость Алексея Алексеевича — драгоценные автографы поэтов Ю. Фатнева, М. Башлакова, Н. Шкляровой, оставленные после поездки по родным и дорогим для поэтов местам: Грабовке, Черетянке, Прокоповке, Терюхе, и конечно, встречи с ними в самом Еремино.

Потом, когда концертная программа уже закончилась и перед клубом гремело народное гулянье и дискотека и все еще горел купальский костер, Алексей Алексеевич и его артисты рассказывали мне о себе и друг о друге. И о том, что именно их СДК выступил инициатором празднования Купалья 10 лет назад, и тогда праздник сделали по-настоящему, с пусканием на воду венков, с прыганьем через костер и играми. Сейчас, правда, немного скромнее получилось.

И вот они сидят вокруг меня, уже без костюмов, и наперебой стараются рассказать мне что-нибудь хорошее и интересное; причем, каждая не столько о себе, сколько о подругах. Вот ветеран хора (с 1966 года) Анна Ивановна Захарова, врач-терапевт, молоденькой выпускницей мединститута создавшая тогда же в Еремино амбулаторию. А она спешит назвать имена Н. Т. Дубовец, Е. П. Кражевой, М. И. Михалкиной, Д. В. Черняк и других. У всех разные профессии — кто бывшая учительница, кто — швея. Кто-то стихи пишет, а кто-то любит их читать. Всех не упомянешь, обо всех не расскажешь, поэтому хочу хоть немного рассказать о тех, с кем смогла встретиться сама. Что еще о Ерёмино? Фольклорным ансамблем «Чапурушечка» 28 лет руководит А. А. Воробьев. Концертмейстер хора «Колос» (теперь осталась только хоровая группа былого знаменитого ансамбля) — Василий Дмитриевич Падуто, руководитель ансамбля народной песни «Здравица» Светлана Коваленко — у всех музыкальное образование. Уже на обратном пути в город зам. директора Ереминского СДК Екатерина Павловна Сергейчикова, выпускница Гомельского музыкального колледжа им. Соколовского и Белорусского государственного университета культуры и искусств, энергично рассказывает о коллективах клуба и о себе. Еще во время учебы много выступала с самодеятельным коллективом «Белы птах» Минского тракторного завода, побывала в Венгрии, Польше. Так что кадры у А. А. Воробьева, слава богу, что надо. Всем бы так. А пока шел концерт, я стояла за ширмой-кулисами, смотрела, как выступает ансамбль «Здравица» (поют они старые народные песни, но в современной обработке). И удивила меня искренняя, неподдельная радость, с которой они пели и танцевали. У профессионалов, тем паче работающих с народной тематикой, эта искренность встречается редко. После, еще разгоряченные, с пылающими щеками и блестящими от возбуждения глазами, они мне объясняли, что выступления бывали и лучше, что одна из участниц только недавно вышла из декретного отпуска, долго не пела, а другая — видите, пела за кулисами, ей не сегодня завтра в роддом идти. Однако пели так легко и зажигательно, что ноги у меня сами собой начинали пританцовывать…

* * *

А несколькими днями позже путь мой лежал в сельскую библиотеку деревни Климовка. Антонина Владимировна Жигалова встречала меня хоть и приветливо, но с некоторой долей недоверия. Оно и понятно — была у нее уже некая корреспондентка (не хочу называть издание, дабы не популяризировать в «Нёмане» недобросовестных газетчиков) и не только факты, но имя и фамилию дважды переврала. Вся деревня потешалась — хоть на улицу не выходи. И как после такого прикажете смотреть на представителей прессы? А Антонина Владимировна человек серьезный, ответственный. Рассказывает и показывает альбомы по разным направлениям работы. Вот, например, интересно — «Читательские рекорды». В альбоме рубрики: «Верный друг» — читатель библиотеки с наибольшим стажем, «Библиомарафонец» — это у кого больше всех посещений, а дальше «Почитатель книг», «Литературный гурман», «Премьер-читатель», «Книжная семья». Аналогично — для маленьких читателей. И все с фотографиями, красочно. Информация постоянно обновляется. А вот подарки. Читательница из Челябинска, занимающаяся поделками из дерева, подарила библиотеке свои скульптуры и вазы из корней деревьев, украсила окна здания наличниками.

У Антонины Владимировны еще много интересного: альбомы детских рисунков, альбомы Матери, работа с ветеранами и многое другое. Но самая главная радость и забота — «Семейный дом-2000». Он действительно уникален. Построен с помощью британцев, открыт в мае 2001 года. На открытии присутствовал Посол Великобритании Йен Келли. Сначала Дом создали для четырех детей-инвалидов. Раз дом — значит должны быть мамы. Подобрали для этого соответствующих социальных работников. Что дальше? Дом — есть. Дети — есть. Мамы — есть.

Стала складываться цепочка: дом — семья — учеба. Детям, которые до поступления к ним в силу своих тяжелейших диагнозов были почти беспомощны, стали прививать элементарные бытовые навыки, потом всерьез встал вопрос образования, профессии. И в каждом очередном случае вопрос решается индивидуально. Надо ведь не только профессию какую-то подходящую найти и выучиться. Выпускника надо трудоустроить. Ведь иначе что его ждет после детдома и школы? Интернат для инвалидов и престарелых? А заодно попытайтесь представить себе состояние 18—19-летнего прикованного к инвалидному креслу человека, находящегося среди больных и несчастных стариков. А семьям, родителям дети такие, как правило, не нужны. Антонина Владимировна с горечью и недоумением рассказывает, как разыскали маму одного из воспитанников, который теперь имеет профессию, работу, жилье. Так та отказалась даже взглянуть на сына…

Кстати, симптоматично. Проследите эту тенденцию: революция — Ленин и большевики виноваты; репрессии — Сталин; СССР к 80-м годам развалился — Брежнев и коммунисты, а уж если в семье рождается больной ребенок — тут не иначе как инопланетяне виноваты, а те, кто произвели его на свет, спешат как можно скорее избавится от своего творения и забыть… Страшноватая мировоззренческая модель, говорящая о серьезном духовном нездоровье общества. И все это вместе все о том же, о культуре.

Возвращаясь к «Семейному дому-2000», А. В. Жигалова рассказывает о тех профессиях, что сумели дать своим воспитанникам: озеленитель, швея, секретарь. «А самое тяжелое — это пройти МРЭК — сетует Антонина Владимировна. — Не хотят давать разрешение на работу — и нормальным детям работы не хватает. Но мы не сдаемся, добиваемся для наших ребят и работы, и жилья», — Антонина Владимировна улыбается, зная что у этих ребят уже есть место в жизни, и снова начинает говорить, какие все они удивительные…

Поездка в Климовку неожиданно подарила мне интересную встречу. На одном из стеллажей в библиотеке я обратила внимание на издания Православной церкви. Поинтересовалась. Оказалось — литературой снабжает протоиерей Сергий (Леоньков), благочинный Гомельского района, настоятель храма Преподобного Серафима Саровского в Гомеле. Отец Сергий и в библиотеке бывал, и с воспитанниками «Семейного дома» встречался.

* * *

Через несколько дней состоялась наша беседа. На вопрос о взаимоотношениях культуры духовной и светской отец Сергий заявил, что ответить затрудняется, потому как не представляет, какая же это культура может быть бездуховной? Господи, вот наказание! Конечно же, культуры бездуховной не существует, то, что бездуховно, — не есть культура. Но существуют же какие-то общепринятые понятия, термины, в конце концов… Отец Сергий только вздохнул — ох уж эти общепринятые понятия. И вдруг заговорил о 10 заповедях. Не убий, не укради, не лжесвидетельствуй… «Человеческое общество только тогда человеческое, когда оно регулируется моральной ответственностью перед друг другом и Богом. Задача церкви — научить человека моральному отношению к себе и окружающему. Культура духовная и светская должны в этом дополнять друг друга…» — выразил свое мнение отец Сергий.

Уже после встречи, во время которой отец Сергий мне подарил книгу архимандрита Сафрония (Сахарова) «Преподобный Силуан Афонский» со словами: «Если Вы это хоть с десятого прочтения поймете (а я сам не сразу, честно говоря, эту книгу осмыслил), то Вам уже другая духовная литература не понадобится», думалось мне вот о чем. В старой России церковь Православная вроде бы и место занимала в жизни общества достойное — в одной только Москве «сорок сороков» звонили. Вот только… Не спасли — грянул 17-й год с последующей братоубийственной войной, с горящими усадьбами и церквами… И еще один из многократ-

но виденных эпизодов вспоминается. Ехала я как-то на автобусе № 4, что идет в Берёзки. И вот на остановке на площади ринулась штурмовать автобус толпа безвкусно и разнокалиберно одетых женщин в платочках и с куцыми букетиками наперевес. Был Спас, и в соборе только что закончилась служба… И долго бы еще, наверно, продолжалась эта толкотня и переругивания между собой и пассажирами из-за мест, да мне надоело, к тому же, дочка рядом была… Пришлось объяснить пассажирам, чтобы не пугались, — это всего лишь сестры их из храма едут, не иначе, Благодатью Божьей преисполнились… Номер удался — тетки, одна за одной, покраснев, смолкли, прекратили, наконец, возню и брань…

И еще об одном. О культуре одежды. Кто это ввел странноватую моду ходить в церковь одетыми чем дурней и безвкусней — тем лучше. Ведь прабабки наши в церковь лучшее платье всегда надевали…

* * *

Ну а мой волшебный клубок, моя тема, повел меня дальше по району. Вот еще две сельские библиотеки, два библиотекаря: Татьяна Ивановна Ермакова из Чкалова и Мария Владимировна Виниченко из деревни Роги.

Первая — краевед, заняла 2-е место по республике за работу по теме: «Правядзенне работы па ўкараненні нацыянальных святаў і абрадаў». Увлеченно рассказывает о сотрудничестве со школьным этнографическим кружком «Спадчына» (рук. Н. И. Морозова). Ребята восстанавливают обряды, уже были представлены «Хрэсьбіны», «Сватаўство» и другие.

А еще у Татьяны Ивановны есть свои Берегини. Да, да, клуб «Берагіня», который действует, правда, только с 2009 г. — как сделали в библиотеке отопление. Участницы — в основном женщины, пенсионерки.

Я побывала у них на встрече, посвященной Купалью. И песен наслушалась. И в купальском венке покрасовалась. А венок-то большой и тяжелый, не из садовых цветов — из всякого разного сыпучего-колючего разнотравья сплетен. Так что долго в роли Купалинки я, конечно, не выдержала.

Библиотека в Чкалово аккуратная, недавно ремонт сделан. Уютно. В ЦРБ говорят: «Татьяна у нас молодец — почти все сама сделала». Верно, сама. Да и в разговоре с другими библиотеками и клубными работниками нередко приходилось слышать о том же — в качестве «спонсора» нередко выступает собственный карман. А что делать? Надо же как-то жить да быть. А если еще вспомнить, каковы зарплаты сельских культработников и библиотекарей, то… только удивляешься подвижничеству таких, как Татьяна.

Впрочем, бывает и так, что и самим-то сделать невозможно, как, например, в соседних с Чкалово Старых Дятловичах, которым, кстати, в этом году 370 лет. Библиотека здесь находится в здании бывшего сельсовета. Помещения хорошие, но здание-то бесхозное, не отапливается. Отделу культуры оно, понятно, вообще не по средствам. А клуб здешний отремонтировать не на что. Чтобы исправить котел да электропроводку, половину здания отдают под магазин райпотребсоюза. И упрекнуть некого — райотдел культуры искренне старается сохранить имеющееся. Заведующая отделом культуры Гомельского райисполкома Оксана Валерьевна Химакова в ответ на мои вопросы и предложения только вздохнула: «Хоть бы то, что в наличии, не потерять». Что верно, то верно. Не поспоришь. Вот только, согласно законам физики, если находишься на скользящей наклонной плоскости, чтобы не сорваться вниз, нужно безостановочно бежать вперед и вверх.

Когда я снова оказалась в районной библиотеке после поездки в деревню Роги, меня сразу спросили: «Ну, как Вам наша Маша?» Хороша, говорю, Маша.

Мария Владимировна Виниченко, энергичная, деятельная и одновременно обаятельная, уютная, мне в самом деле очень понравилась. И она, и ее мини-музей этнографии и фольклора. Мария Владимировна, улыбаясь, вспоминала, как создавали музей. Идея появилась. Хорошо. А дальше что? Сначала искали



Этнографический музей в деревне Роги.

по бесхозным, брошенным усадьбам — вдруг где на чердаке или в сарае что сохранилось? Ну да этого ж мало. Наняли у одного селянина коня с подводой да и поехали, что называется, «по хатам». «У кого есть что старое да ненужное, от бабушек-дедушек оставшееся, — несите нам». Где понимали, а где и откровенно смеялись: мусор собирают — его на свалку надо, а они в клуб тащат.

«С кем, — спрашиваю, — на полюдье-то ездили?» Оказалось, со школьниками, — дети в любых интересных делах незаменимы. Да еще представила мне Мария Владимировна тоненькую, в веснушках, девушку: «Вот, помощница моя добровольная, Марина. Что бы я без нее делала?» Марина живет в Гомеле, швея на фабрике «8-е Марта». В деревне Роги у нее домик — от бабушки достался. И все свое свободное время проводит она здесь — этнографией заинтересовалась. Вместе с Марией Владимировной музей этот они буквально своими руками собрали. Привезли, например, «кросны» — станок ткацкий деревянный — в разобранном виде. Все детали отмыли-отчистили. Да и другие экспонаты тоже — все ведь дерево, да с чердаков, из сараев вытянуто. Руки, говорят, от ссадин и заноз целый месяц не заживали. Ну да отмыть отмыли. Собирать станок надо. Обложились книгами. Почти двое суток день и ночь возились. И собрали. Правильно собрали. Работает.

И утварь у них всякая имеется, и мебель, и рушники тканые. Много еще и не собранного — размещать пока негде. Смеются, вспоминая, как учились и ткать и прясть. Ну, с самопрялкой еще так-сяк. А вот когда попробовали спрясть нитку на обычной прялке… «У Марии Владимировны нормально получилось, на нитку похоже, а у нас, — говорит Марина, — с палец толщиной». Теперь в их музее постоянно посетители — и школьников на экскурсии приводят, и приезжие интересуются. А еще планами Мария Владимировна поделилась: «Хотим весь процесс восстановить — от посева льна, через все стадии ручной обработки, как при прабабушках, до готового тканого полотна». Такие вот у нас Мария и Марина.

* * *

Так сложилось, что региональный Центр культуры и досуга в Урицком, имеющий 7 филиалов, отчасти из-за летних отпусков, отчасти от того, как выстраивался мой маршрут по району, посетить мне, к сожалению, не удалось. А посмотреть у них есть что, да есть чему и поучиться. Может быть, так получилось не случайно — в рамках однодневной, на несколько часов, встречи такое многоплановое, объемное явление, как культурный центр в Урицком, все равно не охватишь. О них, наверно, надо писать отдельно. Как и о некоторых других. Оксана Валерьевна Химакова еще при знакомстве сказала: «Материалов хватит — у нас об одной Новой Гуте очерк написать можно». И действительно, можно.

В Новую Гуту я все-таки попала, правда, ненадолго, в рамках рабочей поездки сотрудников районной библиотеки. Впрочем, лето есть лето — отпуска, ни с кем из руководителей творческих коллективов встретиться не удалось. В короткой беседе директор Новогутского СДК Ирина Леонидовна Черноруцкая успела только вкратце познакомить меня с теми коллективами, которыми гордится Новая Гута. Коллективы блестящие, заслуженные. Не удивительно. В Новой Гуте ведь знаменитый совхоз-комбинат «Сож» и его директор Анатолий Алексеевич Татаринов. Одно перечисление коллективов впечатляет! Заслуженный самодеятельный коллектив Республики Беларусь хор «Сож» (руководитель Е. А. Кириков), народный ансамбль танца «Сож» (руководитель заслуженный работник культуры РБ Н. М. Дубинин, аккомпаниатор В. Л. Задорожный), студия эстрадного сольного пения (рук. В. А. Аванисян), детский ансамбль танца «Сожаночка» (рук. А. М. Загорец). Хор «Сож» неоднократно становился лауреатом Всесоюзного фестиваля художественного творчества, участник фестиваля «Певческое поле», областного фестиваля хорового творчества им. Т. К. Лопатиной. Ансамбль народного танца «Сож» известен не только в Беларуси: побывал с концертами в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Люксембурге. Студия эстрадного сольного пения имеет взрослую группу и детскую, которая является постоянным участником регионального смотра-конкурса «Сожская звездочка». А сколько еще при СДК работает кружков, клубов по интересам, объединений! Здесь и клубы «Крепыш», «Хозяюшка», «Тем, кому за 30», музыкально-литературная гостиная «Алый парус» и многое другое.

Руководство ОАО совхоза-комбината «Сож» и о территориях, входящих в совхоз-комбинат, не забывает. Это я к тому, что объекты культуры у нас теперь находятся на балансе отделов культуры, дабы избежать неравенства условий — одни хозяйства процветающие, о других так не скажешь. Но ведь у отделов культуры средств-то почти нет. А хозяйства поддерживают по преимуществу непосредственно своих — дело это теперь добровольное, культура не у них на балансе. Так что хотели как лучше — а получилось… А теперь представьте: мои Старые Дятловичи, например, административно относятся к Бобовичскому сельсовету, а центральная усадьба хозяйства — Терешковичи с их ОАО «Гомельская птицефабрика» и ее директором Р. Р. Гаджиевым. И вот приду, к примеру, я с проблемами своего клуба или библиотеки к руководству нефтепровода «Дружба» или к Рафику Рамиевичу, и как вы думаете, куда они меня пошлют?.. Конечно, в райотдел культуры. Причем, с полным на то основанием — никаких ихних хозяйственных подразделений в Дятловичах нет. Даже обидеться будет не на что. А отдел культуры, как уже говорилось, хоть костьми ляжет, а делать-то все равно нечего. И Дятловичи такие ведь по району далеко не одни…

Финансисты, конечно, скажут, что раз деревни небольшие, хозяйства там нет, то пусть себе и умирают. Только вот как детям и внукам в глаза смотреть будем? Я снова возвращаюсь мыслью к тому, с чего начинала — к духовной и нравственной основе любого дела, которая предполагает, кроме всего прочего, еще и ответственность, способность просчитывать и предвидеть последствия своих поступков и решений. Неужели мы, столько потерявшие после Чернобыля,



Народный хор «Берёзки».

переселившие и похоронившие сотни и сотни деревень, можем позволить себе роскошь потерять хотя бы одну, даже если в ней три двора, не говоря уже о сотне-другой. Родина — это ведь не только столица, державные символы и новейшие технологии. Это в первую очередь клочок земли, где ты построил дом и посадил яблоню, где любил, где ждал первенца, куда приведешь и внука. И защищая эту землю, ты не пожалеешь жизни. Банально? Духовный Чернобыль по своим последствиям гораздо страшнее материального.

Кстати, о книгах и чтении. Приведу одну цитату. «В то время, когда Америка вступает в XXI столетие преисполненная надеждой и ожиданием лучшего будущего, слишком много наших учеников оказываются отстающими… Мы стоим перед лицом настоящего общенационального кризиса. Во все большей и большей степени мы из одной нации превращаемся в две разные. Одна умеет читать, а другая нет. Одной есть о чем мечтать, а другой нет». Это выдержки из первого радиообращения Президента США Дж. Буша 27.01.2001 г. (цитирую по журналу «Триз-профи», Москва, 2005 г.).

Ну что, будем продолжать догонять и перегонять? Кто победит в гонке к пропасти?..

С этими мыслями я, между тем, снова в пути. На этот раз в двух пригородных, крупных состоятельных хозяйствах, вернее, в их СДК. Сначала Берёзки. Да, те самые, в которых была презентация сборника «Пралеска». Директор СДК Людмила Александровна Орехова. Сразу спешит рассказать о лучшем — о народном хоре «Березки» (рук. Юрий Минин). Коллективу уже 25 лет, 50% состава в хоре со дня основания. А начиналось все в 84-м году — тогдашний директор племзавода «Берёзки», В. Н. Яценко, любил петь и создал хор на предприятии из своих же работников; сам был постоянным его участником, на все репетиции ходил. В «Берёзках» два хозяйства: племзавод, в прошлом знаменитый, на ВДНХ ездили не раз, и КСУП «Тепличное», бывшего директора которого — Альберта Петровича Белоусова — в Берёзках и по сей день добрым словом поминают — при нем построены больница, поликлиника, школа, жилье для работников. Дом культуры стал единым для обоих хозяйств. Нынешний директор «Тепличного» Сергей Викторович Канаш старается поддерживать традицию предшественника, культура здесь не в загоне. Хотя проблем, конечно, хватает. Людмила Александровна рассказывает о концертах хора, о мероприятиях и кружках в СДК и о клумбах

перед СДК, которые тоже не за день создавались — пока люди привыкли цветочки не рвать и не сорить, время прошло. Но вот, пожалуйста, красота все-таки действует. Много рассказов, много фотографий на дисках… Прощаемся возле этих самых клумб, где растения дополняет забавный садовый дизайн, созданный детьми на занятиях в кружках. Здесь и строй больших ярких цветов из фанеры, и колодец-журавель, где вместо сруба большущая деревянная бочка, засаженная цветами и многое другое.

Я думаю о том самом человеческом факторе, от которого столько зависит, о личности руководителя хозяйства. Ведь, действительно, любые вопросы можно решать по-разному. И спешу в Брилево, где тот самый фактор в лице знаменитого директора КСУП «Брилево» Аркадия Тарасовича Кобрусева играет, пожалуй, самую главную роль. Еще бы! Руководитель старой закалки, к тому же Герой Социалистического Труда, и одновременно человек, обладающий смелым современным мышлением. Так-то вот. Строгий и рачительный хозяин, он и культурное свое хозяйство вниманием не обделяет. В разговоре с директором ДК Сыбатовым Владимиром Владимировичем имя руководителя хозяйства мелькает частенько. Мне с гордостью показывают сияющее современными материалами отремонтированное фойе клуба. Декоративная штукатурка, современная плитка на полу подобраны так, чтобы органично дополнять роскошный, уже исторический, лепной потолок; показывают концертный зал и хорошо оборудованную сцену. Еще бы — в Брилево нередко проходят семинары не только областные и республиканские, здесь и зарубежные гости не редкость. Наталья Михайловна Сыбатова ведет меня куда-то во внутренние помещения, показывает новые музыкальные инструменты для клубного ВИА. Тоже Кобрусев позаботился. В клубе имеется народный хор «Вязанка» (рук. В. В. Орлов), танцевальный коллектив «Кросны», детский вокальный ансамбль «Сузор'е», ВИА и ансамбль народных инструментов «Весялiнка». Интересуюсь у руководителя Владимира Сыбатова, что исполняют. «Ретро в основном, — говорит Владимир Владимирович, выпускник Гомельского музыкального колледжа им. Соколовского, — песни нашей молодости. Это ведь основной песенный фонд».

И везде где можно в ДК рукоделье: детские работы-панно из соленого теста, модели одежды, вязаные крючком, вязаные куклы и разноцветные фрукты-овощи, целый сад из бисера и камней. Оказалось, создают всю эту красоту Наталья Михайловна и ее ученики. «Сад, — говорит она, — еще не закончен, хочу населить



Брилевский народный хор «Вязанка».

всеми видами деревьев, растущих в наших брилевских садах и вокруг». А куклы — настоящее произведение искусства. На республиканском конкурсе «Белорусочка краше Барби» в 2007 г. заняли 2-е место. Сделала их Наташа Шинкарева, ученица Натальи Михайловны. Сейчас она уже учится в колледже, но ДК не забывает — руководит молодым клубом «Бриз». А вот эти яркие, вязаные крючком, модели на манекенах — коллекция «Чаравніца», занявшая в 2003 году 3-е место на областном конкурсе юных модельеров «Разноцветная мозаика» в Светлогорске.

* * *

И была на путях-дорогах моих по Гомельскому району встреча, без рассказа о которой мне, пожалуй, не обойтись. Я уже упоминала о поездке вместе с работниками районной библиотеки Т. А. Мочаловой и В. Н. Александронцем, что называется, «по глубинке». Побывали кроме Новой Гуты и в Марковичах, и в Черетянке, и в Кравцовке, и в Грабовке, и на шарпиловский паром посмотрели. Татьяна Александровна вспомнила, как готовили в 2008 году «Гречаниковские чтения» в Шарпиловке, которые проводились совместно с Гомельским отделением Союза писателей Беларуси (председатель В. Н. Гаврилович). Но самым ярким впечатлением этой поездки была беседа с поэтом, лауреатом Государственной премии Беларуси Михасем Башлаковым, который вместе с нами проехал по родным местам — он ведь из Гомельского района, родился в поселке станции Терюха (ныне Баштан). Нет, Михася Захаровича я знаю давно, лет тридцать, пожалуй. С его творчеством, а потом и с ним самим меня, начинающего тогда поэта и художника, познакомил его друг и учитель поэт Юрий Фатнев, к которому Михась, угловатый, вихрастый девятиклассник, пришел в литобъединение при районной газете «Маяк». Да-да, то самое, будущую «Пралеску». Но встреча с Башлаковым во время этой поездки была настоящим подарком. В Марковичах Михась Захарович увлеченно слушал народные песни, которые пели для нас на сцене Марковичского СДК девушки из ансамбля народной песни «Реченька». И как пели! Директор ДК Галина Антоновна Прокопенко, и смущенная нагрянувшими гостями (и знаменитый поэт, и корреспондент, собирающий материал для очерка в «Нёмане»), и обрадованная, спешит все показать и рассказать: Виктор Шипков, сегодня уже окончивший школу, создал при клубе вокальную группу «Память сердца». Направление в основном военно-патриотическое. И о той же «Реченьке» и ансамбле народно-бытового танца «Краковяк». Что, Марковичи не в числе лидеров и знаменитых мест? И писать о них не предполагалось? Но памятуя, как оживился Михась Захарович, как увлеченно смотрит и слушает, как фотографируется с запыхавшимися от песен и танцев самодеятельными артистками, оживился, может, один раз за всю эту не совсем веселую поездку, кроме встречи с бывшими ученицами в библиотеке в Черетянке, как можно было не упомянуть Марковичи хоть несколькими строчками? А в библиотеке мне рассказали об интересном обрядовом празднике «Сула», который в деревнях Кравцовка, Диколовка, Гадичево, Глыбоцкое проводили на второй день Пасхи. Обряд интереснейший, старинный, хороводный, связанный с древним весенним праздничным циклом. «Сула» в переводе со старославянского означает «огромное движение людей».

Фотография на память — и мы едем дальше. Михась Захарович по моей просьбе делится своими мыслями о проблемах культуры.

— Культура села — камень в фундаменте общества, без нее не будет культуры ни общества, ни государства в целом. Так и поэт всегда начинается с малой родины, — говорит Михась Башлаков, — и важно, чтобы люди, отвечающие за культуру, были не безразличные, чтоб душой болели за дело.

Поэт вспоминал, как во времена его детства даже в маленьких деревнях были библиотеки. Сегодня в материальном отношении мы живем несравнимо лучше, чем в 50—60-е годы, вот только на культуру нам все не хватает. «Если на сельсовет сегодня 2—3 библиотеки — это безобразие, это говорит о низкой культуре

местной власти», — Башлаков, как всегда эмоционален и искренен. Для него, поэта, эти темы тоже свои, болючие. По ходу размышлений вспоминает Михась Захарович, что даже в трудные 20-е годы прошлого столетия были избы-читальни, их открывали несмотря на разруху. И рождается предложение — для деревень, где по несколько дворов, создать избу-читальню на колесах. И чтоб действовала регулярно, хоть бы раз в месяц. А что, действительно, стоит подумать.

Нет, не все это говорилось в дороге. Была и другая встреча, не на колесах.

Михась Захарович сокрушался, что редко удается вырваться из Минска на родину. Вспомнил сборник «Пралеска», порадовался, что власть местная на культуру внимание обращает.

Говорил о районных газетах, которые в первую очередь должны быть газетами народа и для народа. Газета, отдел культуры райисполкома должны мыслиться как единый механизм. Многократно повторенное: без истоков, ручьев-ручеечков мелеют реки, — не становится менее злободневным. Башлаков задумывается, снова возвращается к теме: «Председатели сельсоветов — в первую очередь должны быть образованными, умными, болеющими за свой сельсовет, за каждую деревеньку. Культура — основа экономики и всего». Да, в поездке нашей было не только приятное. Тяжеловатое впечатление произвел ДК в Грабовке, в нем же и библиотека — в смысле состояния своего. Построено здание, наверно, в 70-е годы. Ремонт нужен — кровь из носу, как говорится. А помещений хватает, просторно, много чего можно разместить и сделать для культуры полезного.

* * *

Вот, пожалуй и все. Подорожье мое закончено. Сейчас глубокая ночь. Я выхожу на крыльцо в Старых Дятловичах. Небо бездонное и как будто совсем близкое — протяни руку и сорвешь звезду, как яблоко. И звезд вообще немерено. В городе такого не увидишь — смог и электричество… После дневного зноя ночь теплая, даже слишком. Легкое дуновение ветерка почти не чувствуется. Я вспоминаю свои встречи и поездки. И вдруг привиделось: звездный свет разбудил вязаных кукол в Брилево, и они ведут хоровод среди вязаных же овощей и фруктов, а где-то над Марковичами или Кравцовкой раскинулся Млечный Путь — идет, пританцовывая, небесная «Сула» от деревни к деревне. А в окно музея в деревне Роги лунный луч проник, осветил кросны. Шевельнулась в углу тень, и Мокошь[1] неслышно скользнула к станку, натянула лунную нить на кросны, и засновал челнок, вплетая лунный узор в полотно судьбы народа…

По выжженной траве во дворе протянулись тени от луны и фонаря у соседнего дома, прямо над крыльцом светятся Стожары и бредут по вечному кругу небесные медведи. Время где-то между полночью и рассветом. Еще совсем темно, только у самой земли на востоке едва угадывается более светлый тон неба. Еще не свет — скорее предчувствие света. Вдруг хрипло, спросонок заорал петух. Ему неуверенно ответил другой, третий. И дальше по деревне. И так же один за одним смолкли — когда еще рассветет…

А в моей памяти тихо звучат строки Райнера Рильке:

Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села,
Как свет в последнем домике прихода.

---

[1] Мокошь, женское божество в восточнославянской мифологии.

Объяснить и предсказать

(Монологи физика Сергея Килина)

Строки биографии

Сергей Яковлевич Килин родился в 1952 году в Гомеле в семье военнослужащего. В 1954 году семья переехала в Минск.

Окончил среднюю школу № 84 г. Минска. Физикой увлекся еще в школьные годы. В девятом классе поступил в ШЮФ (школа юных физиков) при Институте физики Академии наук БССР.

1969—1974 гг. — учеба в Белгосуниверситете. Занимается научной работой. Ленинский стипендиат. Университет окончил с отличием.

С 1974 года и по настоящее время работает в Институте физики Национальной академии наук. Заведующий лабораторией квантовой оптики имени Б. И. Степанова. С 2006-го председатель Физического общества. С 2008-го заместитель академика-секретаря Отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук. Одновременно более 20 лет занимается преподавательской деятельностью — профессор БГУ.

Защитил кандидатскую диссертацию (1980 год), докторскую (1992 год). В мае 2009 года избран членом-корреспондентом НАН Беларуси.

Опубликовал 4 монографии и более 400 научных статей.

Награжден премией Ленинского комсомола (1982 год), Государственной премией Республики Беларусь (2002 год).

Прошло почти четверть века с того момента, как я впервые познакомился с молодым тогда ученым Сергеем Яковлевичем Килиным. Ему было чуть-чуть за тридцать. Он уже был кандидатом физико-математических наук, лауреатом премии Ленинского комсомола. Я тогда писал о нем в молодежную газету. Молодой, очень обаятельный человек, эрудированный, общительный. Умные глаза, доброжелательная улыбка. С ним легко было общаться. И вот встретились недавно. Все такой же коммуникабельный, открытый, подтянутый.

Сергей Яковлевич за это время стал известным физиком-теоретиком, членом-корреспондентом НАН Беларуси, автором многих научных статей, разработок, но это никоим образом не отразилось на его личности. Он не стал менее доступным. А когда он говорит о физике, то невольно заслушаешься: это так же талантливо, как и то, что он делает в науке. Недаром немецкий физик-теоретик Альберт Эйнштейн говорил: «В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса».

Александр Зиновьев

Теория и выход в практику



Сергей Яковлевич Килин.

— Когда речь заходит о науке, теория как-то остается в стороне от внимания широкой общественности. Основное — практические результаты, которые надо сейчас, сиюминутно применить в жизнь. Такова теперь главная задача ученых. Понимание важности фундаментальной науки во многом остается на словах, реального глубокого понимания важности этого направления нет, и оно требует усиленной защиты.

Если вернуться к тому времени, когда я начинал в науке, то понятие «физик-теоретик» тогда было очень весомо. Сейчас любая научная деятельность должна быть направлена на конечную продукцию. Но инновационный путь развития — не панацея от всех бед. Ведь цель науки гораздо шире. Заниматься наукой люди будут всегда, вне зависимости от того, какие конкретные задачи перед ними поставлены.

Общество, подобно любому живому организму, должно себя защищать. Ведь внешняя среда не всегда благоприятна. Организм, чтобы защитить себя, должен проявить какие-то функции сродни работе разведчика: что вокруг находится, как этим можно воспользоваться и можно ли это вообще использовать? Можно ли вообще переходить в эту область, нет ли там какой другой опасности?

Именно поэтому в обществе появляется около 10 процентов населения в виде таких разведчиков, у которых мозги построены так, что для них открыть, понять и разобраться — самая большая радость в жизни. И задача общества — беспечить их работой, создать такие условия, чтобы максимально использовать их знания и усилия.

Ныне, если студент или школьник побеждает на олимпиадах, он нередко слышит от родителей: ученый — сколько он там получает? Иди в фирму, становись программистом, будешь обеспечен… И молодой человек, имеющий тягу к науке, должен обладать волей, чтобы преодолеть негативное влияние данной ситуации.

Более двадцати лет я преподаю в университете на кафедре теоретической физики, а сейчас и на кафедре прикладной математики, и вижу: студенты, которые прекрасно учатся, — не очень сильно изменились, у них стремление к науке такое же, как у их сверстников двадцать лет назад. Они с интересом занимаются и экспериментом, и теорией, понимая значимость того и другого.

В наше время заметно сократился этап между исследованием и его реализацией в виде продукта. Четверть века назад даже такого слова, как Интернет, не было. Много новшеств стало повседневностью благодаря развитию микроэлектроники, а на ее основе разнообразных информационных технологий. Существует так называемый феноменологический закон Мура: каждые 18 месяцев число транзисторов в чипе удваивается, и как следствие, уменьшающийся размер транзисторов приводит к более компактным, более мощным возможностям обработки и хранения информации.

Быстро совершенствуются мобильные телефоны, в них интегрируется все больше различных функций: фотокамера, плейер, калькулятор, записная книжка, диктофон, устройство для игр. Появились компактные цифровые кино- и фотокамеры, обладающие большей емкостью видеозаписи по сравнению с пленочными на несколько порядков. А вспомним «музыкальную историю»: проигрыватели с пластинками, магнитофоны с кассетами, CD-проигрыватели с дисками, MP3-плейеры и, наконец, iPod-m, в которые можно записать столько произведений, для хранения которых на пластинках потребовалось бы большое помещение. И все эти революционные изменения проходят незаметно. Даже трудно предсказать, что будет лет через десять или даже меньше. Это сокращение требует от ученых большей открытости к разнообразным проявлениям окружающего мира.

Новые вещи возникли, появились не сами собой, а благодаря теоретическим исследованиям, стремлению понять непонятное.

О себе и квантовой информатике

— После получения в 1983 году премии Ленинского комсомола Белоруссии за цикл работ «Квантовая теория резонансного рассеяния лазерного излучения» я продолжал заниматься квантовой теорией взаимодействия света и вещества. В 1992-м защитил докторскую диссертацию. Примерно в те же годы кроме лазеров, других устройств возникло направление, которое теперь называется квантовая информатика.

Ресурс, предоставляемый квантовыми объектами — теми же фотонами, атомами, позволяет значительно эффективнее делать то, что сейчас выполняют классические компьютеры и другие устройства. Человечество осознало: есть новый ресурс! Причем, это осознание пришло революционным образом, но все предпосылки к нему были. Вспомним: когда были созданы первые транзисторы, на их основе стали создавать электронные устройства, в том числе компьютеры. Но они были необычайно больших размеров из-за того, что транзисторы сами по себе были большие. Для хорошего устройства надо было много таких транзисторов в элементе — чипе. Один из создателей компании «Интел» Гордон Мур обнаружил, что каждые два года транзисторы уменьшаются в размере и количество этих транзисторов в чипе увеличивается тоже примерно вдвое. Тенденция эта сохранялась, и выходило, что к 2015 году транзистор должен сравняться с размером атома водорода. Такие размеры — это уже квантовая физика, квантовые эффекты. Мало того, оказалось, что при этом значительно возрастает ресурс, настолько значительно, что нам даже трудно представить!

Самый простой пример: записать в память компьютера все числа в бинарной системе, скажем, двести разрядов. Таких чисел окажется два в двухсотой степени. Это количество атомов во Вселенной! Значит, размер памяти должен быть в размерах Вселенной. Как же так?!

Мы понимаем, что задачи, которые решает природа, настолько сверхсложны, и те принципы, которые использует природа, мгновенно объединяя атомы в молекулы, отличаются от тех, которые применяет человек. В наше время никто не может эту задачу решить на компьютере с помощью уравнений. А природа делает это в ничтожные доли секунды, фактически решая эти уравнения: находит оптимальный минимум и выдает продукт в виде молекул. Как природа это делает?!

Оказалось, если в качестве носителей информации вместо «битов», которые есть значения 0 и 1, будем использовать квантовые состояния, которые не есть или 0, или 1, а есть одновременно и 0, и 1 — свойство суперпозиции, характерное для волновых процессов, — тогда для создания памяти достаточно двести таких частиц; это могут быть фотоны, поляризуемые горизонтально и вертикально, электроны, у которых «спин вверх», «спин вниз». Такие частицы называются, в отличие от «битов» — «кюбитами» или «квантовыми битами информации». Значит, можно создать память из 200 электронов, которые и позволят записать все эти

числа — два в двухсотой степени. Память — вот она: не все атомы Вселенной, а только двести электронов!

Квантовая криптография

— Информационную безопасность — охрану секретов государства, фирм, осуществляют с помощью криптографии. Основана она на сложности задач, которые невозможно решить. Для примера: перемножить два двузначных или даже трехзначных числа — просто, можно на бумажке столбиком. Но если вам дать результат перемножения двух трехзначных чисел, сможете ли вы сказать, какие именно трехзначные числа перемножались? На это вы потратите уйму времени, и неизвестно еще, найдете ли ответ. В криптографии по открытому каналу передается произведение: человек, имеющий код в виде одного из перемножаемых чисел, легко определит второе, поделив полученное произведение.

В 1994 году было показано, что квантовый компьютер, основанный на квантовых «кюбитах», способен решать задачи криптографии.

Мгновенно все обратили внимание на это направление: квантовый мир открывает новые возможности — информационные и вычислительные. Но как его организовать, чтобы использовать? Получилось, что квантовые темы, которыми мы занимались, стали важны и затребованы именно в этом направлении. Поскольку теория, которой я занимался, связана с квантовыми эффектами взаимодействия и одиночных атомов, и одиночных молекул с одиночными фотонами в различных состояниях, то оказалось, что это именно тот аппарат, та система, которая нужна для создания таких устройств.

Получилось, что теория группировки и антигруппировки фотонов, взаимодействие их с одиночными атомами, за которую я получил премию Ленинского комсомола и которая тогда казалась немного отвлеченной от практики, неожиданно оказалась насущной и необходимой для практики.

В 2007 году мы сделали систему квантовой криптографии, передающую по волоконно-оптической линии ключи в виде одиночных фотонов, и она пока является единственно возможной безопасной системой, с которой не может справиться квантовый компьютер. В отличие от классической криптографии, в квантовой кодирование происходит с использованием квантового ресурса — такая криптография не подвластна квантовому компьютеру, поскольку существует закон о невозможности клонировать состояние неизвестного квантового объекта. Это запрещает физический закон, что объясняет надежность квантовой криптографии.

В 2007 году мы такую систему реализовали, она работает на расстоянии 5—10 километров. И если кто-то сделает квантовый компьютер, против него у нас есть надежная защита, которая позволяет сохранить секреты фирм или правительства.

Удивительные центры в алмазе

— В 2001—2004 годы мы занимались поисками систем, пригодных для создания прототипа квантового компьютера. Это очень трудная задача. Предложено было несколько вариантов: квантовые точки, сверхпроводящие устройства, системы ионов в ловушках и др. Но нам нужны были твердотельные системы для твердотельных компьютеров, работающих при комнатной температуре.

Как это ни фантастично, оказалось, что такое вполне возможно. В 2001 году мы предложили компьютер на так называемых азот-вакансиях в алмазе. Знаете, почему алмаз красив? Потому что в нем есть примеси. Если бы он был чистый, был бы бесцветный, и красивости в нем не было бы. Все становится красивым, если есть отклонения от идеальности. Азот-вакансии в алмазе светят в красном диапазоне. Можно выделять эти отдельные центры с помощью методов спектроскопии одиночных молекул и приложения радиочастотных и микроволновых

полей. Тем самым удается наблюдать и управлять сигналами отдельных ядерных спинов, которые принадлежат этому центру или находятся вблизи него. С такой системой спинов можно работать, создавать логические ячейки.

Такой прототип в 2004 году был продемонстрирован нами совместно с учеными Штутгартского университета.

Кстати, проект по алмазным квантовым компьютерам финансируется в шестой рамочной программе. Европейский союз финансирует этот проект такой коллаборации: алмазопроизводитель «Компания Де Бирс», университеты в Штутгарте, Париже, Австралии, Англии и Беларуси.

Научные связи

— Наука по сути интернациональна. Каждый ученый должен говорить о своих результатах, интересоваться сделанным другими; все должно «вариться» в научной «кухне», обсуждаться, и как можно интенсивнее. Осознание этого пришло ко мне не в 2004 году, а намного ранее.

В восьмидесятые годы меня интересовали вопросы, связанные с твердотельными и молекулярными объектами; изучали их в связи с экспериментами, которые проводили за рубежом. Много было у меня работ, посвященных квантовой оптике, то есть оптике на уровне одиночных фотонов. В 1990 году издал книгу «Квантовая оптика: поля и их детектирование», в которой изложены все вопросы детектирования одиночных фотонов, состояния квантованного поля, сжатых состояний. Это была первая в мире монография по сжатым и другим неклассическим состояниям.

После конференции в Минске в 1989 году меня пригласили на несколько месяцев в США в различные университеты. Первым человеком, который меня встречал в Мэриленде, был Билл Филлипс, тогда он заведовал лабораторией Национального института стандартов и технологии, а позже стал лауреатом Нобелевской премии по физике за разработку в 1997 году лазерного охлаждения атомов совместно со Стивеном Чу и Клодом Коэн-Танпоуджи.

1989-й — год, насыщенный глобальными политическими событиями (вывод советских войск из Афганистана, падение берлинской стены и др.). В то время такие научные визиты были в «новинку» не только для нас, но и для американских ученых. Поэтому уровень встречи был очень высоким. Все сотрудники лаборатории Б. Филлипса хотели познакомиться, переговорить со мой. Это были очень впечатляющие и продуктивные встречи.

В Оригоне, в лаборатории профессора Майка Раймера, проявили большой интерес к моим работам по вынужденному комбинационному рассеиванию по сжатым состояниям. Кстати, первые работы в этом направлении были сделаны моими научными руководителями — Павлом Андреевичем Апанасевичем и Борисом Ивановичем Степановым. Мои работы продолжили начатое ими.

Месяц спустя, по программе визита, я оказался в самом центре США в г. Болдере, в Университете Колорадо и Совместном институте и лаборатории астрофизики (JILA), в которой работал Джон Холл, ставший в 2005 году лауреатом Нобелевской премии совместно с Роем Глаубером и Теодором Хэншем за их работы в области квантовой теории оптической когерентности и спектроскопии высокого разрешения. Я проработал с Джоном Холлом два месяца в его лаборатории. Джон — открытый человек и очень интересный собеседник. Мы обсуждали с ним широкий круг вопросов — от постановки экспериментов по наблюдению гравитационных волн с помощью высокостабилизированных лазерных источников резонансной флюоресценции на одиночных атомах, методологии науки и политики до музыкальных интересов. Между прочим, Джон очень хорошо играет на фортепиано, и один из любимых его композиторов — П. И. Чайковский. Впоследствии мы неоднократно встречались на многочисленных конференциях в разных странах, и всегда это были очень приятные и полезные встречи.

Рой Глаубер — «отец» квантовой оптики в ее современном виде, ученый, который обосновал и ввел в широкое использование когерентные состояния света, состояния, которые генерируют высокостабильные лазерные источники. Первый раз я встретился с ним в 1997 году во время Четвертой международной школы по квантовой оптике, проводимой в г. Яазовец в Польше. Уже тогда мы начали обсуждать проблемы получения так называемых обобщенных когерентных состояний. Несколько лет спустя мы встретились с Р. Глаубером в его «родном» университете — Гарвардском, где я проводил исследования по азот-вакансия (NV) центрам в алмазе совместно с Михаилом Лукиным.

Этот визит в США открыл мне, сколь богата интернациональная наука своими учеными и насколько важно быть в курсе происходящего в научном мире. Я посетил в Рочестере лабораторию Джо Эберли, в Мичигане — профессора Пола Бермана, сделал там доклады, в Нью-Йорке выступил с докладами и лекциями в университете.

Возникшие контакты оказались полезными. Спустя некоторое время нам удалось сделать совместные проекты по спектроскопии одиночных молекул. Это было абсолютно новым! Раньше была спектроскопия образцов, в пробирках или в виде кусков вещества, а здесь — спектры одиночных молекул! Этот проект поддерживался Национальным научным фондом США.

Международное сотрудничество — необходимый фактор для соотношения теории и практики. Выход в практику теперь не может ориентироваться на потребности какого-то региона. Выход в практику теперь означает выход на мировой уровень. Если вы не производите продукт на потребность всего мира — он не нужен.

Продвижение вперед обеспечивается совместными интересами. Кроме американцев мы интенсивно работали с коллегами в Европе, в частности, с профессором Фон Борцисковски, который сначала занимался исследованиями в Берлине, а потом в Кемнитцком университете. Мы с ним работали по спектроскопии одиночных молекул. Он и его коллега из Франции провели эксперимент с алмазом и обнаружили, что объектом наблюдения одиночных молекул могут быть центры в алмазе, а не только в жидкостях. После этого мы вплотную занялись алмазом, исследовали и показали, что он уникален по своим характеристикам и может быть использован для квантовых компьютеров.

Так что все в мире взаимосвязано, и новые эффекты, новые знания не появляются на пустом месте, все имеет свою историю.

Личные контакты имеют неоценимое влияние на собственные научные исследования и на понимание того, что наука — живой процесс, центральным местом которого является личность ученого.

Итак, «нет ничего лучше для практики, чем хорошая теория». Но это должно осознаваться не только самими учеными, но и финансирующими органами.

Научный руководитель

— Говоря об академике НАНБ Павле Андреевиче Апанасевиче, подчеркну, что он не только большой ученый, но и талантливый дальновидный организатор.

В мае 1994 года была организована лаборатория квантовой оптики, руководителем которой назначили меня. Она образовалась из лаборатории нелинейной спектроскопии, которую возглавлял П. А. Апанасевич. Будучи в то время директором Института физики АНБ, он решил из одной сделать три: кроме названной еще и лабораторию нелинейной оптики, которую возглавил Валентин Антонович Орлович, ныне академик НАН Беларуси, директор Фонда фундаментальных исследований. Лабораторию волновых процессов возглавил Анатолий Александрович Афанасьев, ныне — председатель ВАК Беларуси.

Павел Андреевич надеялся, что его примеру последуют другие почтенные заведующие лабораториями. Этого не случилось.

Это — пример уникального организаторского таланта: правильно принятое решение открывало дорогу инициативе молодых, они получили возможность развивать свои идеи. И это принесло успехи.

И в общественной работе Павел Андреевич поступил так же. Он возглавлял Белорусское физическое общество и на пост председателя избирался два срока. Когда полномочия истекли, он рекомендовал на этот почетный и ответственный пост меня, и съезд белорусских физиков его поддержал. Так что и в этом я следую по пути моего научного руководителя: занимаюсь общественной работой, будучи председателем Белорусского физического общества.

Павлу Андреевичу — 80, но интерес его к новому в науке неиссякаем. Мы с ним многое обсуждаем, он полностью владеет информацией.

Авторитеты

— Повторю, что говорил вам и четверть века назад: мне повезло делать свои первые научные шаги под началом Б. И. Степанова и П. А. Апанасевича.

Сейчас и у меня в лаборатории работает несколько молодых людей. Один из них, когда я читал лекции летом в лагере «Зубренок», с горящими глазами задавал мне вопросы. Не все вопросы были достаточно простые. Я отвечал как мог. В настоящее время он защитил докторскую диссертацию, занимается фотонными кристаллами, очень важными, в том числе и для создания нанотехнологических устройств, квантовых компьютеров. Имя его Дмитрий Сергеевич Могилевцев. Следуя традиции Бориса Ивановича Степанова, я тоже пригласил Дмитрия заниматься наукой со второго курса. Принцип Степанова — работать со студентами, начиная со второго курса, — я пытаюсь сохранять. Не всегда результат получается стопроцентный. Но к себе в лабораторию не беру на работу, если молодой человек, будучи студентом, не поработал несколько лет в лаборатории. За годы, между вторым курсом и выпуском, проведенные студентом в лаборатории, удается понять, что это за человек и что он может, и передать ему какие-то знания.

Сыновья

— Дмитрий пошел по моим стопам, учился в БГУ на кафедре теоретической физики, тоже работал летом со школьниками в лагере. По окончании работал в университете. В настоящее время стажируется в США, защитил диссертацию, занимается физикой объектов, которые можно применять в солнечных элементах, рассчитывает их свойства, используя при этом большие ЭВМ, кластеры, которые там имеются.

Федор — в свое время как победитель республиканской олимпиады по математике без экзаменов поступил в БГУ на специальность «математическая кибернетика». Закончил с отличием, работал в Институте математики НАНБ, сейчас стажируется в Германии и готовит там к защите диссертацию.

Третий сын, Иван, студент Белорусского государственного экономического университета, увлечен более гуманитарными вещами, его пристрастие — рекламные технологии. Он, как и его старшие братья, был абсолютно свободен в выборе своего пути. Как когда-то и мне мои родители предоставили свободу выбора.

Об общественной работе

— Недаром говорится о счастье человеческого общения. Общественная деятельность дает такую возможность. Работа в Белорусском физическом обществе позволяет общаться со многими интересными людьми: физиками, преподавателями школ и университетов, с молодежью. Большое внимание уделяем работе со школьниками, организуем школы юных. Все, что сложилось раньше, сохраняем, поскольку понятие «школы» остается. И в этом, мне кажется, большое наше преимущество

перед зарубежным стилем преподавания. Наши школьники и студенты хорошо выглядят на олимпиадах, поскольку индивидуальный стиль обучения и вовлечения в науку — самое эффективное средство воспитания ученого. По книжкам и просто по лекциям сложновато молодому человеку понять, что ему надо делать. Индивидуальная работа наставника должна превалировать в подготовке смены.

Режим работы, спорт

— Режим работы по-прежнему плотный, как и раньше, — двенадцать часов в сутки. Ухожу в 8 утра, раньше девяти вечера домой не возвращаюсь.

Сохраниться в хорошей физической форме помогают, естественно, физкультура и спорт. С утра обязательно делаю гимнастику и окатываю себя с головы до ног двумя ведрами холодной воды. Если удается, раза два в неделю хожу в бассейн плавать. Опять же, если удается, один день или полдня в воскресенье — физическая нагрузка на даче на свежем воздухе. Байдарка — в прошлом, теперь — только в мечтах. Оторваться от электронной почты трудно: если не ответил за день на те письма, что тебе пришли, то на следующий день — двойная порция. Для поддержания общения с зарубежными коллегами необходима система.

Знаний накоплено много, и невозможно двигаться дальше без усвоения этих знаний. Каков выход? Есть два способа. Один — это коллективный разум, что и пытается осуществить человечество с помощью Интернета; статьи совершенно новые — открыты всем. Другой способ проблематичен. В сущности, возможности первого человека и современного — одинаковы, чисто физически у них одно и то же количество нейронов. Мозг какой был, такой и остается. А будет ли какое-то изменение развития — вопрос этический. По крайней мере, пока человек не знает, как эта система работает.

Гармония жизни

— В моем представлении гармония жизни — это все в комплексе: общение с людьми, семья, дети, работа. Ощущаю ли я эту гармонию? Когда еду по городу и вижу с одной стороны строения — плод человеческого разума и труда, а с другой — громадные зеленые шапки деревьев, невольно думаю: вот к чему надо стремиться человечеству, чтобы его творения были так же совершенны, как деревья с их полнейшей гармонией.

Гармония для меня — в тех же формулах, в тех вещах, которые открываются в результате исследования, в музыке, которая с юности — одно из самых больших наслаждений. Мы с женой часто ходим на концерты в филармонию. Даже свой день рождения иногда устраиваю необычно: приглашаю друзей на концерт в филармонию. Я благодарен своим родителям, что они не стали настаивать, когда в детстве после двух лет занятий музыкой решил оставить их. В результате на всю жизнь сохранил интерес к музыке.

Подготовил Александр Зиновьев.



ПЕТР РАДЕЧКО

«Рыфмочка» из Минска

Еще с далеких солдатских лет, в пору моего обильного и бессистемного чтения всевозможных книг врезался в память рассказ Владимира Даля «Говор». Да, того самого врача Владимира Ивановича Даля, который неотлучно находился у постели смертельно раненного своего друга Александра Пушкина, и написал потом о нем сердечные воспоминания. Того, кто создал знаменитый и непревзойденный «Толковый словарь живого великорусского языка», являлся автором многих повестей, рассказов, очерков и сказок.

В рассказе «Говор» речь идет о том, как в тверской деревне к Владимиру Далю подошли двое странников в монашеских рясах и младший из них попросил подаяния, представившись вологжанином. Но его речь насторожила Владимира Ивановича.

— Вы давно в том краю? — спросил он.

— Давно, я все там, — ответил тот.

— Да откуда же вы родом? — спросил Даль.

— Я тамодий. (Имелось в виду тамошний.)

Даль заулыбался и спросил:

— А не ярославские вы, батюшка?

Тот побагровел, потом побледнел, забывшись, взглянул на товарища и ответил растерянно:

— Не, родимый.

— О, да еще ростовский! — сказал Даль, захохотав, узнав в этом «не, родимый» необложного ростовца (имелся в виду Ростов Великий Ярославской губернии).

Не успел он произнести эти слова, как «вологжанин» бухнулся ему в ноги:

— Не погуби!..

Как оказалось, этот мнимый вологжанин у себя на родине, в Ростове, присвоил общественные деньги и ударился в бега. В раскольничьих скитах нашел себе товарища, с которым бродяжничал в монашеской рясе, прося подаяние.

В этом же рассказе Владимир Даль назвал некоторые другие особенности разговора жителей нескольких губерний России. «Разве лихо возьмет литвина, чтоб он не дзекнул?» — написал он о белорусах, которых до 1840 года называли литвинами. Добавлю от себя: чтоб он еще и не рэкнул.

Вскоре после прочтения этого рассказа мне представился случай воспользоваться методом Владимира Даля, этого несравненного знатока российских говоров.

В нашу воинскую часть прибыло молодое пополнение. А поскольку ротный запевала уволился в запас, старшина тут же подобрал ему замену из новобранцев. И вот после завтрака на пути к казарме по команде старшины тот довольно приятным голосом запел нашу традиционную песню о боевом пути прославленной дивизии. Но в конце песни мой слух буквально поразило неправильно произнесенное запевалой одно слово:

Прошла, прошла дивизия вперОд
В пламени и славе…

После команды старшины «Разойдись!» на плацу возле казармы я нашел новоиспеченного запевалу Мелешко и спросил его:

— Ты, случайно, не белорус?

— Да! — обрадовано произнес он. — А откуда Вы узнали?

Я рассмеялся и дружески сказал ему:

— Оттуда же, из Белоруссии, где *каровы рабыя, а трапкі гразныя.*

Он удивился еще больше, а потом тоже рассмеялся. Мы подружились. Ведь для нас в Германии уроженец соседней области считался не только земляком, а едва ли не родственником.

Но это, как говорится, присказка.

Результат здесь не заставил себя долго ждать. А вот со словом «Рыфмочка» дело обстояло куда как сложнее.

Много-много лет назад я, с юности увлеченный поэзией Сергея Есенина, едва ли не с душевным трепетом начинал читать строки его бывшего друга Анатолия Мариенгофа: «Есенин вывез из Харькова нежное чувство к восемнадцатилетней девушке с библейскими глазами. Девушка любила поэзию. На выпряженной таратайке, стоящей среди маленького круглого двора, просиживали они от раннего вечера до зари. Девушка глядела на луну, а Есенин в ее библейские глаза. Толковали о преимуществах неполной рифмы перед точной, о неприличии пользоваться глагольной, о барабанности составной и приятности усеченной. Есенину невозможно нравилось, что девушка с библейскими глазами вместо «рифмы» — произносила «рыфма». Он стал даже ласково называть ее:

— Рыфмочка.

— Так она же моя землячка! — невольно вырвалось у меня. — Она родилась в Белоруссии. Но дальнейшие строки тут же остудили мой восторг: «Горланя на всю улицу, Есенин требовал от меня подтверждения перед Почем-Солью сходства Рыфмочки с возлюбленной царя Соломона, прекрасной и неповторимой Суламифью.

Я, зля его, говорил, что Рыфмочка прекрасна, как всякая еврейская девушка, только что окончившая в Виннице гимназию и собирающаяся на зубоврачебные курсы в Харьков».

— Нет, Винница к Белоруссии никакого отношения не имеет, — успокаивал я себя.

К тому же и начало повествования о приезде Есенина и Мариенгофа в Харьков в «Романе без вранья» никоим образом не подтверждало мою догадку. Еще на пути к другу Есенина Льву Повицкому они повстречались с ним на улице. А поскольку тот не имел своего жилья, а гостил у старых друзей, отправили его к ним попросить разрешения на визит. И вот что дальше написал Мариенгоф: «Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц. Повицкий был доволен.

— Что я говорил?»

Оставим без внимания то, что автор считает девиц на штуки, а также подробности их забот о гостях в этот вечер, и процитируем то, что было назавтра:

«Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не повернувшись) — в первом часу дня. Все шесть девиц ходили на цыпочках…»

Из прочитанного можно было сделать вывод, что все эти девицы, в том числе и Женя-Рыфмочка — сестры, живущие с родителями в своем просторном доме. Только возникал вопрос: «Зачем Жене надо было ездить в Винницу или в Белоруссию, чтобы заканчивать там гимназию?»

Так впервые я почувствовал недоверие к написанному Мариенгофом. Оставалось только радоваться встрече и взаимным чувствам поэта и девушки с библейскими глазами, так неожиданно вспыхнувшим у них той памятной весной 1920 года. К большому сожалению, мы не знаем содержания письма Сергею, которое Женя первой написала ему в Москву. И вот как 8 июня откликнулся на него поэт:



Евгения Лившиц.
Фото начала 20-х годов.

«Милая, милая Женя! Сердечно Вам благодарен за письмо, которое меня очень тронуло. Мне казалось, что этот маленький харьковский эпизод уже вылетел из Вашей головы.

В Москве сейчас крайне чувствую себя одиноко. Мариенгоф по приезде моем из Рязани уехал в Пензу и пока не возвращался. Приглашают меня ехать в Ташкент, чтоб отдохнуть хоть немного, да не знаю, как выберусь, ведь я куда только не собирался и с Вами даже уславливался встретиться в Крыму… Дело в том, как я управлюсь с моим издательством. Я думал, уже все кончил с ним, но вдруг пришлось печатать спешно еще пять книг, на это нужно время, и вот я осужден бродить пока здесь по московским нудным бульварам из типографии в типографию и опять в типографию.

Ну как Вы живете? Что делаете? Сидите ли с Фридой на тарантасе и с кем? Фриде мой нижайший, нижайший поклон. Мы часто всех вас вспоминаем с Сахаровым, когда бродим ночами по нашим пустынным переулкам. Он даже собирается писать Лизе.

Конечно, всего, что хотелось бы сказать Вам, не скажешь в письме, милая Женя! Все-таки лучше, когда видишь человека, лучше говорить с ним устами, глазами и вообще всем существом, чем выводить эти ограничивающие буквы.

Желаю Вам всего-всего хорошего. Вырасти большой, выйти замуж и всего-всего, чего Вы хотите.

С. Есенин».

Писем от девушек, да и от кого бы то ни было, Есенин не хранил, так как даже его рукописи и книги из-за отсутствия собственного жилья всегда находились у друзей и знакомых. Но, обладая феноменальной памятью, позволяющей ему читать наизусть все свои стихи и поэмы, а при случае и прозу Гоголя или «Слово о полку Игореве», он, безусловно, помнил и нежные послания понравившейся ему «Рыфмочки». Уезжая из Харькова, поэт подарил подругам Фриде и Жене выпущенную здесь книгу «Харчевня зорь», в которой были напечатаны его стихи, а также Анатолия Мариенгофа и живущего здесь Велимира Хлебникова с надписью, относящейся к Жене: «Я тебя, милый друг, помнить буду. Есенин».

Вскоре, находясь в Ростове-на-Дону, он сфотографировался вместе с Мариенгофом и отправил снимок в Харьков с надписью: «Привет из Ростова Фриде, Жене и Фанни. С. Есенин». (Фанни Абрамовна Шерешевская — подруга этих девушек, как недавно мне стало известно, приехала в Харьков из местечка Шерешево нынешней Брестской области.) А затем по пути из Ростова в Минеральные Воды поэт пишет письмо: «Милая, милая Женя! Ради Бога не подумайте, что мне что-нибудь от Вас нужно, я сам не знаю, почему это я стал вдруг Вам учащенно напоминать о себе, конечно, разные бывают болезни, но все они проходят. Думаю, что пройдет и это…»

Изливая душу Жене, поэт рассчитывает на понимание и поддержку, потому смело высказывает крамольные мысли о «нарочитом социализме», о «тяжелой эпохе умерщвления личности как живого», о грустных раздумьях, навеянных ему бегом тонконогого жеребенка рядом с поездом. Ведь он знал, что Женя не харьковчанка, что она лишь недавно приехала сюда из голодающего Петрограда в более благополучную столицу Украины, чтобы переждать

здесь тяжелые времена. Да и сам он по этой же причине приезжал сюда на три недели вместе с Сахаровым и Мариенгофом, а теперь вот отправился из «ставшей скучной Москвы» аж в Баку. По этой же причине не возвращался в столицу из Пензы Мариенгоф, а ему о своем поспешном отъезде из родной деревни было «говорить в письме неудобно», потому что их соседи умерли с голоду, а дед постоянно ругал большевистскую власть. Да и случайно ли в хлебосольном Харькове Есенин с друзьми издает книгу с недвусмысленным словом «харчевня» в названии?

Буйные противоречивые чувства любви и тоски, неустроенности и безысходности поэта выливаются в исключительно пронзительные строки поэмы «Сорокоуст», которую Валерий Брюсов назвал лучшей из всего написанного за последние годы.

Есенин знал нелегкую судьбу Жени и потому доверял ей. Но мы этой судьбы не знали…

Прошло некоторое время, и я с удовлетворением читал в книге Владимира Белоусова «Сергей Есенин. Литературная хроника» (М. 1969) рассказ самой Евгении Лившиц о своем знакомстве с поэтом: «В 1920 году я жила в Харькове. Моя подруга, Фрида Ефимовна Лейбман, жила на Рыбной улице. Мы вместе работали в статистическом отделе Наркомторга Украины. В доме, где жила Лейбман, гостил в соседней квартире Лев Осипович Повицкий.

Весной 1920 года в Харьков приехали Есенин и Мариенгоф. Как-то меня встретила Фрида и сказала, что у Повицкого остановился Есенин. Позднее мы узнали, что они были знакомы уже с 1918 года. Фриде и мне захотелось повидать поэта (тогда ей было 24, а мне 19 лет), и мы решили пойти к Повицкому, с которым уже были хорошо знакомы раньше. На другой день Есенина мы увидели. Был он в тужурке из оленьего меха. Читал он нам стихи. Пробыл в Харькове две-три недели. Встречались мы часто».

Кратенькое, но емкое сообщение. Во-первых, оно начисто исключало созданное Мариенгофом впечатление, будто среди «выпорхнувших» навстречу поэтам и «ходивших на цыпочках» назавтра девиц была Женя Лившиц. Во-вторых, Жене было не восемнадцать, а девятнадцать лет. Но главное — я убеждался в том, что Женя не являлась коренной харьковчанкой, что произносить слово «рифма» с белорусским акцентом научилась в другом месте. Но — где? Ведь она пишет, что в Харькове жила только лишь в 1920 году, а не до 1920-го или после, и не в доме родителей на Рыбной, куда пожаловали поэты, а скорее всего, даже на другой улице. Кроме того, обнаруживалась неточность примечаний А. Козловского и Е. Динерштейна, которые в собраниях сочинений С. А. Есенина в пяти томах, изданных в 1962 и 1968 годах, безосновательно назвали ее студенткой Харьковского университета и приобщили к числу «выпорхнувших девиц» младшую сестру Маргариту.

Но вот появляется «Собрание сочинений С. А. Есенина в шести томах» (1977—1980 гг.), и в нем комментатор В. А. Вдовин, ничтоже сумняшеся, сообщает о том, что в марте — апреле 1920 года в г. Харькове Есенин жил вместе с Повицким в доме родителей Евгении Лившиц. Складывалось впечатление, что ученые-есениноведы или не читают написанного другими, или вслед за Мариенгофом соревнуются в запутывании сведений о девушке с библейскими глазами. Ведь каждый логически думающий человек наглядно видел многие нестыковки и странности в опубликованных письмах и дарственных надписях поэта. Например, почему в письмах и на высланной Жене фотографии Есенин передает приветы ее подругам Фриде и Фанни, но не упоминает ее младшую сестру Маргариту, а в письмах к Мариенгофу из заграничного турне передает приветы Жене, снова забывая о Маргарите. Не говоря уже о младшей их сестре Еве? В конце концов, почему ученые абсолютно не принимают во внимание тот красноречивый факт, что Есенин, высылая письмо Жене, пишет на конверте: «Харьков, Рыбная, 15, кв. Лурье для Евгении Лившиц»? Ведь одно это говорит о том, что Женя если и про-

живала по указанному адресу, то на положении родственницы или квартирантки, а не члена семьи Лурье. Фамилия ведь другая!..

Но Женя черным по белому собственной рукой написала в своих воспоминаниях, что на улице Рыбной жили ее подруга Фрида Лейбман и Лев Повицкий. (Кстати, позже они поженились.) И это ее сообщение было опубликовано Владимиром Белоусовым за одиннадцать лет до выхода шеститомника! Но такой факт не смутил Виталия Александровича. Он, преподаватель МГУ, просто имел другое, авторитетное мнение. И высказал его. Притом, еще и обвинил Владимира Германовича в непрофессионализме, отсутствии «элементарных навыков исследовательской работы». Знай, мол, сверчок, свой шесток! Да, Владимир Германович был инженером. Но этот «технарь» в свободное от основной работы время глубоко исследовал и написал о жизни и творчестве Сергея Есенина больше, чем многие и многие из тех ученых, для которых это занятие являлось основным в жизни и за что они получали неплохую зарплату.

В середине 90-х годов, когда я стал постоянно приезжать в Москву, Рязань и Константиново на Есенинские конференции, высказал свое предположение о том, что Женя Лившиц родилась и выросла в Белоруссии, некоторым ученым. Но они восприняли это без энтузиазма, ссылаясь опять-таки на Харьков. Не подозревая о том, что в этом городе Женя прожила всего лишь полгода — с весны по осень 1920 года! Правда, сотрудница ИМЛИ им. А. М. Горького РАН М. И. Малова подсказала мне, что в Могилеве родилась другая знакомая поэта — Надежда Вольпин. Надежда Давыдовна еще была жива, и я успел взять у нее интервью. Написал о ней небольшой очерк «Нашу землячку любил Есенин», который через некоторое время был опубликован в газете, а затем в журнале. Позже, благодаря поискам в Национальном историческом архиве Беларуси, я установил ее родословную, включая деда — купца 2-й гильдии в городе Орша.

К сожалению, магия трех собраний сочинений поэта стала довлеть над есениноведами более молодого поколения, которое не сочло необходимым перепроверять, казалось бы, апробированные сведения. Несомненно, сыграл свою отрицательную роль и вал мариенгофского «вранья», издаваемого едва ли не ежегодно огромными тиражами, а также воспоминания Надежды Вольпин «Свидание с другом» (1984 г.), которая, увидев в Евгении Лившиц достойную соперницу, не смогла узнать в ней свою землячку и с присущим ей высокомерием столичной поэтессы окрестила Женю харьковчанкой. В результате искаженные сведения о том, что Женя и Рита — харьковские знакомые Есенина, в доме которых жил поэт, в разных вариациях появились в таких серьезных изданиях, как «С. А. Есенин. Материалы к биографии» (М. 1992), «Сергей Есенин в стихах и жизни» (М. 1995), «С добротой и щедротами духа» Н. Г. Юсова (Челябинск, 1996), «Сергей Есенин. Полное собрание сочинений в семи томах {девяти книгах}» (М., 6-й том, 1999) и даже в одном более позднем.

Впрочем, Надежда Вольпин при ревностном отношении к Жене оставила весьма любопытные характеристики своей непризнанной землячки. По ее утверждению, Евгения Лившиц появилась в Москве уже осенью 1920 года. Надя заприметила ее на одном из поэтических вечеров, где Есенин читал поэмы «Сорокоуст» и «Исповедь хулигана». Очевидно, это было 23 ноября на вечере «О современной поэзии», организованном Всероссийским Союзом поэтов. И вот как охарактеризовала ей соперницу всезнающая подруга Сусанна Мар: «Это совсем молоденькая девушка. Из Харькова. Отчаянно влюблена в Есенина и, заметь, очень ему нравится. Но не сдается <…> Словом, Женя Лившиц».

Надежда Вольпин стала внимательно присматриваться к сопернице до такой степени, что та ей даже снилась. И вот что написала впоследствии: «Вблизи харьковчанка оказалась стройной худощавой девушкой со строгим и очень изящно выточенным лицом восточного, пожалуй, склада. Глаза томные и грустные. Сжатые губы. Стихи слушает жадно — во все глаза!»

И еще: «Впредь я буду встречать ее довольно часто, то на вечерах в Поли-

техническом и Доме печати, то в книжной лавке имажинистов (у консерватории). Живо запомнилась такая картина: они стоят друг против друга, разделенные прилавком, Женя спиною к окну витрины, Есенин — на полном свету. Взгляд Есенина затоплен в черную глубину влюбленных и робких девичьих глаз, рука поглаживает аккуратно выложенные на прилавок кисти покорных рук… Что читает девушка в завораживающих глазах поэта? Ответную влюбленность? Нет, скорее пригласительную нежность. Ее девическая гордость требует более высокой цены, которой не получает».

Вполне очевидно, что, очарованная Есениным, Женя осенью того же, 1920 года, покидает хлебосольный Харьков, прожив в нем всего лишь полгода, однако не возвращается в Петроград, где живут мать с отчимом и сестра, а останавливается в Москве. Чтобы здесь постоянно видеть и слышать поэта, попытаться полностью завладеть его расположением. Но, увы!.. Здесь у нее оказалось немало более бойких и заметных конкуренток, включая и такую эффектную, как Айседора Дункан. Вскоре в их число вошла и младшая сестра Маргарита.

Скромная, спокойная, ненавязчивая Женя обходится редкими знаками внимания со стороны поэта и продолжает любить его незабвенно, преданно и нежно. После его возвращения из-за границы и разрыва с Дункан она напоминает о себе поздравлением поэта с днем рождения:

«Сергей Александрович, дорогой!

Сегодня я тоже помню Вас и, наверно, буду помнить еще много дней впереди. Я верю в Вас, верю, что и у Вас будет еще много радости, простой человеческой радости.

Низкий, низкий поклон и поцелуй, Женя».

Вторая записка написана ею 8 декабря 1923 года, то есть вскоре после так называемого «Дела четырех поэтов», когда Есенин был обвинен в проявлении антисемитизма и потому особенно нуждался в дружеской поддержке:

«Сергей Александрович! Я шлю Вам низкий поклон. Хочется знать, как Вы живете. Если можете, позвоните завтра. Женя».

Отсутствие собственного жилья, интриги недругов и завистников, всевозможные провокации являлись причиной нередких и продолжительных поездок Есенина по стране. 14 апреля 1924 года он провел вечер поэзии в зале Лассаля в Ленинграде, чтобы собрать средства на издание книги «Москва кабацкая». Благодарная публика долго-долго не отпускала его со сцены. И он назавтра пишет Галине Бениславской, что «решил остаться жить в Питере». Зовет и ее, а также просит, чтобы она привезла ему ставший знаменитым большой американский чемодан или послала с ним Ивана Приблудного или Риту. В это время как раз в Питер уезжал жених младшей из сестер Лившиц — Евы, студент Государственного института искусств Марк Гецов. (Как мне недавно удалось выяснить, Марк Азриэлевич родился в Минске и, вероятно, давно знал сестер Лившиц.) Старшие из них уговорили земляка и будущего родственника доставить по назначению такую необычную поклажу и попросили самолично встретиться с поэтом, узнать о его самочувствии, окружении, образе жизни.

Ощущая какую-то недомолвку в их отношениях, Женя пишет Есенину письмо такого содержания:

«Сергей Александрович, милый!

Мне не хочется, чтоб между нами осталось небольшое чувство досады. Я шлю Вам большой и теплый привет.

Дорогой, берегите себя! Я целую Вас. Женя.

P. S. Когда выйдет книжка, постарайтесь поскорее прислать нам.

Я ведь почти не знаю «Москвы кабацкой» и жду ее с нетерпением.

Москва. 29/ IV— 24 г.».

Марк Гецов встретился с поэтом и в тот же день, второго мая, написал письмо Жене и Рите с подробным изложением этого события, а также о том, какое впечатление произвел на него этот «чудесный, простой, сердечный человек. Мне

стало ужасно хорошо <…> Может, я попал в один из тех счастливых моментов, когда Сергей Александрович бывает исключительно хорошим, ну и отлично — я очень рад. Теперь я Есенина люблю вдвойне…»

Больше Есенину девушка с библейскими глазами не писала. Как и он ей. Но в письмах Рите, Галине Бениславской и некоторым другим он неизменно передавал приветы и низкие поклоны Жене. Чувствуя свою в некотором роде ответственность за судьбу безмерно влюбленной в него девушки, через Риту он советует ей выйти замуж. Но она остается верной ему. Смерть Есенина она восприняла как личную трагедию. Замуж Евгения Лившиц вышла только в 1930 году, когда ей исполнилось 29 лет. В память о поэте своего второго сына она назвала Сергеем. Во время войны умер муж Евгении, инженер-строитель А. И. Гордон. Она работала в Центральном институте усовершенствования врачей, а после защиты кандидатской диссертации — в Тропическом институте Академии наук СССР. Умерла Евгения Исааковна от инфаркта в 1961 году и была похоронена на Востряковском кладбище. Ее внуки нынче живут в Англии.

Незадолго до смерти Евгения передала свой архив сестре Маргарите. Публикуя часть его в 1995 году, накануне 100-летия со дня рождения С. А. Есенина, научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук Н. Г. Юсов, твердо уверовавший из собраний сочинений поэта в то, что Маргарита, как и Женя, познакомилась с Есениным в Харькове в 1920 году, повторил ту же ошибку в юбилейном сборнике научных трудов. Хотя мог бы устранить эту многолетнюю неточность с помощью дочери Маргариты — Инны Максимовны Бернштейн, которую поблагодарил за предоставленные материалы.

Но имя хранительницы архива сестер Лившиц было произнесено. Харьковские поклонники творчества поэта нескоро, но все же вышли на след Инны Максимовны, хотя при наличии некоторых дополнительных сведений сделать это было просто. Ведь она, будучи переводчицей, являлась членом Союза писателей СССР, а каждая солидная библиотека располагает справочником с адресами писателей. Однако, узнав с помощью И. М. Бернштейн о том, что сестры Лившиц родились в Минске, харьковчане затеяли спор о целесообразности обнародования этих сведений за пределами своего города. Как это было и в случае со Львом Осиповичем Повицким, надежным и заботливым другом Есенина. Нигде никогда не было сказано ни слова о месте его рождения. А поскольку учился он в Харьковском университете, а в 1920 году к нему в Харьков пожаловал Есенин с друзьями, складывалось впечатление, что он извечный харьковчанин. И это тешило сердца местных есениноведов. Экий дешевенький местечковый патриотизм!!!

Несколько лет назад в Москве я встретился с сыном Л. О. Повицкого, который выпустил книгу своего отца «О Сергее Есенине и не только…». В ней помещена автобиография Льва Осиповича, в которой сообщается, что вырос он в городе Мозыре бывшей Минской губернии и считал его родным. В Харькове он учился на первом курсе юридического факультета до ареста за революционную деятельность, а потом бывал здесь лишь наездами. Родился же он недалеко от Гродно, на территории нынешней Польши, в гмине Понеман-Пожайсца Мариампольского уезда, что потом бывший подпольщик, на всякий случай, старался скрывать. Таким образом, я узнал — Лев Повицкий считал своей малой родиной Беларусь, а не Харьков, на что неизменно пытались намекнуть украинские коллеги.

В разные годы я много-много времени потратил на поиски белорусских следов «Рыфмочки» — Жени Лившиц — в Национальном историческом архиве Беларуси. Дело усложнялось не только обилием обладателей такой фамилии (даже на сегодняшний день по телефонному справочнику в компьютере их насчитывается в республике около двухсот!), но и тем, что многие документы пропали во время войны. Главный из них в данном случае — «Посемейные списки Минской мещанской управы за 1902 год», из которых уцелела лишь только восьмая часть. Были просмотрены и изучены многие сотни всевозможных дел, тысячи

и тысячи больших листов писарской каллиграфической дореформенной вязи, относящейся не только к Минску, но и к другим губернским, уездным городам, местечкам и волостным центрам. В результате появилось немало косвенных подтверждений проживания семьи Исаака Лившица в Минске. Мне удалось проследить родословную уже упоминавшегося жениха Евы Лившиц — Марка Гецова, а также семьи известного фотомастера Моисея Наппельбаума, который вместе с дочерью Идой фотографировал Есенина в Ленинграде в 1924 году, а потом сделал и посмертный его снимок. Фотографировал и сестер Лившиц. Кстати, Рита по приезде в Москву некоторое время работала в его фотоателье. Наверняка они были знакомы еще в Минске.

Здесь же жила семья Самуила Шмурака. Именно у него работала после смерти мужа мать сестер Лившиц. Затем вышла замуж за его сына — Бенциона, с которым и перебралась в Петроград. Оставшись в 1905 году одна с тремя малыми дочерьми, она среднюю, Маргариту, отдала на воспитание более состоятельным родственникам в Варшаву. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, приемные родители Риты перебрались в Москву, где она и закончила гимназию. Потому с белорусским акцентом говорить не могла. И в Харькове она никогда не была.

Среди нескольких Исааков Лившицей, проживавших в Минске во время предыдущей переписи в 1896 году, мне удалось обнаружить только двух, следы которых затерялись к переписи 1914 года. Были они двоюродными братьями и имели одного общего деда Исаака. Для уточнения того, кто из них мог быть дедом сестер Лившиц, нужно было узнать отчество их отца — тоже Исаака. В разгадке я рассчитывал на дочь Маргариты — Инну Максимовну Бернштейн. Но она написала мне в письме от 9. 02. 2007 года, что отчества своего дедушки не знает: «…наши интересы почему-то на старину не распространялись, мои братья и я, по глупости, больше интересовались будущим и только под конец сообразили, что не нашего ума это дело… Так что из названных Вами двух Ициков — Исааков любой мог быть моим дедом».

И, наконец, еще один любопытный аргумент. Среди множества документов 1900—1910 годов я обнаружил такое заявление:

«Покорнейше честь имею просить Минскую мещанскую управу о выдаче мне удостоверения о принадлежности к обществу для предоставления в Минский государственный банк.

г. Минск. Лившиц Хая Гиршевна».

На обратной стороне заявления, заполненного 24 апреля 1900 года, написано, что эта просьба удовлетворена. Учитывая то, что отец сестер Лившиц работал в банке, я направил Инне Максимовне Бернштейн текст этого документа. Ведь ее бабушка была служащей, и вполне возможно, что после вступления в брак с первым мужем перешла на работу к нему в банк. В письме Инна Максимовна сообщила, что в быту соседи и знакомые называли ее бабушку Ольгой Григорьевной, а как ее имя значилось в паспорте, она не знает, но считает, что «вариант Хая Гиршевна подходит. По второму браку муж ее был Бенцион, у нас звался дедушка Беня. Они жили на нашей памяти в Ленинграде и оба умерли во время блокады».

Так закончилась моя многолетняя «одиссея» с поиском следов «Рыфмочки» — Евгении Лившиц — на Беларуси.



ЛЕОНИД ГОЛУБОВИЧ

Жизнь поэта в миниатюре

* * *

Мой мир — это мама, жена, дочь и литература.

Все остальное — это мир не личный, или отчужденный, что-то наподобие окружающей атмосферы, без которой тоже жить невозможно…

* * *

Во всех редакциях мне уже голову задурили: почему перестал писать стихи, правда ли это?..

Забота их, думаю, не очень искренняя, а прежде всего провокационная: мол, куда он денется, не выдержит в конце концов и начнет писать снова, а может, и сейчас втихаря в стол пишет…

Что на это можно сказать? Разве только вот это: в любом человеческом творчестве, как и в интимных взаимоотношениях, не так важно своевременно начать, как важно вовремя закончить, чтобы не только самому от этого получить удовольствие…

* * *

Творчество настолько нивелировалось, что профессионализм и мастерство художника сравнялись с сегодняшней мерой требований к самому уровню искусства, как ни цинично это *звучит* из моих уст…

Судьба самого художника — вот что еще выделяет и олицетворяет талант. Скажем, Л. Гениюш как поэт значительно уступает таланту А. Кулешова, но превосходит его своей судьбоносностью и останется в нашем литературном наследии дольше, потому что — знаковая…

Гениюш, Короткевич, Стрельцов исторически переживут, по моему субъективному мнению, Шамякина, Кулешова, Панченко…

Возможно, кого-то удивит здесь фамилия Стрельцова. Так она потому здесь, что *удивляет*…

* * *

При сегодняшнем раскладе материальных и духовных сил в белорусском обществе нет никакой необходимости в поэте, который пишет стихи, но есть крайняя потребность в **пророке**, который *«огласил»* бы наш национальный приговор…

* * *

Большинство людей из шкуры лезет, чтобы создать себе красивый дом для жизни.

И только незначительная часть людей украшает свою душу для смерти…

* * *

Как бы кто к этому ни отнесся, еще раз отмечу: Алесь Рязанов — наш современный *пророк*. Пускай и в литературно-философском смысле этого слова.

Он велик именно в **открытии**.

Потому что, если он ничего нового не открывает, а длительное время осваивает уже открытое им, то на глазах мельчает: тогда он становится не пророком в выси небесной, а пророком, которого Господь спустил на землю. Но земной пророк — это не совсем то же, что пророк небесный… Потому что первый — высоко, а второй — низко…

Рязанов — первооткрыватель нового. А новое каждый день не открывается. Устают и пророки…

Таким на сегодняшний день он мне и представляется — уставшим (белорусским) пророком. Своеобразным редким для нации мудрецом, которому пора передавать азы своей мудрости ученикам. Однако не слышно поступи будущих апостолов, которые склонились бы к его постолам…

Кто-то улыбнется, кто-то поиронизирует, кто-то позубоскалит…

Что же, это ваше земное прижизненное право, господа-товарищи.

Но не более и не выше того. Потому что выше того — это уже пророческое…

* * *

Пока я был востребован поэзией, я писал стихи… Вплоть до того момента, пока не почувствовал, что поэзия вдруг стала востребована мной…

* * *

Всего себя полностью — и тело, и душу свою — я скормил Поэзии…

Теперь пусть редкие любители восхищаются ее изумительностью и чудовищностью — пусть всматриваются в этот «темно-таинственный лик» моего прошедшего времени…

Мне уже все равно, как остывшей золе, — сгоревший сруб…

* * *

Нам, литераторам, нужно избавляться от скрытой внутри нас мании величия. Особенно тем, у кого появляются материальные стимулы и властно-бюрократические возможности. Когда змей-искуситель неотступно требует беззащитную душу…

Давно подмечено: как только у человека появляются большие деньги, у него тут же вызревают великие идеи…

И чем дальше, тем больше кажется ему, что именно он велик по-настоящему…

Но надумано величие всякое — и свое, и чужое…

И каков же финал подобной мании?

Сталин был превыше всего. А как оказалось после смерти: он низкий, мелкий, рыжий и рябоватый недоученный семинарист…

Гитлер был предводителем немецкой нации. И — что в конце концов?! От его величия остался только холодный пепел…

От человека остается лишь бессмертное. И память о нем равновелика делу его жизни…

* * *

Есть поговорка: и швец, и жнец, и на дуде игрец… Это о дилетанте, который за все берется, но делать как следует мало что умеет…

Думаю, что со временем homo sapiens опровергнет этот тезис, потому что технологическая и культурная эволюция человечества приведут его душу и разум к полному универсуму. Это значит, что при благоприятном для нашей жизни времени (без тяжелых геополитических войн и природных катаклизмов) через каких-то лет сто нормальный образованный человек сможет быть высоким профессионалом во всех возможных «жанрах» и ипостасях…

Своеобразным *производителем творчества* или *творческим производителем*…

Человек, так или иначе, будет приближаться к своему божественному догреховному несовершенству…

* * *

Сидел, наверное, не менее получаса и пытался передать в нескольких словах свое сегодняшнее отношение к жизни и смерти — однако не смог…

И действительно, в последнее время я уже утратил прочные и понятные отношения с жизнью, а со смертью, видимо, пока еще их не наладил…

* * *

Как ни странно, но рецензий на книги поэтов, которых я не преодолевал собственным творчеством, не писал…

Рязанов, Минкин, Сыс, Адамович, Купреев…

Не смог возвыситься над высоким…

* * *

Подавляющее большинство белорусских литераторов живут по принципу чеховского Беликова — «как бы чего не вышло»…

Живут в литературе «тихой сапой», упаси Боже что-то критическое сказать о творчестве своих коллег. Таким образом надеясь, что и те о них ничего подобного в печати не выскажут (потому что по закуткам друг друга обговаривают и ругают на чем свет стоит)…

Как в народе говорят, «блюдут ранжир»: этот — народный, этот — орденоносец, этот — лауреат, этот — классик, а этот — талантливый, тот — самобытный, а вот тот — способный, остальные — писатели, поэты и просто — члены СБП…

Недавно попробовал провести опрос, что кому запомнилось из прочитанного в 2000 году…

Отказываются отвечать. А критик Б. озвучил мне напрямую это их «нежелание»: *«Не хочу никого обижать и наживать себе врагов, потому что, честно говоря, ничего талантливого в 2000 году в белорусской литературе не появилось, но в печати об этом говорить не хочу и не буду…»*

Своеобразный национальный *мораторий на обесславливание*…

* * *

«Нет ничего нового под солнцем».

Действительно. И люди все те же. Только одни умирают, а другие рождаются — как бы меняются местами, друг друга продолжая…

Читаешь Гомера, Данте, Шекспира или Достоевского, или своего современника — и немеешь, ибо современник твой ничем не возвышается и не выделяется на «пергаменте вечности» среди своих предков, а лишь дополняет их человеческий образ…

* * *

Вышел 66-й номер журнала «Крыніца» (№6 за 2001г.).

Три шестерки на титульном листе — и «фигура» Толи Сыса... Вот как выпало!

Пришел в редакцию (они с нашим главным в соседних квартирах живут). После длительного запоя — мороженое в руках, а они ходуном ходят: мучение — ко рту поднести...

Худой, небритый, неухоженный...

Обрадованный публикацией, хотя там разное было, — иной руки не подал бы, а он счастлив, что вспомнили, доволен, что Глобус денег дал за квартиру заплатить...

Но уже заметно, что человек угасает и ПОЭТ в этих углях бьется, как измученная птица над бездной...

Недаром к нему бывший человек из органов повадился. Часто они вдвоем за бутылкой свое тяжелое время растрачивают...

А сегодня вечером я перечитывал его стихи из той самой подборки к «фигуре». Господи, какая дикая языческая сила! Будто грешник перед своей последней исповедью, не перед людьми, а уже — Там...

Поэт. Хорошо, что я перестал писать свои реалистические рифмовки... Всему свое время.

* * *

Большинство творческих людей хотят быть великими...

А я хочу быть нормальным. Может, потому, что — маленький, а маленькому и до нормального возвышаться нужно...

* * *

Почти не читаю прозу... Не только потому, что ухудшается зрение, а даже не знаю почему...

Как ни странно, у поэзии больше шансов выжить в XXI веке, чем у художественной прозы... Такое у меня ощущение (предчувствие)... Однако стихосложение будет очень близко к художественной прозе...

Сублимация?

Вообще, я думаю, литература станет *единым* художественным текстом, который сможет удовлетворить духовные потребности каждого отдельного читателя...

* * *

По нынешним временам произведение автора менее значимо в глазах потенциального читателя, чем личность автора.

* * *

В половине третьего в «ЛіМ» зашел ошарашенный Микола Шабович и сказал, что Язеп Янушкевич сообщил ему о смерти Янки Брыля… «Неужели и он умер?» — первый жуткий вопрос. Бросились уточнять… Да, позвонил Наташе Семашкевич (дочери Ивана Антоновича) доктор из лечкомиссии: сердце устало поддерживать такую большую и долгую жизнь… Помочь ему уже ничем было нельзя.

Смерть Брыля была воспринята всеми как естественная смерть земного человека, как утрата еще одной белорусской души, в отличие от смерти Быкова, траур по которому превратился в акцию сопротивления…

Брылю никто не мешал спокойно уйти из этого грешного мира ЧЕЛОВЕКОМ, который миру этому всего себя отдал «чым моц *яго* магла»…

Я склоняюсь перед обоими и скорблю по обоим… Пухом земля им.

И вспоминаю вместе с ними наших творческих бесприютных мучеников Гадульку, Асташонка, Купреева, Сыса…

* * *

Быков — совесть нации, Брыль — ее душа. И вот — ни совести, ни души… Жутко…

* * *

Вечером, после спорого дождя, решил пройтись по лесу — подышать, подумать, развеяться, как теперь говорят…

Хожу я торопливо и перестроить себя никак не могу. Для меня главное в процессе движения не созерцание, а в первую очередь раздумья и мечтательность, как это ни странно для моего возраста…

Домой вернулся уставший, вялый и безразличный. Сел на диван напротив телевизора, в который пялилась перед сном мама, и вдруг вспомнил, каким я был шустрым лет двадцать назад… Даже с трясущимися руками мог быть первым у прилавка только что открывшегося утром магазина. Энергии хватало на все — на вино, на работу, на стихи, на книги и на гуляния с девушками (хотя в этом я удальцом не считался)…

А сегодня? Вот сижу возле больной мамы, и меня охватывает такая усталость от прожитого, что лень даже переключить программу в телевизоре — с российской на белорусскую…

А впрочем, какая разница…

* * *

Можно простить несовершенство в стихосложении настоящему поэту, но уж никак нельзя допустить этого в рифмовках графомана. Поскольку для поэта — это не первичное, а для графомана — главное, так как это все, на что он способен (ритмизировать и рифмовать прозу).

Поэт одержим подсознательным переживанием сознательно прожитого, а графоман сознательное пытается втиснуть в поэтическую структуру…

* * *

Настоящий художник в своих произведениях должен не разоблачать и не идеологизировать, а размышлять и рисовать словом…

Он должен любить, а не ненавидеть. И не только положительных, но и второстепенных, и даже отрицательных героев своих произведений, потому что он же в каком-то смысле является их духовным «отцом»…

Создатель должен быть выше всяческих положений и обстоятельств. Он *бог* своему слову…

* * *

У поэта в первую очередь должен быть внутренний опыт жизни — духовный… Иной для творчества не так важен, ибо вытекает из этого.

* * *

Все чаще и чаще молчу… так как не знаю, что сказать, чтобы не повторять уже сказанное… Состарились вместе со мной все известные мне слова, которыми я мог бы сказать что-то новое…

На исконном, стародавнем языке высказать что-то новое, совершить открытие, узреть будущее дано только Поэту. Творить и создавать словом может только тот, кому это дано от Бога…

* * *

Каждый август живем вдвоем с мамой на пустой улице в полупустой хате… Целый месяц накапливаю от нее добра и любви на год вперед…

Хата наша, моя ровесница, можно сказать, старая, но еще здоровая снаружи. Мама же неважная на вид, но еще живая изнутри. Природа вокруг будто первородная, и дух извечный над всем витает…

И вот здесь — несу я ведра, наполненные чистой живительной водой, корзину пропахших сосняком белых грибов, сноп желтой спелой ржи к согбенной бабке, ем ядреную слуцкую бэру из запущенного соседского сада, здороваюсь через улицу со старыми знакомыми, беседую в магазине с постаревшими мамиными товарками — и светлею душой от кровности нашего единого языка, а ночью, перед тем как предаться сну, прикрыв окно с близкими лесными шорохами и дыханием, непринужденно улыбаюсь сам себе, глубоко благодарный Тому, кто удерживает этот мир именно таким, и напоследок — молюсь маме…

Верю, и Там она не оставит меня, заслонив перед Судом Божьим мои грехи своей святостью…

Поклон и благодарность за таинство жизни — Ей.

* * *

Как человек я помудрел, а как литератор — выдохся… Все в этой жизни как положено понимаю — выше того не поднимаюсь. Есть Бог, есть крест, есть камень… Все остальное в конце концов оказывается под ними… Человек — тоже.

* * *

Терпеть не могу галстуки — эту государственную бюрократическую «удавку» (избегал как мог пионерских, не ношу сейчас и эти представительные «селедки»)…

Вспомнил об этом, листая поэтический сборник «Пад ветразем надзеі» (современная белорусская поэзия, 1989 год) для внеклассного чтения в школе. Рассматриваю фотографии авторов, помещенные сразу на двух обложках.

При галстуках: А. Велюгин, Н. Гилевич, Р. Бородулин, В. Зуенок, Я. Сипаков, Г. Буравкин, А. Гречаников, С. Законников, М. Метлицкий…

Без «ошейников»: С. Граховский, А. Пысин, А. Вертинский, В. Некляев, А. Рязанов, Л. Голубович, А. Письменков…

Странное исключение: В. Короткевич и М. Стрельцов «затянуты на узел»

* * *

Как много высокопарной чуши о духовности среди столичной богемы и в элитарных кругах, и как немного их, легко-глубоких выдохов души у натруженных старых деревенских людей…

Уезжаю… Мама, скорбно плача, губами выдыхает: *«Езжай, сынок, езжай, милый… А я уж здесь смерть перехвачу, чтобы она до вас, младших, не добралась…»*

* * *

В литературном творчестве я не эгоист. Никогда не стремился ни к собственной славе, ни к известности (да и есть ли они на самом деле в нынешней белорусской литературе вообще?) и не завидовал в этом плане никому из коллег по «цеху».

Положите мне 500 долларов в месяц, и я совсем перестану хоть что-то писать на бумаге… Ну разве что какой-нибудь дневник в стол на довершение судьбы. Прежде всего жизнь я люблю, а не литературу, но в конце концов все свелось к литературной муке ради оправдания жизни.

* * *

Перевоплощать мировую поэзию в белорусские стихи… Есть в нашем литературном процессе и такое проявление поэтического таланта.

* * *

А еще поэзия — это философия эгоизма…

* * *

Жизнь моя настолько постная и неинтересная, что абсолютно не питаю надежды, чтобы она была интересна хоть кому-то другому в этом мире…

Пишу? Только от безысходности такой жизни…

* * *

По большому счету злободневная газетная критика интерпретирует, огрубляет и вульгаризирует всякое искусство… и тем самым идеализирует вторичное и посредственное…

* * *

В который раз перечитываю чудесные лирические стихи Дануты Бичель и нет-нет да и споткнусь на строчках:

Ты ведаеш Боская Маці Марыя,
Чаму мне тут здрадзілі ўсе?

Пережимает Данута Яновна. Неужели — все?! Тем более — Поэтесса от Бога. Поэтому даже **если б и все**, то для нее не должно быть обидным и страшным их *земное* предательство…

* * *

Киргиз Чингиз Айтматов пишет на русском языке давно и успешно.

Но всмотритесь, — лицо писателя, особенно на фоне его азиатов-соотечественников, со временем приобрело характерные российские черты…

* * *

Язык народа — бессмертен.

И только в родном языке у литератора есть шанс остаться бессмертным, не имени своему, а в первую очередь языку благодаря…

* * *

Поэзию мы почему-то связываем только со стихами. Но поэзия объемнее, чем стихи. Стихи имеют свое тематическое пространство, а поэзия — необъятная. Она даже величественнее самого создателя, не говоря уже об авторе стихов.

* * *

Часто, прочитав того или иного нашего поэта, можно сказать, что он не **творит**, а *притворяется*, что он не **творец**, а — *притворщик*…

* * *

Поэтом умирает только тот, кто им рождается… Богданович, Жилка, Купала, Сербантович, Дубовка, Короткевич, Стрельцов, Янищиц, Гадулька, Письменков, Купреев, Сыс…

* * *

На писательском съезде наконец встретился снова с Купреевым. Высох он и постарел — от табака, вина и болезней различных. Вряд ли уже что-то он напишет. Жаль. Передал ему пальто пуховое (синтетическое) от Толи Сыса (не знаю, встретились ли они лично). Год пролежало-провалялось в редакции «Крыніцы», а потом у меня дома…

Не скажу, что он этому подарку обрадовался (даже не поблагодарил), так как был поглощен (полностью, весь!) проблемой выпивки, между прочим, уже и без того «остограммленный»… Алесь Кожедуб привез ему из Москвы гонорар за публикацию в «Литературной газете» (300 российских рублей), Микола обменял их на 16 000 белорусских и искал (а они уже тук как тут) компанию на дешевый «Крыжачок»…

На фиг ему тот съезд (Купреев в зал почти не заходил и, кажется, не голосовал даже). Для него главное — встретиться с теми, с кем *хочется* и всегда *хотелось*… И встречаются все те же.

Одинокий пилигрим. Драматичная судьба. (Он, Анатоль Сыс, Василь Гадулька, Андрей Федаренко — *люди без людей.*)

Не прощались… Не люблю его пьяного и вконец беспомощного. Как и Сыса, но у того еще хоть ноги живые… Остальное тоже уже омертвело и атрофировалось… почти полностью…

Оправдание за растраченный талант у них перед Богом одно — творчество.

* * *

Еще одна немаловажная причина, почему я перестал писать стихи. Потому что мне было стыдно и за чужие…

* * *

Сегодня один уважаемый мною человек сказал мне: *«Что ты все о них пишешь, они с радостью ждут от тебя не только похвалы, но и критики. А на добрый лад, так это же они о тебе писать должны — ты, если не выше, то равный им...»*

Странные люди, неужели они не понимают: о ком и о чем бы мы ни писали — мы пишем о себе…

* * *

По большому счету, я уже давно живу не в этом мире, а в мире литературном. А это совсем другая жизнь. К сожалению, она тоже не вечная, потому что, когда я беру в руки Библию, то стесняюсь написанного мной…

* * *

Сложно представить даже, что однажды умрешь — и человека с таким образом мыслей и именно таким восприятием этого мира на земле не станет — не станет вообще этого ТВОЕГО МИРА… Он умрет (исчезнет, скончается) вместе с тобой…

Поэтому нужно писать, творить — оставлять себя для других — живых, последователей — чтобы они лучшее из «твоего» использовали в своем будущем мире…

* * *

Я родился, чтобы оплакать свою жизнь…

* * *

Умеют же некоторые, живя скверно, писать красиво…

* * *

Пошла черная полоса: болезнь, операция, закрытие журнала…

Одиночество повсюду, даже с самим собой, хотя раньше я с ним чувствовал себя уютно.

Умирать страшно не потому, что все теряешь, а потому, что все ОСТАЕТСЯ… кроме тебя самого…

* * *

Сейчас писателем или поэтом быть значительно сложнее, чем в советские времена, потому что нужно не только писать и издавать книги, а еще и делать это так, чтобы они продавались и читались…

Есть здесь и обратный ход — что, как и для кого писать? Ведь иногда пишут и покупают такое, что художественной литературой назвать ну никак нельзя…

Но создают и такие произведения, которые не имеют абсолютно никакого спроса — элитарные.

Как тут быть? Самим собой. Не склоняться перед низким, пытаться дотянуться до высокого…

* * *

Такие тонкие сферы, как вера и творчество, нельзя законсервировать…

Это как человеческое стремление к постижению истины: чем дальше от истины, тем непреодолимее тяга к ней… И чем непреодолимее тяга, тем дальше от истины. Заколдованный круг.

* * *

У белорусов нет и в перспективе пока не ожидается спортивной игровой команды-победительницы. Нет группового национального опыта, высокого коллективного духа борьбы, даже обычного патриотизма и одного общего материнского языка (народными словами в азарте игры не договоришься) и много чего еще…

У нас могут быть победители в индивидуальных спортивных дисциплинах, но не в командно-игровых. Мы — не команда единомышленников, не единый коллектив, как литовцы в баскетболе, а дворовая команда с провинциальным отношением к правилам игры (проиграли — утерли сопли и разошлись по своим домам жаловаться на соперников)…

Белорусы в определенной, а может, большей, чем любая другая нация, мере — народ космополитичный по духу…

Хорошо это или плохо — покажет время, пока же это было не на пользу («пропускали через себя» и шведов, и татар, и поляков, и русских, и французов, и немцев…) Да, изредка случались и **победы**, но от них не было *выигрышей*.

* * *

Литература, ребята, — это такая псевдодраматичная эго-игра в классиков, гениев… и пророков… Поэтому — смелее!

И хотя многие из поэтов и писателей говорят, что они пишут кровью собственного сердца — все это чушь и бравада. Потому что все мы кровью живем и переживаем, а пишем — чернилами, клавиатурой, буквами, словами, языком. Никто ничего нового росчерком пера своего под Небом не узаконил и не открыл.

Потому — пишите себе так, как хотите и можете, ибо так, как есть, все равно не напишете. Писатель — творец только собственного мира, а не мира поднебесного (уже созданного), однако нужно помнить, что он *художник*, способный на большие открытия внутри себя самого…

* * *

Не ошибайтесь, как ошибается большинство: жизнь складывается не снаружи, а внутри нас…

* * *

Давно уже не поражали меня наши поэты своим словом.

И вот — будто сердце оборвалось и рухнула в бездну печали душа моя — стихотворение Нины Матяш «Бацечка родненькі…» в первофевральском «ЛіМе»…

Слушайте, беру свои слова насчет писания произведений кровью назад. Такое ощущение, будто действительно ей…

Мужик-то я твердый, это все знают, много терпел, а за многое и сам не спускал другим, а тут — глаза будто солью жгучей свело, затянуло, затуманило…

Вот, бывает, из-за какой-то пустой нашей графомании, кажется, возненавидишь всю поэзию, а из-за одного стихотворения — снова к ногам Ее припадешь… и, как раскаявшийся, — плачешь…

* * *

«Черный квадрат» Малевича — это не искусство, а всего лишь символ его.

* * *

Вся трагедия настоящих поэтов заключается в том, что они натуры горячие и грубоватые, а Поэзия — вещь тонкая и деликатная… Не потому ли так часто Ее по молодости из рук выпускали…

* * *

Говорят о натянутых и неоднозначных отношениях между некоторыми нашими мэтрами. Скажем, между Бородулиным, Гилевичем и Вертинским… Что они в свое время не поделили? Должности, квартиры, женщин, поэзию?..

Последнюю вряд ли, так как ее еще хватило даже мне. И хватит тем, кто моложе нас, как хватает воздуха для жизни человека. Не хватает самого человека для полноты Поэзии…

* * *

Ко многим пишущим можно «прилепить» слово «поэт». И в самом деле, чаще всего так и бывает. Можно даже временно «прилипнуть» к самой поэзии, но — не прирасти, не стать единой плотью и духом ее. Таким можно только родиться из лона самой Природы.

* * *

Удивительное дело, но те, кого я считаю Поэтами, на данный момент никак в поэзии не проявляются: Сыс — не пишет, потому что пьет, Рязанов обручился с философией, Дубенецкая не печатается и не издается, Некляев соблазнился прозой, Адамович завяз в общественно-политических проблемах, Дранько-Мойсюк — наоборот, в издательских… Ну и я — как стихоотступник, хотя считать самого себя поэтом, наверное, грешно.

* * *

Поэзию не пишут. Ее создают усилиями духа…

* * *

Женщину нужно любить по-пастернаковски… *«без извилин»*… Чтобы убедиться, что она тебе ровня, ее не стоит додумывать и приукрашивать…

* * *

К чему я никогда открыто и тайно не стремился, так это к славе. Хотя для белорусского литератора «слава» — понятие отстраненное. В том числе и по этой причине мне почему-то кажется, что она у меня есть и ее ровно столько, чтобы не чувствовать ее бремени, как бывает в стрессовых ситуациях или в минуты опасности и эйфории, когда начинаешь **слышать** собственное сердцебиение во всем своем теле… Мое сердце бьется тихо и спокойно.

* * *

Все-таки в литературу меня «привели» женщины. Бабушка и мама сочувствовали моему рифмованию, в отличие от мужского окружения. Косвенно помогали три дяди (почтальон, рисовальщик, библиотекарь). И если «крестным отцом» и первопечатником моих стихов в «ЛіМе» был Юрась Свирка, то повитухами и няньками все же были и тут женщины — Вера Полторан, Алена Василевич, Алла Семенова, Евгения Янищиц, Вера Верба, Тамара Чабан, Светлана Марченко…

Это, конечно, было проявлением их инстинктивной материнской любви к неказистому *сынку*, недомерку, пьянтосу, одинокому деревенскому холостяку… Ведь что такого уж было в моей первой книжечке «Таемнасць агню»? Три-четыре удачных стихотворения…

Но спасибо всем им, вынянчили, выходили, вывели в люди не хуже других… И это, повторюсь, была материнская любовь. А женской любовью были обласканы такие наши парнасские красавцы и *донжуаны*, как Михась Стрельцов, Владимир Некляев, Леонид Дранько-Мойсюк…

Кто конкретно их «любил» и «любит», нам не рассказывают… Хотя женщины часто раскрывают свои тайны сами. Кто следит за литературным процессом, тот кое-какие нюансы замечает и знает… Одним словом, литераторы и литература без отзывчивых и прекрасных женщин — бесплодны…

* * *

Если художника заставить писать только искреннюю правду — то для кого? Зачем и кому описание человеческой правды или правды конкретной земной жизни? Правда, хотя каждый из нас приватизирует ее определенный кусок, по сути — одна. Одна — на всех.

Не правду жизни нужно писать, а — *оправдание* жизни…

* * *

Современные демократы от национального возрождения как бы наперед *расфасовали* себе будущие исторические роли в белорусской литературе. История еще не раз начисто перепишет скоропалительные черновики их жизни и «литературной борьбы» (и не только сегодняшних, но и вчерашних дней).

Не тешьте себя: и нашей жизни — тоже.

2001 — 2007 гг.

Перевод с белорусского Алексея Чероты.



ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

Стрела и крест

Читая и перечитывая лучшие страницы книги поэзии и прозы Виктора Шнипа «Страла кахання, любові крыж», я невольно вспоминал полемическую статью Леонида Голубовича, напечатанную некогда в еженедельнике «ЛіМ», в которой говорилось о перечне и очередности в расстановке имен 100 лучших наших поэтов, сделанном В. Ярацем. Автор статьи категорически не соглашался, что В. Шнип в этом перечне занимал последнюю строчку. И объяснял такое положение поэта тем, что он имеет тихий и застенчивый характер и не всегда решается постоять за себя.

Вот тут и подумалось, интересно, какое на лице Л. Голубовича было выражение, когда в серии «Залатое пяро» вышла довольно объемистая книга «Страла кахання, любові крыж», — удивления, радости или смятения? Захотелось ли бы ему повторить свои слова о тихом и застенчивом характере поэта? Ведь в этой особой и престижной серии выходят самые талантливые произведения лучших белорусских авторов, как уже ушедших от нас, так и ныне здравствующих. А книга произведений В. Шнипа — это не избранное. Судя по датам, стоящим под стихами, в нее вошли вещи, написанные за несколько последних лет. Решиться на столь смелый шаг, пожалуй, не каждый сможет. Шутка ли, взять на себя такую огромную ответственность, издать книгу новых стихов в элитной серии, ни капельки не сомневаясь, что она этого стоит! Таким образом, В. Шнип показал и доказал на деле, что он не из робкого десятка и совсем другого мнения о своей поэзии и своем месте в табели о рангах среди поэтов. Кстати, о высоком рейтинге поэзии В. Шнипа свидетельствует и вступительная статья известного критика Владимира Гниломедова, который уверенно, как и должно маститому литературоведу, ставит поэта в первые ряды тех, кто пришел в поэзию в конце прошлого столетия и занял одно из ведущих мест, или, как еще говорят, свою определенную нишу. Правда, как и во всех подобных вступительных статьях, В. Гниломедов, видимо, нарочно не избегает комплиментарности и деликатной дипломатичности. Однако о поэзии В. Шнипа он говорит со знанием дела, иногда настолько неожиданно и метко характеризуя и определяя интересную черточку или грань в творчестве поэта, открывает в ней такие качества и новизну, что мы удивляемся, как этого не заметили сами. И после знакомства со статьей, обстоятельного и даже более чем всестороннего анализа творчества поэта, сама по себе возникает мысль, что перед нами не просто поэт, а почти классик. У нас ведь как бывает?.. Каким-то чудом очутится поэт средней руки в ответственном кресле и сразу, как гром среди ясного дня — бах! — готовится к изданию объемная и увесистая книга стихов, которые раньше эти издатели не подпускали на пушечный выстрел. А следом, как по взмаху волшебной палочки, появляется приятель и охотно строчит-пишет почти папскую эпистолу, вступительную статью, где, и бровью не поведя, объявляет, что стихи, вошедшие в книгу, достойны — чего бы вы думали? — какой-нибудь престижной премии! И автор книги воспринимает это как должное. А что тут странного?! Ведь так делалось во все времена. Раз сидишь в ответственном кресле — почет тебе и книжные издания с большими тиражами! Не хочется даже думать, что это в какой-то мере касается В. Шнипа,

который работает главным редактором издательства «Мастацкая літаратура», где вышла его книга и где простому, хотя и талантливому автору легче через игольное ушко пройти, чем издать сборник стихов. Не удивительно, что и статья В. Гниломедова, как говорилось выше, изобилует похвальными эпитетами. И тем не менее, критик считает уместным заметить, что «у паэта ёсць і лепшыя, і горшыя вершы». В то же время, давая высокую оценку творчеству В. Шнипа, авторитетный критик, видимо, для того, чтобы никто не сомневался в непредвзятости его суждений, решил напомнить о своих ученых регалиях, и в конце статьи под фамилией В. Гниломедова очень уместно и кстати стоит уточнение — **доктар філалагічных навук, акадэмік**, придающее более значительный вес сказанному и даже стихам, с которыми предстоит нам познакомиться.

Прежде чем начать разговор о произведениях, вошедших в книгу поэзии и прозы «Страла кахання, любові крыж», ставшей, безусловно, значительным событием и вехой в жизни и творчестве Виктора Шнипа, хочется кратенько сказать о том пути, который проделал автор, идя к сборнику. Детство его прошло в небольшой деревеньке Пугачи, что на Воложинщине. Уже со школьных лет он писал стихи. Впервые свое произведение, стихотворение «Семнаццаць мне…», он напечатал в молодежной газете «Чырвоная змена» в 1977 году. Затем задумчивый, углубленный в себя паренек окончил Минский архитектурно-строительный техникум и стал плотничать. А в 1987 году за его спиной уже были Высшие литературные курсы в Москве. Поэтическая фортуна оказалась к В. Шнипу более чем благосклонна. В 1987 году за сборник стихов «Гронка святла» ему была присуждена премия имени В. Маяковского Совета Министров Грузии. В Москве, на Высших литературных курсах, он встретил свою судьбу, поэтессу Людмилу Рублевскую, которая через некоторое время стала его женой.

Вернувшись в Минск, В. Шнип работал в редакциях газет и журналов, а все остальное время отдавал поэтическому слову. Вскоре в свет вышел его второй сборник стихов «Пошукі радасці» (1987 г.), который благожелательно встретила критика. В непритязательных строчках простых и кратких по формату стихов в большинстве случаев говорилось о селе, природе и о том, что с детских лет поэт хорошо знал и помнил. Лирический герой, любопытный паренек, чем-то похожий на молчаливого, себе на уме, мужичка, ко всему, что есть на этом свете, прислушивается, ко всему приглядывается, все жадно вбирает в себя. Зрение у него острое, память цепкая. И он хватает на лету каждую мелочь, каждую подробность, внимательно рассматривает, и под его пером они поочередно превращаются то в художественный образ, то в развернутую картину-метафору, как вот в этом случае: «Рыпіць старэнькі калаўрот — вецер укруціўся ў спіцы. Ля матулі дрэмле кот. Час цячэ па белай нітцы. Сонца села за акном у стажок на загуменні. І ў матулі на ўвесь дом свецяць з-пад рукі праменні. Цемра ўхутала сяло. Светла ў нас. Мы ўсе паснулі. Пэўна, дзённае святло спрадзена ў клубок матулі». Разве эти яркие строфы не напоминают красочную фреску, написанную нашими пращурами, которую мы видим иногда на стенах храма? Этот небольшой набросок из деревенской жизни, несомненно, — творческая удача молодого поэта, ищущего свой почерк, собственные краски и поэтическую интонацию. Только тот, кто жил в деревне, наедине с природой, проводил жаркие летние дни возле речки, мог увидеть вот такое: «Сцяжынка з рэчкі п'е ваду. Смела гаспадарыць спёка. За вадою ўслед іду — мне свой цень цягнуць нялёгка». Читая строфу, кажется, мы физически чувствуем испепеляющую полуденную жару, изнуряющую жажду, от которой нет спасения. Но поэту мало этого. Ему нужно еще плотнее уложить художественные черточки, чтобы палитра стиха засверкала живее и ярче. Хотя еще не совсем уверенной, но уже твердой рукой, конечно, с определенной оглядкой на мастерство старших коллег по перу, поэт завершает этюд: «Спёкай лашчаны пясок пад нагою, быццам прысак, і на беразе чаўнок без ракі на трэску высах».

В. Шнип с нескрываемой любовью смотрит на своих односельчан, интересуется их работой, на которую они мастера.

Виктор Шнип старается говорить кратко, но многозначительно, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. Именно эти качества мы находим в стихотворении о сельской хате. Если вчитаться и вдуматься в смысл четверостишия, в нем можно найти какой-то намек на как будто предначертанную свыше трагическую судьбу современного села:

Хата знямелая, сівая,
З шэраю буслянкай, бы вянком,
Вокнамі задумна пазірае,
Склаўшы рукі на дзвярах замком.

Поэт сознательно усекает первую строчку на один слог, делает ее «хромой». При чтении мы словно проваливаемся, как в колдобину, и, конечно, останавливаем на этом месте свое внимание. Поэту подсказывало внутренне чувство, что нужно выделить это место, где говорится о трагедии села, приходящего в запустение и постепенно вымирающего, и обратить внимание читателей пропуском одного слога, как это делали и делают мастера художественного слова.

Нужно отметить, что В. Шнип, как его сверстники и старшие коллеги, работал в традиционной манере, не вызывающей споров, острых вопросов и конфликтов с редакторами. В стихах обычно говорилось о «вечных» темах, которые затрагивались испокон веков. От авторов требовалось найти какой-то нюанс или поворот в отображении реальности, отыскать свежий образ, сравнение. Поэт обладал хорошей фантазией и находчивостью: «Прыйшоў хлапчук, насупраць сеў, сказаўшы «добры дзень» агню». У поэта время от времени появлялась минорная интонация: «Сумую па ўсмешках, якія пад смехам. Сумую па сцежках, якія пад снегам». Иногда откуда-то из детской памяти прорывались мотивы песен и, возможно, отголоски сказок и легенд, услышанные из уст матери или бабушки, и они отозвались в строчках: «Спявае ў лесе салавей. Сава з вятрыскам жэняцца. — Як пасялю яго ў дупле, нікуды не падзенецца».

Постепенно в стихах В. Шнипа начинают как бы исподволь звучать нотки эпичности и прозаичности: «Я фортку зашкліў — яшчэ холадна ў леце, па месцах расклаў і паперы і рэчы. На самым світанні заціх буйны вецер, ды ліпа шуміць і завеска трапеча». Встречаются интересные строчки, по звучанию напоминающие заклинания или близкие к устойчивым словосочетаниям, возможно, появившиеся экспромтом, как вот эти: «Мы шмат абяцаем, і нам абяцаюць. Мы шмат забываем, і нас забываюць. Так звеку вядзецца. А хто перайначыць? І моцны ўсміхнецца, і кволы заплача». Музыкальный лад и речитатив помогают автору настроить на свою поэтическую волну читателей и держать в своем сладком и завидном плену до того момента, пока он не скажет: «Хоць жанчыну не кахаеш, да жанчыны прывыкаеш. Прывыкаеш — не адвыкнуць, так балюча — ды не крыкнуць. Ды не крыкнуць — сцяты зубы, а жанчына шэпча: «Любы». Шэпча «любы» — не кахае, непрывыкла прывыкае. Прывыкае — невыносна, невыносна, злосна-злосна. …Пакідаеш — адчуваеш, бы ад сэрца адрываеш…» Кто не почувствует внутреннюю силу и воздействие этих вроде бы бесхитростных строк? Здесь нет ярких образов, сравнений, но присутствуют разговорная интонация и языковая лаконичность, очень нужные, с оправданными смысловыми оттенками повторы. Стихотворение оставляет глубокое впечатление не только своей художественной оснасткой, но и напевностью, внутренним драматизмом. Умеет поэт создать и впечатляющую картину: «А снег глыбокі, і — зіма. Стаяць аціхлыя рабіны — у іх, на ўзгорку за сялом, прымерзлі да нябёс галіны».

Обращает на себя внимание одно из самых, кажется, лучших стихотворений, где говорится о тишине. В нем проявились лучшие черты поэзии В. Шнипа, которые со всей яркостью мы увидим позже в его балладах. Хотя стихотворный размер в нем обычный, традиционный, но какая-то загадочность, балладные отзвуки слышатся в строчках, вызывая в душе определенное настроение. Автор говорит очень просто и доходчиво, не прибегая к образам, но густо, объемно

и глубоко: «Цішыня мая сумуе. Ад журбы не ўпершыню цішыня мяне ратуе, ратую — цішыню. Выйду ў поле, азірнуся. Усміхнуся сам сабе. — На пагорку не будуйся, гром хаціну разаб'е».

Внимательно вчитываясь в это небольшое, состоящее из четырех строф, стихотворение, нетрудно заметить, что в нем имеются все признаки настоящей баллады. В первую очередь — определенная сюжетность и приметы сказочности. Произведение как бы делится на две части. В первых двух строфах идет речь о целебной силе тишины, о том, что строить хаты на горе — плохая затея, грозящая бедой. И тут сюжет стихотворения поворачивается на все сто восемьдесят градусов, как это и бывает в балладе. Лирический герой делает противоположное, кажется, самому здравому смыслу. Об этом говорится так: «Пабудую, засяваю. І падзякую сябрам — ім раздам усё, што маю, толькі хаты не аддам. І журбу паклічу ў хату, зачыню яе замком, цішыня хай будзе рада. Разаб'е хаціну гром». Кто скажет, что две последние строфы не звучат как завершение мини-баллады?! В них, как и в первых двух, та же загадочность, драматизм ситуации, сюжетная развязка. Наличие этих художественных компонентов с краткостью и сжатостью высказываний, где присутствует глубокий смысл, свидетельствует о редкой и завидной способности автора обычные явления и предметы превращать в художественные вещи.

Нередко В. Шнип обращался к историческим фигурам и фактам. Вот, к примеру, стихотворение о Франтишке Богушевиче: «Ён сядзеў каля дарогі, як туман, увесь сівы. — Бурачок, ты ж пахаваны. — Дудка грае — я жывы. — Падкажы мне, што іграці? — Грай, што маеш на душы, толькі ад няшчырай песні дудку, браце, беражы». Диалог оживляет стихотворение, делает его интонацию особенной, мысль подвижной. Последняя строфа придает ему песенно-народный колорит: «І пайшоў ён па дарозе, як туман, увесь сівы. — Бурачок жа пахаваны. — Дудка грае — ён жывы».

Нужно сказать и о том, что одной из особенностей стихотворений поэта является некоторая их повествовательность. Вот он рассказывает о почти анекдотическом факте, видимо, что называется, имевшем место в жизни — как женщина, приехав из деревни, поочередно звонит в каждую квартиру в подъезде и спрашивает: не тут ли живет ее сын? Кажется, комический случай. Но если вдуматься, в нем есть что-то драматическое, символичное.

О ранних стихах Виктора Шнипа можно говорить много хорошего и интересного.

Уже в книге «На рэштках храма», вышедшей в 1994 году, в произведениях появилась непривычная лексика, нарочитая прозаизация стиха и немало чего другого. Конечно, опрометчиво было бы упрекать поэта, что он вдруг взял и сдал прежние позиции. Похоже на то, что В. Шнипа не удовлетворяла традиционная форма письма, и он начал поиски. Стихи его заметно изменились, приняли другую окраску. Вот как говорит, видимо, об этих произведениях В. Гниломедов: «У паэзіі В. Шніпа можна заўважыць рысы барока — спалучэнне высокага і нізкага, натуральнасці і гратэсковасці, гераічнага і трагічнага, што вельмі пераканальна выявілася ў яго любімым жанры — баладзе, у баладных вобразах старажытных замкаў і гістарычных асоб». Конечно, нужно владеть недюжинной способностью, чтобы соединить, точнее сказать, столкнуть между собой «высокае і нізкае», и высечь огонь поэзии, согревающий человеческую душу. Например, о собаке в книге «На рэштках храма» поэт говорит: «Здыхаў сабака ды не поўз да Хаты. У Хаце сытыя яго браты крывёю абжыраліся на святы, аж да зямлі звісалі жываты». Почему же собака очутилась в таком незавидном положении? Да по той простой причине, что ей надоела пресыщенная жизнь. Она отреклась от нее и сейчас: «Ён смертнай воляю, як Бог, багаты, і поле палыну — ягоны Храм». Таким образом, по воле поэта даже у собаки может быть свой Храм. Нет ли тут намека на современный хаос, неразбериху, которые охватили весь мир?

И тем не менее, нам понятно, что поэт ищет новую стихотворную форму, расширяет тематическое разнообразие, углубляет синтаксическую наполненность строфы. Появилась длинная строка, склонная к повествовательности, обилие информационности, повторы одних и тех же строчек, что и раньше встречались в стихах, несущие новые смысловые оттенки, более глубокую экспресивность, и главное, лирическую напевность. Ухватив строку, как кончик нити, поэт тянул ее, стараясь на одном дыхании вытянуть стих до самого конца. Читатели с интересом ожидали новых встреч с его произведениями на страницах периодических изданий, тревожились, переживали за его талант.

Все поиски и открытия В. Шнипа нашли наиболее полное воплощение в его «кнізе паэзіі і прозы» «Страла кахання, любові крыж». Открывается она своеобразными «Баладамі радаводу», излюбленным поэтическим жанром поэта. Все они посвящены пращурам поэта, представляющим целую ветвь семейного генеалогического древа. Надо полагать, что баллады — своеобразный пролог к книге, так сказать, авторская запевка, которая должна нести определенную смысловую нагрузку. Знакомясь с ними, невольно задумываешься над тем, насколько они соответствуют названному жанру. Если попробовать поискать в них качества, детали и приметы, необходимые для классической баллады, то, к нашему удивлению, не всегда и не в полном количестве их удается обнаружить. Некоторые критики склонны считать, что поэт разрабатывает свой особый тип баллады, подразумевая под этим новаторский поиск и обновление как ее формы, так и содержания.

Интересно, какие же художественные новинки и находки приберег для нас Виктор Шнип в этом балладном цикле? По-хорошему удивляет уже то, что автор стремится проследить судьбы своих близких и дальних родственников по отцовской линии, возобновляя самые важные события в их жизни и показывая главные черты характеров. Не упускает поэт из вида даты рождения и ухода из жизни героев, из которых мы узнаем, в какие времена они жили и в каких значительных исторических событиях принимали участие. Читая баллады, нельзя не почувствовать, что В. Шнип по праву гордится своей не совсем обычной родословной. Его корни по отцовской линии находятся где-то в Пруссии, откуда был родом его прапрадед Герман Шнип, как оказалось, бывший рыцарь, который каким-то чудом попал на Воложинщину и по неизвестным причинам вынужден был там остаться. Уже один этот биографический факт производит впечатление. Но в данный момент нас больше всего интересует, при помощи каких художественных приемов поэт отобразил и воссоздал в своих произведениях важные моменты из жизни своих предков, потомком которых является он сам? Нужно сразу отметить, что никаких особых новаторских, в том числе и постмодернистских открытий, которые бросались бы в глаза и которые привыкли отыскивать читатели, в этом цикле баллад почти нет. Автор в большей мере относится к поэтам-традиционалистам, хотя ему не откажешь в поисках поэтической новизны как в форме, так и в изобразительных средствах, и стихи его отличаются «лица необщим выраженьем».

В связи с этим обратимся к первому поэтическому произведению из этой главы — «Балада Германа Шніпа» (1760—1830). Начинается оно с возвышеного восклицания и напоминания о драматическом событии в судьбе лирического героя: «Пра рыцарства, пра Прусію забыцца! Тут іншы свет, тут іншае жыццё. Ляціць пад ногі, як агонь, лісцё, смяецца маладзён, і плача рыцар па тым, што ўжо не вернецца ніколі да родных ніў да роднае красы, дзе цэлы свет у кропельцы расы, дзе камяні, як чарапы на полі чужынцаў тых, сярод якіх ты сёння жывеш і будзеш верна ім служыць, і будзеш век для іх усё ж чужым, як для цябе наўкол лясы і гоні чужыя і самотныя, як рыцар, які ў табе жыве і будзе жыць».

Как видим, лирическая интонация, ораторский тон и торжественность постепенно приглушаются, идут по нисходящей до того момента, когда поэт начинает говорить о будничной жизни и прозаических вещах и личной трагедии бывшего

прусского рыцаря, который должен был смириться со своей судьбой и, находясь на службе у местных властей, в силу множества причин чувствовать себя чужим среди окружающих. Сказано обо всем этом спокойно и уравновешенно, как умеет говорить о таких вот драматических ситуациях Виктор Шнип, придавая им и другим вещам еще большее чувство драматизма и одновременно давая увидеть превратности судьбы. Вместе с тем поэт как бы затрагивает героическую тему, говорит о ней в несколько ином варианте и с новыми оттенками. Чтобы убедиться в этом, процитируем балладу до конца: «І сын твой да цябе праз луг бяжыць, дзе свет у кропельцы расы іскрыцца, дзе камяні, як чарапы на полі чужынцаў і тваіх былых братоў, якія не вярнуліся дамоў, як ты дамоў не вернешся ніколі, бо тут твой свет, бо тут твая краіна, самотная і вольная, як ты. І ты глядзіш спакойна ў вочы сына, а я ў твае гляджуся праз гады…»

С каким бы вниманием мы ни перечитывали строки, разговор ведется с такой интонацией, что она затрагивает нас, как говорится, за живое, нам интересно узнать подробности из жизни бывшего рыцаря, хотя неожиданные образы и метафоры в стихотворении отсутствуют напрочь. И если бы задаться целью найти в строчках недостатки, можно было бы в первую очередь привести в качестве примера слияние между отдельными словами таких букв, которые создают неблагоприятные созвучия, как вот эти: «*пра рыца*рства» и «*пра Прусію*», а следом за этим подчеркнуть такое, не особенно блещущее новизной сравнение, как «ляціць пад ногі, як агонь, лісцё», выделить знакомые словосочетания из Богдановича «да родных ніў да роднае красы», солоухинское «цэлы свет у кропельцы расы» и т. п. Погрешностей наберется достаточно, чтобы упрекнуть автора в некотором эпигонстве. И если бы кто-то сгоряча сделал это, поверьте, совершил бы большую и серьезную ошибку! Потому что это совершенно не так! Так в чем же тогда дело? Разве можно одновременно говорить о недостатках, приводить примеры не в пользу поэта и сразу же защищать его? Где же логика? Весь фокус том, что, во-первых, поэт как бы нарочно предстает перед нами незащищенным. Во-вторых, хорошо знает, каким простым и заурядным материалом пользуется, из которого «шьет одежду» для своих стихов. И не отказывается от него не потому, что не нашел лучшего, не смог найти более яркие слова, или два-три броские образа и сравнения. У него свой собственный материал, своя примерочная, свои лекала, по которым он кроет этот, как будто уже немного поношенный материал. Но посмотрите, что из него получается, как он преображается, сшитый на поэтический манер и лад В. Шнипа! Хотя, возможно, пример и не очень удачный, но какие технические чудеса, добротные легковые машины создают мастера своего дела из, казалось бы, ничтожного хлама с городских свалок. Поэт действует немножко иначе. В отличие от техников, он из обычных и простых слов, которые звучат в бытовой речи, делает по-своему изящную и добротную вещь, стихотворение! И оно в корне отличается от стихов других авторов не только внешне, но и внутренним звучанием, оркестром, создающим богатую гаммой тонов и оттенков гармоничную мелодию.

Так вот «Балада Германа Шніпа», как и другие стихи поэта, чем-то близка музыкальным произведениям. В связи с этим можно спросить: а разве в стихах других поэтов отсутствует мелодичность? И вообще, бывают ли стихи без ритмического рисунка? Кажется, нет! Но баллады В. Шнипа в большей мере создаются и строятся по музыкальным законам и правилам, найденным в литературном варианте самим поэтом. Без этой мелодичности и музыкальности не было бы его полнокровных стихов и баллад. Разве не интересно проследить, как эту музыкальность воплотил поэт в «Баладзе Германа Шніпа»? Начинается она отрывистым восклицанием, похожим на взрыв, а потом плавно и неторопливо переходит к задушевности, где чувствуются драматические нотки, говорящие о том, что когда-то в давние времена произошло с человеком событие, круто повернувшее его жизнь, и оно отзывается сейчас в душе его наследника, тревожит, наводит на воспоминания и раздумия. Мелодия рассказывает не только о незаживающей

душевной ране и боли, которые пережил когда-то прадед поэта, смирясь со своей судьбой, но и помогает нам представить исторический период длиной в два с лишним века, над которым, как над полем давнишней битвы, кружит птица памяти, делая петли-круги, то сужая их, то расширяя и поднимаясь вверх, чтобы увидеть многое не только в пространстве, но и во времени. Мелодия доходит до какого-то интонационного момента, отличающегося особой пронзительностью, и как будто на какое-то еле уловимое мгновение останавливается и замирает. Потом, незаметно переведя дыхание, начинает возвращаться по тем самым кругам обратно, но уже по спирали вверх, время от времени повторяя прежнее звучание, усиливая его и наполняя новыми нюансами и оттенками, более волнующими и трогающими душу обертонами, придавая созданной картине историческую достоверность, историческое дыхание и что-то таинственное и незабываемо-волнующее.

Вот в этой музыкальности создана «Балада Язэпа Шніпа», посвященная сыну Германа, который уже считал себя местным жителем. Обращаясь к нему, поэт говорит: «Ты тут нарадзіўся, і ты ўжо тутэйшы, як гэтае неба, як гэта зямля, дзе кужаль бялее, чарнее ралля. І ты ўжо за бацьку крыху весялейшы, бо тут нарадзіўся, ды гэту самоту, нібыта рачулку, што выйшла з-пад лёду, не любіш, бо лёд акрываўлены, белы, нібыта фальварак у попел згарэлы, плыве прад табой па вадзе, як па дыме, і ўжо касінераў ніхто не падыме пайсці і змагацца за долю, за волю, якой ты не можаш, стары, зразумець». Кто из читателей не почувствует лирическую напевность баллады, удачно найденную манеру и стиль письма, выразительно передающую какую-то тревожную атмосферу далекого и непростого времени.

К большому сожалению, не все стихи этого цикла написаны с уверенностью и с тем мастерством, которое проявилось в первой балладе. Автор почему-то не пользуется повторами, которые делаются не ради повторов, а чтобы придать тем самым словам и строчкам какое-то новое смысловое звучание и оттенки, усилить эмоциональное воздействие на читателей. И в результате вместо авторского «выстрела» получается нечто близкое к «осечке». Правда, где-то в самом конце цикла поэт как будто спохватывается, старается исправить положение, но делает это не совсем уверенно, и чувство внутреннего неудовлетворения все равно не оставляет нас, хотя в каждой балладе по-прежнему прослеживается какое-то особенно важное событие из биографии представителя каждого поколения Шнипов. Например, Кондрат Шнип, доживший до 1916 года, был лесником, и, как говорит поэт, обращаясь к нему: «Лес — твой панскі дом, зялёным перапоўнены святлом, шуміць і не дае спакою ўсім: ні чужакам-падпанкам, ні сваім, і лес журботны, як журботны ты, бо, як віхор, лятуць, лятуць гады, ламаючы, нібыта дрэвы, лёсы…» И в этой балладе, как и в предыдущих, ощущается какой-то минорный и задумчивый тон, наводящий на воспоминания о далеких прошедших днях, красоте природы, помогающей лирическому герою преодолеть все невзгоды и трудности.

Некоторая загадочность звучит в балладе о другом Язэпе Шнипе, который жил в прошлом столетии, и его судьба была связана с Вильней. Поэт не рассказывает о том, что заставило Язэпа расстаться с городом. К нему он, видимо, прикипел сердцем, но что-то вынудило срочно искать другое прибежище. Об этом поэт говорит так: «А пакуль што за ўзгоркамі Вільня залатымі крыжамі віднее. І ляціць над дарогаю пыльнай чорны воран, які ўсё чарнее, быццам блізіцца тое, што будзе». Но как бы ни кружил черный ворон над Язэпом, в какие переплеты он ни попадал, все же дожил до преклонного возраста и ушел из жизни в восемьдесят втором году прошлого столетия.

Особо хочется отметить тот факт, что цикл оканчивается балладой, посвященной отцу поэта Анатолию Шнипу, который появился на свет в 1931 году. «Работа… Самота… Работа… Самота.. І кожны твой дзень пачынаецца зноў…» — ненавязчиво и задушевно говорит об отце и его ежедневных заботах сын-поэт. И мы видим простого труженика, влюбленного в свою землю, которая стала ему родной, и вряд ли ему приходит в голову, что его пращур — прусский рыцарь. Да, видимо, и самого поэта мало волнует этот факт, хотя он и признается: «Я побач з

табою (с отцом. — *В. М.*) маўкліва сяджу і ў неба таксама на зоры гляджу, нібыта між зорак наш замак шукаю…» Трудно сказать, почему поэт не уточняет, о каком замке идет речь, мифическом и придуманном, или его предки на самом деле имели в своем владении какое-то фортификационное сооружение. Конечно, сейчас не так уже и важно, говорит поэт о замке правду или всего лишь фантазирует, делая балладу более загадочной и фантастической, что соответствует этому жанру. В целом же Виктор Шнип, создавая произведения по родословной, видимо, хочет подчеркнуть или напомнить о непрерывной связи времен и поколений. Недаром в строчках, посвященных отцу, автор говорит не только о нем, но и о себе, этим самым как бы настраивая и подготавливая читателей к тому, что дальше он намерен повести разговор о себе, своих личных отношениях с окружающим миром, собственных жизненных перипетиях, чувствах и переживаниях.

В следующем разделе книги «Роднае і вечнае» мы знакомимся с произведением, напоминающим своеобразную оду, «Яблыкі». Создано оно в форме дневника, где прозаические наброски чередуются со стихотворными строчками, как будто сделанными на скорую руку, вернее, по свежим следам, настолько в поэтических зарисовках поэт смог уловить и положить на бумагу то первое, почти всегда безошибочное и свежее впечатление, возникающее мгновенно и подсознательно и более верно и полнее передающее душевное чувство и самые тонкие его оттенки. Простотой и прозрачностью стиля отличаются и прозаические наброски, которые, кажется, занесены в блокнот не для того, чтобы обязательно быть напечатанными, а только для самого себя. В их бесхитростности и чуть ли не детской наивности есть что-то, на первый взгляд, беззащитное и хрупкое, а на самом деле мастеровитое и своеобразное, этим самым и ценное. Зарисовку с натуры, помеченную 1972 годом, хочется привести полностью: «Вясна. З бацькам, у старым вядры развёўшы вапну, белім у садзе чорна-рудыя ствалы дрэў. З мамай меншы брат і сястра падмятаюць двор. Навокал ціха і светла, і хочацца, каб так было вечна…»

Все строчки, начиная с первой и заканчивая последней, до «хочацца, каб так было вечна…», написаны удивительно просто, прозрачно и непосредственно. Последняя фраза принадлежит взрослому человеку, знающему, что такое литература. Она стала мостиком между прозаической записью и стихом. Переход от конкретного и частного к возвышенному и торжественному является тем контрастом и контрапунктом, которые способствуют выделению всего того, о чем говорится дальше. Хотел того поэт или нет, но стихотворение как бы является прямым продолжением этого текста, хотя они и разнятся между собой. В стихе мы встречаем тот самый художественный прием — повторение некоторых, так сказать, ударных строчек, несущих основную нагрузку. Одной из этих строчек стало обращение к родине: «Айчына мая залатая…», которое в несколько измененном виде три раза повторяется в стихотворении и носит своеобразную смысловую и интонационную окраску. Вот как звучит это в произведении: «Айчына мая залатая, як сонца, што па-над зямлёй, як Храм, што ў душы не знікае і будзе заўсёды са мной, як гэтае неба над намі, як гэта пад намі зямля, дзе плачу тваімі слязамі, Айчына, Айчына мая, па тым, што не вернеш ніколі, па тых, што пад травамі ў полі, дзе сонца плыве, не сплывае, дзе сумны і радасны я, бо неба, як вечнасць зямная, як попел пад намі зямля, Айчына мая залатая, Айчына святая мая…» Разве это не гимн родному краю и малой родине, которая дорога каждому из нас?!

Из прозаических набросков особое внимание обращает тот, где говорится об улье, стоящем на липе в Легезах у бабки Ганны, в котором она с дедом Михасем во время немецкой оккупации прятали лучшую одежду и самую главную семейную ценность — яловые боты. Этот жизненный факт настолько впечатляет, что можно только удивиться, почему автор не посвятил уникальному улью отдельную балладу, хотя сам набросок в некоторой степени похож на балладу в прозе. Любопытные детали, запавшие в память, встречаются и в других прозаических

набросках, как и ряд со вкусом написаных лирических стихов. Но читателей более всего интересует то, для чего между стихами автор вклинивает прозаические наброски. Может быть, они, как бы это сказать помягче, служат чем-то вроде специальных амортизаторов? Возможно, автор боится, что без них стихи сольются, «слипнутся» между собой настолько, что их нельзя будет отслоить и отличить один от другого? А может, лучше сразу задуматься над тем, насколько необходимы эти прозаические наброски между стихами, насколько естественно они входят в контекст произведения «Яблыкі»? Самостоятельны ли они или являются какой-то его необходимой составляющей частью?

Вряд ли кто-либо из серьезных критиков утвердительно или отрицательно ответит на этот вопрос. Сегодня настолько размыты сами понятия «поэзия», «художественный образ», «метафора» и т. д., что над низкопробными упражнениями, бурными эскападами всякого словесного хлама, напоминающего бред психически больного человека, поделками под японские «хоку» цвета американских хаки, нарочитой «зауми», принялись орудовать шайки окололитературных проходимцев и приспособленцев, называя свою околесицу постмодернистским новаторством, которое там и близко не ночевало, но с такой настойчивостью и упорством пропагандируется ими, что даже вчерашние семидесятилетние седовласые мэтры, подтянув на бегу подштанники, спешат потрафить с ними в ногу и, заискивающе заглядывая в рот новоиспеченным громовержцам, сказать им, что за ними будущее. Поэтому трудно говорить о естественности и необходимости именно такой вот формы и содержания, какие имеются в книге. Безусловно, радует, что отдельные прозаические наброски Виктора Шнипа напоминают художественные этюды, небольшие новеллы, взятые из собственого детства или юности. Что касается формы, то чего душой кривить, она не очень-то нова. Помнится, еще в 60—70-е годы прошлого столетия такую форму использовали на Белорусском радио в литературно-музыкальных передачах, посвященных, например, приходу весны, зимы и т. д. В таких передачах чередовались прозаические «связки» с классическими стихами, лирической музыкой и живо воспринимались слушателями. Но кто сказал, что старые мехи нельзя наполнить молодым вином?

Говоря это, я ни в коем случае не собираюсь отождествлять художественные произведения В. Шнипа с радиопередачами полувековой давности. Но их поэтическое достоинство должны оценивать сами изысканно-избалованные разными «новаторскими» находками и открытиями и в то же время требовательные читатели, у которых художественного вкуса не меньше, чем у самих стихотворцев. Что касается чтения и знакомства со стихами, то, безусловно, прозаические отступления-перебивки делают произведения «Яблыки» и последующие «Бульба», «Сала», «Рыба», «Хлеб» более интонационно разнообразными, привлекательными и читабельными, хотя, нужно отметить, — наверное, автор что-то заранее не предугадал и вовремя не учел. Тем не менее, наиболее удачные стихи не могли и не могут затеряться не только среди прозаических дополнений, но и среди лучших произведений других авторов. Имеются в виду строчки, посвященные отцу и матери. По своему интонационному рисунку стих напоминает тонкую и искусно исполненную вязь, что придает строфам напевность и особое очарование. Что касается мудрости и смысловой значительности сказанного, то они напоминают танковскую углубленность и метафоричность, хотя о творческой зависимости не может быть и речи. По-хорошему удивляет авторская душевная просветленность и рассудительная ясность, приобретающие драматические нотки, когда разговор идет об отце и матери, которые не могут быть друг без друга ни одной минуты. Непринужденно, естественно и с нежной грустинкой начинается стих: «Маці без бацькі сумуе. Бацька сумуе без маці. Я ў іх самоце начую, нібы ў старэнькай той хаце, дзе нарадзіўся вясною, нібы праталіна ў снезе. Маці тут побач са мною, бацька шчэ ходзіць па лесе, спелыя зёлкі збірае, нібы шукае былое».

Мелодика стиха настраивает читателя на какой-то особый лирический лад. Читая строчки, будто попадаешь в объятия волшебной музыки, отдаваясь ее

напевному звучанию. Знакомые повторы одних и тех же слов или строчек — художественный прием, которым пользуется поэт и к которому мы уже привыкли, усиливает мелодику стиха, заставляет наяву ощутить силу и очарование настоящей поэзии. Стих хочется процитировать до конца: «Маці цыбулю сплятае, быццам бы ўсё залатое, што ў іх жыццi адбылося. Сёння на вуліцы восень. Вецер лістоту вятруе, светла і цёпла мне ў хаце. Маці без бацькі сумуе, бацька сумуе без маці».

Стих словно соткан из воздуха. Но в нем так много сказано о всех лирических героях, об их глубоком чувстве сказано настолько просто, искренне и задушевно и вместе с тем значительно, что его стих можно назвать не только балладой, которую можно положить на музыку, но и одной из самых значительных удач поэта.

Если большинство произведений В. Шнипа создано на автобиографическом материале или близки к нему, но по каким-то соображениям носят закамуфлированный характер, то раздел «Крыж і страла» почти полностью посвящен историческим личностям нашего края, начиная от Рогнеды и заканчивая портретными набросками современников поэта, недавно ушедших из жизни.

Особенность этого раздела в том, что его составляют одни баллады. Даты, стоящие под ними, свидетельствуют о том, что создавались они в разные годы творчества поэта и поэтому различны по силе художественного исполнения. Например, в балладе, посвященной Рогнеде, сказано: «Хоць Рагнеда стала Гарыславай, яна Рагнедай будзе — у вяках», и в заключение: «Рагнеда — нашае імя святое, як вечны зніч, як беларускі сцяг». Конечно, найти точное поэтическое слово и метафору, которые бы всесторонне и высокохудожественно характеризовали каждое историческое лицо, говорили о его исторических заслугах, не так-то просто и легко. Но взялся за гуж, не говори, что не дюж!

Нельзя не заметить, как от баллады к балладе растет мастерство поэта, ярче становится художественная палитра. И более отчетливо проявляется его отличительная поэтическая черта, о которой уже говорилось выше, — это интонационная музыкальность, которой каждый раз поэт достигает при помощи построения стиха и повтора отдельных строчек, ставя в них слова в такой последовательности, которая кардинально изменяет стилистическую и смысловую окраску, придает им какие-то новые нюансы и даже более возвышенное значение. Ко всему этому автор иногда находит своеобразную метафору или сравнение. В балладе, посвященной Фердинанду Рущицу, поэт пишет: «Дзе ты мастак і гэты родны свет — як твой, пакінуты з карцінаю мальберт…» Не менее «весомо, грубо и зримо» сказано о Кузьме Чорном: «Гэты лёс, што табе, як снег, выпаў, дзе ў табе твой хрыбет, нібы крыж…» Конечно, не всем, видимо, этот образ придется по вкусу, но он запоминается своей неординарностью и неожиданностью. Нельзя не отметить стремление поэта говорить кратко, сжато и лаконично. Все это можно найти в «Баладзе забытага замка». Ее хочется привести полностью, как красноречивую иллюстрацию к сказанному: «Замак нібы карона, якую згубіў мой князь. Замак — цень Вавілона, які затапталі ў гразь. Замак — грэшнік каменны, якога забыўся Бог. Замка шэрыя сцены для пылу вякоў астрог. Замак чарняць вароны, як чорнае лісце дрэў. Замак нібы ікона, якую занеслі ў хлеў…» Хотя последнее сравнение замка с иконой, которую отнесли в сарай, сначала настораживает и приводит нас в некоторое замешательство, но после недолгого размышления мы свыкаемся с ним и считаем, что сказано смело и остро, но не так уже и плохо.

Воссоздавая портреты исторических личностей, В. Шнип чувствует себя несколько стесненно в тех рамках, которые даются ему биографией того или иного конкретного персонажа. А вот уже в стихах, собранных в разделе «Вечнае і роднае», он имеет возможность развернуть и показать свою фантазию на полную мощь. Тем более, что поэт, будто сокрушая на своем пути все традиционные каноны, которых поддерживаются многие авторы, может сравнивать настолько далекие по своему значению и внешнему виду предметы и явления, что не каждому читатею под силу найти и связать концы с концами, как вот в этих строчках:

«І ў небе, як Храмы, аблокі, і Храмы, нібыта лісцё на вечнасці дрэве высокім, дзе крона — Іерусалім». Местами усложненная образность и метофарическая условность, непривычные поэтические видения, длинные периоды стихотворных строчек и строф, превращающихся в сквозные монологи, которые автор произносит не переводя дыхание — все это является отличительной чертой поэтического письма и стиля автора и заслуживает определенного внимания со стороны читателей. Нельзя не отметить, что поэт умеет «плести», «вязать» узоры и орнаменты из поэтических словосочетаний, делать их привлекательными и значительными. Например, стихотворение, открывающее этот раздел, представляет собой калейдоскопический круговорот такого множества различных ярких деталей, что если бы между строчками не было бы какой-то центробежной силы, они, кажется, разлетелись бы во все стороны. Но какой-то магнетизм удерживает их на том месте, где они находятся, они сверкают, переливаются всеми своими яркими оттенками и блеском, обращают наше внимание. Этот стих хочется привести полностью:

У княстве маім анікога няма,
І княства на мапах шукаць мне дарма.
Але княства ёсць, як магіла, як крыж,
І княства пад крыжам, бо ты там ляжыш,
Княгіня мая, адзінота мая,
Самотная, русая, быццам бы я,
Што йду па дарозе, што ў княства вядзе
Па жоўтым лісці, як Хрыста — па вадзе,
У княства маё, дзе нікога няма,
Дзе восень цяпер, ну а заўтра — зіма,
Бялюткая, белая, як малако
Самотнай і вольнай ваўчыцы, якой
У княстве маім, мною створаным, жыць,
Як першаму снегу на чорным крыжы…

Конечно, читая и перечитывая стихотворение, чувствуется, что оно от начала до конца книжное, далекое от сегодняшнего дня и жизни, но в нем мы находим мастерство, умение нарисовать почти сказочную картину, наполнить ее интонационным ладом и звучанием, которых автор достиг благодаря лексическому богатству и повторам, напоминающим игру разнообразных красок и светотеней, способных очаровать, привлечь наше внимание и вызвать возвышенное чувство сопричастности. Этот стих рождает в душе каждого из нас сердечную теплоту и трепетное отношение ко всему родному и близкому. А чего еще, в таком случае, больше, как восклицал Я. Купала, «жадаць ад песняра»?

С некоторыми выводами В. Шнипа можно поспорить или указать на путаницу (довольно спорно), где он утверждает, что «паэт слугой не можа быць», и сразу же пафосно заявляет: «Ён можа толькі, як паэт, служыць адной, нібы адно жыццё, Айчыне, адной, нібыта Храм адзін, жанчыне…» Так что же тогда имел в виду поэт? Может быть, повторял известное изречение Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно»? Стоило ли в таком случае ломать копья? Дальше идет по-шниповски достаточно интересное и оригинальное уточнение насчет призвания поэта: «Служыць, нібы ў каўчэзе Ноя быць цвіком, які спатрэбіцца пасля, калі ўжо будзе знойдзена зямля, дзе можна будзе цвік загнаць у крыж…» Безусловно, это одна из ярких черточек, которая в достаточной мере характеризует поэтическое мышление современного поэта В. Шнипа, хотя после прочтения его признания сразу вспоминаются знаменитые тихоновские строчки: «Делать бы гвозди из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей».

Если обратиться к кулинарной терминологии, то в богатом поэтическом ассортименте книги на десерт читателям приготовлен особый изысканный напиток в разделе, как сказали бы знатоки стихотворных поисков, с вызывающе-провокационным названием «Воўчая карона», который не может не понравиться литературным гурманам. Стихи, вошедшие в этот цикл, рассчитаны на то, чтобы

произвести внешний эффект и продемонстрировать, что поэт не отстает от своего времени и вполне владеет техникой и умением создавать строчки, как принято считать, в духе постмодернизма. И, конечно, без знаков препинания. Автор виртуозно и в каком-то экстазе и упоенье низвергает на головы читателей Ниагару метафор, образов и прочих поэтических изысков и «открытий», угрожая повергнуть их в шок и одновременно демонстрируя высокий класс эквилибристики, как бы показывая этим самым для молодых подражателей стихотворных упражнений, не характерных для нашей поэзии, что и он, если нужно, готов тряхнуть «стариной» и не отстать от них в поисках «рациональных зерен». Так можно ли считать эти стихи новым шагом в творчестве В. Шнипа? Не только можно, но и нужно. Стихи этого цикла подтверждают, что автор находится в поиске, а душа в движении и приобретении новых качеств.

Если говорить о трех лирических повестях в стихах и прозе, где речь идет о горячей любви, можно смело сказать, что и такие произведения имеют право на жизнь и сосуществование рядом с другими, не очень удобными и привычными для нас вещами и явлениями.

Своеобразен поэтический словарь Виктора Шнипа. Читая произведения, возникает впечатление, что в запасе поэта имеется не больше ста-двухсот слов, хотя на самом деле их в наличии предостаточно. Почему же так получается? Да по той причине, что автор очень часто употребляет одни и те же слова. Их несложно перечесть, это: «Айчына», «храмы», «крыжы», «малітва», «пажар», «поўня», «званы», «лісце», «кроў», «магілы», «ноч», «месяц», «вужы», «зіма», «восень». Если взять любое стихотворение поэта, обязательно встретишь в нем одно или два слова из этого перечня. Так в чем дело? Хочется верить — в желании В. Шнипа доказать, что поэт чем-то сродни композиторам, в распоряжении которых всего лишь семь нот, а они вон сколько мелодий могут создать! Не хочет ли и поэт доказать, что при употреблении минимального количества слов способен создать разнообразные и высокохудожественные поэтические произведения?

В заключение хотелось бы сказать о том, с чего начиналась эта статья. Несмотря на то, что в поэтическом реестре ста лучших поэтов, составленном В. Ярацем, имя В. Шнипа оказалось на самом последнем месте, он не стал вступать в дискуссию, а просто выдал очередную книгу поэзии и прозы «Страла кахання, любові крыж» в серии «Залатое пяро» и тем самым показал, что его место во второй или третьей десятке лучших наших поэтов.



ЮРИЙ САПОЖКОВ

Князь в доме напротив

Один из романистов, пишущих на исторические темы, признался, что роман у него начинается там, где кончается документ. Очевидно, формула такого рода художественного письма применима для всех, кто пытается вглядеться в события давно минувших дней. Недаром Пушкин, начав «Капитанскую дочку», вскоре прервал работу, почувствовав недостаток фактического материала, и отправился в путешествие по местам крестьянского бунта (об этом факте длительного и несвойственного Александру Сергеевичу перерыва в работе над художественным произведением стало известно сравнительно недавно благодаря тщательным исследованиям современных пушкинистов). Вернувшись, по горячим следам он стал писать историю восстания Пугачева, нигде не снимая с себя тогу сугубо историка, как, смеем предположить, ни призывал его к этому талант романиста. И лишь закончив изложение архивных документов, дополнив их увиденным лично в путешествии по Приуралью и Поволжью, опубликовав, наконец, свое исследование, он кладет на письменный стол начало «Капитанской дочки». При этом существенно изменяет первоначальный замысел повести (так сегодня в литературоведении именуют небольшое по величине прозаическое произведение). Сам же Пушкин думал иначе. Передавая рукопись цензору, в сопроводительном комментарии он дал такое определение романа как жанра: «В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании». То есть, «Капитанскую дочку» Пушкин считал историческим романом.

Размышляя о романе Олега Ждана «Князь Мстиславский», вышедшем недавно в издательстве «Литература и Искусство», по двум причинам мне хотелось напомнить читателю о классике жанра. Прежде всего, чтобы постоянно иметь в виду, что роман — это художественное полотно, которое, основываясь на конкретном материале той или иной эпохи, предполагает вымысел и он может простираться («развиваться») как угодно далеко. Вот и повествование О. Ждана опирается всего только на три «живых» документа. Один из них — грамота великого князя московского Василия Ивановича князю Мстиславскому с призывом «опустить оружие, открыть город, присягнуть нам на веки веков. И не проливать кровь безвинных твоих людишек». Это обращение завоевателя к человеку, который уже поклялся в верности литовскому королю Александру Жигимонту, от него и получил Мстиславль на княжение. Другой документ — предательство: «…верно служити будем — сколько Богом нам и нашим счадкам отпущено». И, наконец, покаянное письмо Жеславского (Мстиславского) Жигимонту: «Еще бьем челом господарю нашему, абыхмо никакой мерзячки на нас не имел и заховал до нас ласку свою паньскую...»

Вот и все, чем располагал Олег Ждан, приступая к своему роману. Большего библиотеки и республиканские архивы предложить ему не могли. Михайло Жеславский не выдуман — был такой. Судьба Мстиславля, то оборонявшего свой герб от Московского государства, то поднимавшего белые флаги перед жадным до новых территорий славянином, тоже известна. Но в самых общих чертах. Остальное у Ждана — вымысел.

Но если так, зачем романисту браться за труд, который ничего не убавит и не прибавит к тому, что мы уже знаем? Все достаточно просто. Для настоящего писателя прошедшее всегда существует в настоящем. Он знает: вечные морально-нравственные категории не стареют, и перед каждым поколением они, словно обновленные временем, встают во всей их неумирающей красе. То есть, прозаик или поэт, решившие отдать свое вдохновение далекой давнине, пишут о том, что их волнует сегодня. И материал берут из того же сегодня, правда, для камуфляжа облекая его в маски, дабы узнавались в них люди, жившие пять веков назад и очень уж похожие на нас с вами. Словом, хороший исторический роман всегда современен. Другого подхода к такого рода прозе или поэзии не существует. Все остальное — статичная иллюстрация минувших событий.

Это условие истинного — современность — вторая причина, побудившая меня вспомнить «Капитанскую дочку». Ведь неслучайно Пушкин взялся за столь новую для него тему. В 1830—1831 годах по России прокатилась волна крестьянско-солдатских восстаний, которые сопровождались крайними жестокостями в отношении представителей власти. Пушкин по этому поводу писал князю П. А. Вяземскому: « ...ты верно слышал о возмущениях новогородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новогородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных». Пушкина не могли не заинтересовать причины недовольства народных масс, потрясшего лучшие умы тогдашнего российского общества. Не этот ли факт пробудил у него интерес к пугачевскому восстанию, вообще к русскому бунту — «бессмысленному и беспощадному»?

А чем современен роман Олега Ждана «Князь Мстиславский»? Тем, что он обращает читателя к никогда не умирающей в человеке проблеме выбора. Что предпочесть — честь или позор? Добро или зло? Правду или ложь? Духовность или негодяйство? А если в двух словах — Бога или дьявола? Или — или стоят перед нами в решающие моменты жизни. Да и не только. Ежедневно, ежечасно, в большом и самом маленьком мы словно на каком-то перекрестке: куда пойти, как поступить. Поднять или отвести глаза. Услышать или сознательно не расслышать. Сказать или промолчать. Открываешь газету, бумажную или электронную, включаешь телевизионные новости — казнокрады, темные дельцы, насильники... несть им числа, предавшим в себе человека. Михаил Жеславский мучится, он стоит перед тяжким решением. Опустить мост через Вехру, ведущий в город, значит сдать его. В противном случае Мстиславль будет сожжен. Воевода Щеня, выполняя приказ русского царя, угрожает. Церемониться не станет. Не впервой. Как же быть с честью? Чем оправдать предательство Жигимонта? Люди, да, это довод. Князь должен заботиться о людях. Город в осаде долго не продержится. Максимум две недели. Затем голод, падеж скота. Пожары. Ворог войдет и начнет с казней. Праздник темного невежества. Еще есть смягчающее обстоятельство: те, кто ждет капитуляции, и те, кто медлит с ней, — люди одной веры, православные. Что они не поделили между собой? Не все ясно и с историей Мстиславля. Не зря же предлагает ему Василий «вспомнить, коли подзабыл, что первым Мстиславским князем был Мстислав Романович из рода Мономахова и город твой такая же часть Руси, как Смоленск, Брянск, Дорогобуш, Кричев и иные православные города, которые ныне под Литвой». А жена, дети... Пожалеет ли их супостат? Вон как много всего на одной чаше весов. А на другой — махонькое сомнение, что правильно поступит, если сдаст город. Днем оно покусывает, как овод, а ночью навалится, как медведь-шатун, подкарауливший жертву. Такие же муки у бояр-радных, подначаленных князя. Правда, не у всех. У кого за пятнадцать лет его правления накопились обиды (скупо приветил, не те деревни

на кормление дал), голова не болит: все равно, кому служить. Все-таки просил совета у всех: как быть? Молчали, опустив голову. Один обронил привычно: как ты, князь, так и мы.

Оставим князя Мстиславского перед тяжелым выбором и снова вспомним «Капитанскую дочку». В поисках героя для исторического повествования Пушкин обратил внимание на фигуру Шванвича, родового дворянина, добровольно (!) перешедшего на сторону Пугачева. В окончательной редакции это подлинное историческое лицо превратилось в Швабрина. Сохранившиеся планы романа красноречиво свидетельствуют, что вначале Пушкин не хотел делать Швабрина отрицательным героем. Несмотря на свое отвращение к измене, предательству, которое совершил Шванвич, Александр Сергеевич искал снисхождения к нему в благородных мотивах, толкнувших дворянина на преступление. Ему казалось, что в таком человеке могут ужиться будущие Швабрин и Гринев. Но очень скоро понял, что есть поступки, которым оправдания просто не существует. Швабрин и Гринев стали жить в романе отдельно, с разными взглядами на мораль.

Князь Михаил Иванович Жеславский — не капитан Миронов, для которого лучше погибнуть, защищая Белогорскую крепость, чем сдаться мужику-неприятелю. Не будь изменника, возможно, Пугачев и не взял бы ее. Но в князе Мстиславском его литературные предтечи Швабрин и Гринев при всей их несхожести все-таки уживаются. Как Швабрин, Мстиславский изменяет, причем, изменяет дважды. Второй раз — вовсе не из-за того, что спасает людей. Проще — из страха: «Что — советы. Мудрый Варсонофий посоветовал Сологубу сдать Смоленск ради спасения города и жителей. Но Шуйский не простил воевод, а Сологуба не простил Жигимонт». А как Гринев, князь искренен, честен перед собой, не скрывает поступков, за которые ему стыдно (из-за страха, что потеряет кресло, избавлялся от неугодных людей, никуда не денешься — избавлялся!). Для характеристики его образа важен хотя бы такой отрывок из книги: «Князь тоже спешился, ждал, прислушиваясь к тревожному гулу леса. Казалось, то не просто гул верховин, то гул человеческих судеб, казалось, там, вверху, встречаются прошлое и будущее, и гул оттого, что — известно все, ничего не скроешь, не спрячешь, и нет утешения ни внизу, ни вверху. «Прости меня, Господи», — пробормотал он, глядя в небо. Не собирается человек грешить от рождения, собирается жить чисто и честно, а не получается — грешит. И вот уже столько грехов, что не помещаются в душе». Борется сам с собой Михайло Иванович Жеславский, и эта внутренняя борьба — не что иное, как дуэль Гринева со Швабриным за Машеньку, имя которой в романе Ждана — честь.

Ушла Машенька от того и другого. Город сдан, да еще пришлось князю принародно целовать крест на верность Василию. Полное поражение. Но, может быть, это подвиг с его стороны? Подвиг унижения? «Людишки»-то остались целы, живы-здоровы. А вот через сто лет нагрянет на Мстиславль князь Трубецкой и учинит бессмысленную резню, и останутся в городе только «недосеки» — лишь на черный юмор и найдутся у них силы. А глядишь, был бы с ними пра-правнук князя Мстиславского, и все обошлось бы? Опасная мысль. Все-таки унижение не возвышает. Спроецируем поступок Мстиславского, поставим князя рядом, ну, скажем, с начальником 9-й погранзаставы А. М. Кижеватовым или полковым комиссаром Е. М. Фоминым, возглавившим в июне сорок первого оборону Брестской цитадели в числе других командиров? В крепости на тот момент было более 8 тысяч солдат, офицеров и их семей — во всем Мстиславле в начале 16-го века столько не было. Нет, не ставится князь рядом. И дело тут не в разных временах. Дело в характере человека и в его отношении к Родине. Был генерал Михаил Григорьевич Ефремов, отказавшийся оставить своих солдат, попавших в окружение подо Ржевом, когда это предложил ему Жуков (через несколько дней, не желая сдаться немцам в плен живым, он застрелился), и был генерал

Власов, имя которого стало нарицательным. У меня при таком сравнении в голове становится яснее.

Ясно ли это было Олегу Ждану, когда удостоил чести князя Мстиславского стать главным героем его романа? Не сомневаюсь. Но история развивалась так, как ей суждено было Провидением. И писатель передал ее объективно, без малейшего нажима. Хотя, может быть, искушение было: как-никак, патриот Мстиславля, города, в котором родился. Да и не имел он права, рисуя портрет князя, исторического лица, что-то прибавить к его чертам или убавить. Но так и хочется сказать, что портрет-то выдуманный! Ждан ничего ведь не знал о привычках, особенностях, мировоззрении своего героя, как, скажем, о Кибальчиче, о котором тоже написал роман, пока еще не опубликованный. Значит интуиция, догадка? Прав Готштолк, утверждавший что «инстинкт или бессознательное является великолепной пряжей, из которой прядется вся история художественного творения»? Выходит, что так. Но отчасти. Я бы не приравнивал инстинкт к бессознательному. Вдохновение — это бессознательное? Озарение не может быть сознательным происшествием души. Оно не зависит от творца. Но его намеренный труд, возгон чувств и мыслей в процессе литературной работы в напряженное состояние способны высечь благословенный огонь вдохновения. Почему бы его не назвать и инстинктом? Мне кажется, что именно инстинкт даровал Олегу Ждану интонацию, которая с первых же страниц притягивает к роману. Ненавязчивая, мягкая, как бы слегка равнодушная, местами ироничная, она напоминает голос за кадром, голос мудрого, все подмечающего комментатора, оценивающего то или иное действие, ту или иную картину. Совокупность языковых средств языка делает его индивидуальным. Так в поэзии, так и в прозе. Веришь интонации — веришь всему остальному, может быть, даже больше, чем произнесенному, написанному. Иногда *как* важнее, чем *что*. Может быть, поэтому переводить Верлена сложнее, чем Готье, у которого для нас всегда припасена не только музыка, но и мысль. В лучших местах романа Ждана мы видим то же самое. Один из его героев готовит злое дело.

« — Дядька Степан, — сказал Мирон, — у меня топор украли.

— Украли? Быть такого не может. Это у вас, на Москве, крадут, а у нас нет, не бывает такого.

— Обыскался я, нигде нет.

— Ничего, найдется. Поработай пока моим.

У Степана тоже был хороший топор, но — чужой. Не отзывалось топорище в руке. Мертвое дерево. Нужно хорошо поработать, чтобы ожило и признало его. Это Мирон давно знал, любые вещи, с которыми имеет дело человек, мертвы и оживают постепенно, через руки хозяина, даже через глаза и уши. Взмахнул рукой, всадил лезвие в бревно, прислушался. Лезвие вошло глубоко, легко, но на молчаливый вопрос Мирона не ответило, не отозвалось».

Что еще в «пряже» Ждана, кроме интонации? Образность, выразительность речи, использование метафор, от которых вздрагиваешь. «Было у нее такое в характере: не хочу и все. Надо не надо — хоть режь. К примеру, сватался уже к ней человек из Кричева, не бедный, хорошее селище имел на Соже. Как замкнуло Мотрю. Ни да, ни нет, а потом брызнула по улице — три дня и три ночи не появлялась, привез ее на телеге кмет из Солтова — считай, за двадцать верст ушла. Впрочем, пятнадцать тогда только-только исполнилось, и любой жених для нее как коршун». Или такой пассаж о предстоящем трудном разговоре: «Но дело тонкое, вот так сразу о нем нельзя было говорить. К нему надо спокойно, как по Вехре с веслом, приплыть по течению». О работе: люди возвращаются с толоки: «Расходились вечером с облегчением, будто отпустили им в церкви грехи. Теперь можно забыть, чьи на дворе вилы, лопаты, корыто, перина, бочка дубовая и многое другое (все эти вещи были растасканы сельчанами с подворья хозяина во время его отсутствия, но на толоку к нему приш-

ли. — *Ю. С.*). Отработали, словно отмолились». Таких примеров — почти на каждой странице.

Глубоководное погружение в языковую стихию начала 16-го века — тоже важнейшая особенность романа. Кмет, гаковница, куля дельная, ручницы, умешкать, круха, мель с хряцем, пасага, андарак, жлукта, худога, куфар, мушчизна, драбы, жупан и кунтуш, подстарок, альтан, басетля, сагайдак, топкан, мезлевщина, поплатки… — незнакомый словарь этот так велик, что кажется, будто попадаешь в чужую, но красивую страну. Наверное, перенасыщение словесной ткани забытой лексикой утяжеляло бы чтение. Олегу Ждану удалось соблюсти меру, хотя это было трудно: вглядеться, озвучить каждое старинное слово — говоря одним из героев романа, «что белого меду испить». Или — уже словами автора: «…красота редко бывает случайной. Она приходит издалека, издавна, она — род и порода, она —наследие и обещание того, что в жизни все же есть смысл. Иначе зачем она, красота?»

Попытка разобраться в смысле жизни, в ее жестоких противоречиях, попытка заглянуть в глубины прошлого, во многом определяющего наше сегодняшнее поведение, — так воспринимается мной «Князь Мстиславский» Олега Ждана. Вещь сложная и тоже противоречивая, как сама жизнь. В ней ни одного персонажа сугубо положительного. В ней нет судей — только судьба. Нет хеппиэнда. Закрываешь книгу с чувством некоторого беспокойства: очень уж похож Михайло Иванович на тебя самого. На твоих знакомых. Только вот до титула не дослужились. А князь — вон он, рядом. Живет в доме напротив. Неужели, черт побери!? И ты снова возвращаешься к книге, чтобы понять самого себя.



С приветом из Австралии

Совсем недавно мы опубликовали интервью с нашей землячкой — уроженкой города Минска австралийской писательницей и историком Еленой Говор (во второй половине семидесятых она получила библиотечное образование в Минском институте культуры). И вот далекая Канберра, где живет литератор и ученый, открылась перед нами еще больше: Елена Викторовна, приехав в Минск поработать в Национальном историческом архиве Беларуси, заглянула в РИУ «Литература и Искусство», познакомилась с нашими редакциями, встретилась с первым заместителем директора РИУ «Литература и Искусство» — главным редактором журнала «Нёман» Алесем Николаевичем Бадаком, редактором отдела прозы журнала Олегом Алексеевичем Жданом, другими сотрудниками.

— В Минске я занимаюсь генеалогическим поиском, — рассказала Елена Викторовна. — Собираюсь написать книгу о своих родителях, о дедах-прадедах, о нашей родословной. И, конечно же, о временах, в которых жили, творили, созидали мои предшественники. Кстати, адрес ваш — улица Захарова, 19 — мне хорошо и давно знаком. Некогда в редакции «Літаратуры і мастацтва» работал мой отец — Виктор Анатольевич Говор. Он много ездил по Беларуси, собирал материалы о народных мастерах, о ремеслах, декоративно-прикладном искусстве. Даже книгу написал — «Народные промыслы и ремесла Белоруссии».

Виктора Говора помнят многие коллеги — и как талантливого журналиста, и как автора ювелирных украшений. Отец австралийской писательницы (Елена живет в Канберре с 1990 года), хотя и работал затем какое-то время в Москве, похоронен на Восточном кладбище на окраине белорусской столицы, рядом со своей женой, дочерью русского писателя Артема Веселого. В творческом наследии Виктора Говора — и два романа: «Время ревущих быков» и «Круг». Они очень трудно пробивались к читателю. Увидели свет уже после смерти автора, совсем небольшим тиражом.

Сама Елена Говор — автор книг «Библиография Австралии (1710—1983)», «Российские моряки и путешественники в Австралии» (совместно с А. Массовым; Москва, 1993), «Австралия в русском зазеркалье: Меняющиеся представления» (Мельбурн, 1997), «Мой темнокожий брат: История Ильиных, русско-аборигенской семьи» (Сидней, 2000), «Русские анзаки в австралийской истории» (Сидней, 2005).

В июньскую встречу с редакцией журнала «Нёман» Елена Викторовна передала свой очерк, посвященный русским анзакам — австралийским солдатам Первой мировой войны. Тем солдатам, которые родились на территории Беларуси. Как пример — Александр Майко из крестьянской семьи деревни Затитова Слобода Игуменского уезда (сейчас — Пуховичский район Минской области). Прежде чем попасть в Австралию, он прошел через многие испытания, жил и работал в Америке. Остались дети, внуки. И только к концу жизни его дочь — Берил Майко узнала, что отец не просто из России, а именно из Беларуси. Потрясение было настолько сильным, что Берил приехала в Минск, совершив путешествие на поезде через весь Дальний Восток, через Сибирь. И, к счастью, нашла своих и отца родственников, открыла родину, которая всегда была в памяти у Александра Майко. О его судьбе, о других анзаках — солдатах Первой мировой из Австралии, и рассказывает писательница Елена Говор в своем очерке, который вскоре будет опубликован в «Нёмане». А еще Елена Викторовна пообещала передать в редакцию журнала многолетние дневники своего отца — журналиста и писателя Виктора Говора. Будем надеяться и ждать. Как, впрочем, и глав из будущей генеалогической книги Елены Говор.

Сергей ШИЧКО

Авторы номера

ЗОРИН Иван Васильевич. Родился в 1959 г. в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт. Прозаик, член Союза писателей России. Автор книг «Игры со сном», «Исповедь на тему времени», «Золото, ладан и смирна», «Гений вчерашнего дня» и др. Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса-2009 (номинация журнала «Октябрь»). Победитель конкурса «Интерпроза»-2007 в номинации «Публицистика». Главный редактор «Литературного журнала». Живет в Москве.

БАРЗДЫКА Михаил Федорович. Родился в 1944 г. на Витебщине. Окончил Белорусский политехнический институт и Московский полиграфический институт. Член Белорусского Союза художников. Работает в станковой и книжной графике. Награжден Серебряной медалью Европейской Академии искусств и Золотой медалью на Международном конкурсе в Бельгии. Стихи печатались в республиканских газетах и журналах. Живет в Минске.

ПОПОВА Елена Георгиевна. Родилась в 1947 г. в г. Легница (Польша). Окончила Литературный институт им. М. Горького (Москва). Член правления Союза писателей Беларуси. Драматург, прозаик. Семнадцать ее пьес поставлены театрами разных стран. Ее произведения переведены на английский, немецкий, японский, белорусский языки, включены в антологию «Женщины-писательницы Центральной и Восточной Европы» (Лондон, 1999 г.). Победитель Первого европейского конкурса пьес в Германии. Живет в Минске.

МОРОЗОВ Змитрок (Дмитрий Дмитриевич). Родился в 1954 г. в д. Язбы Крупского района Минской области. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках. Автор многих книг поэзии, публицистики и прозы. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси и Федерации профсоюзов Республики Беларусь. Живет и работает в Минске.

КРАСНЕВСКАЯ Зинаида Яковлевна. Родилась в 1947 г. в Риге (Латвия). Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Переводчик, автор нескольких книг по проблематике перевода. Живет и работает в Минске.

СОВЕТНАЯ Наталья Викторовна. Родилась в п. Янтарном Приморского района Калининградской области (Россия). Окончила Ленинградский государственный университет. Психолог. Автор нескольких книг поэзии и прозы, а также многих научных статей. Руководит «Психологическим реабилитационным центром «МИРВЧ». Живет в г. Городок Витебской области.

БРЭДБЕРИ Рэй (Рэ́ймонд Ду́глас). Родился 22 августа 1920 г. в городе Уокеган, штат Иллинойс. Писать начал в возрасте 12 лет. Первый рассказ опубликовал в 1941-м, после чего много печатался в журналах. Автор множества сборников рассказов и романов. Произведения Брэдбери включены более чем в 800 антологий. Ему принадлежат также поэтические сборники, рассказы для детей, детективы, киносценарии. Автор и ведущий телепередачи «Театр Рэя Брэдбери». В 2000-м был награжден медалью фонда Национальной книжной премии за выдающийся вклад в американскую литературу.

САРОЯН Уильям. Родился 31 августа 1908 г. в городе Фресно, штат Калифорния, в семье армянских эмигрантов. Американский писатель армянского происхождения, автор множества популярных пьес и рассказов. С 1958 г. жил во Франции. Скончался 18 мая 1981 г. во Фресно.